



НЕВА

7
2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Серафим ВВЕДЕНСКИЙ

Стихи • 3

Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

Ветошница. Роман • 7

Анастасия ЛУКОМСКАЯ

Стихи • 69

Константин КОМАРОВ

Стихи • 73

Александр РЫБИН

В поисках острова Дильмун. Повесть • 77

Марина НЕМАРСКАЯ

Стихи • 100

Ованес АЗНАУРЯН

SITUS INVERSUS. Повесть • 104

Алексей ШМЕЛЕВ

Стихи • 127

Артем ЕРШОВ

Пламя. Рассказ • 130

Татьяна СКРУНДЗЬ

Птичий поцелуй. Последний день
Валентины. Каргазун. Рассказы • 140

ПУБЛИЦИСТИКА

Константин ФРУМКИН

Ленин как менеджер
Размышления над деловой
перепиской предсовнаркома • 150

12+

МОЛОДЫЕ. О МОЛОДЫХ

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Иван ЛУКИН

Два писателя и соловьи • 165

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

Петербургские поляки в городской мифологии • 176

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Путь к читателю. *Марина Клементьевская.* Борис Викторович Шергин. (Не)юбилейное. **Pro et contra.** *Владислав Бачинин.* Европейская Реформация как произведение искусства (Теологическая эстетика исторического). **Рецензии.** *Анна Маточкина.* Мусульмане в северной столице. *Евгений Кузьмин.* Звук и отзвук. *Антон Ратников.* Слишком быстро, царевна • 197

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Град Иудов в Горней. Часть 2 • 224

*Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства культуры
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.*

*Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.*

Главный редактор
Наталья ГРАНЦЕВА

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Александр Мелихов (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (ответственный секретарь, коммерческий директор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

Серафим ВВЕДЕНСКИЙ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ

Я не умею мелодию вылавливать из струн.
Чтобы простыть, мне достаточно постоять на сквозном ветру.
Музыкальная дорожка моей жизни не содержит фанфары,
наверное, где-то дало сбой спущенное колесо сансары.

Я четыре года работал в морге ночным санитаром,
видел воочию, к чему приводит глупость, судьба и старость.
Теперь работаю поваром: варю яичницы, жарю борщи.
Такого кулинара, как я, днем с огнем поищи.

Мои достижения кому-то крайне смешны.
Я не сторонник агрессии, радикальных взглядов и прочей войны.
Толерантен, улыбчив, пунктуален, будто я д'Артаньян.
Ненавижу расизм и по соседству живущих двух обезьян.

Мне часто хочется забить на всё, как продуктами холодильник.
Но я продолжаю ждать своего часа, словно будильник.
От денег не отрекаться, но материальную выгоду ни в чем не ищу.
В детстве верил, что «Чип и Дейл» придут на помощь «Черному плащу».

В подростковом возрасте мне вырезали аппендицит.
Пью водку, аргументируя тем, что душа болит.
Люблю под проливным дождем ездить за рулем автомобиля.
В одежде не придерживаюсь какого-либо стиля.

Слава богу, я не знаю, кто прав, и тем более, кто виноват.
Мне все равно, кто должен сложить свой мандат.
Я не понимаю: это происходит со мной во сне или наяву.
Но любовь в моем сердце позволяет держаться еще на плаву.

ВОЗДУШНЫЙ ОВРАГ

В понедельник утром я был в гостях у Далай-ламы
и спросил его так:
«Если существуют на небе воздушные ямы,
значит, где-то есть и воздушный овраг?»

Серафим Сергеевич Введенский родился в 1984 году в Уфе. Учился в Литературном институте им. А. М. Горького в Москве. Публикации — в интернет-журналах «Сетевая словесность», «Кольцо А», в журнале «Москва». В 2016 году издал дебютную книгу «Текстовые сообщения».

Он сидел неподвижно в позе лотоса
и как бы смотрел сквозь меня.
Затем ответил вполголоса:
«Как может в такой маленькой голове
поместиться такая большая фигня?»»

И ударил бамбуковой палкой
по голове сильнее, чем бабушкина брага.
Затем засмеялся во весь голос,
вспыхнул звездой яркой,
взлетел
и скрылся за воздушным оврагом.

ПОСТУЛАТ БЕНДЕРА

Как бас гудит действительность в мозгу
и кружатся над нашим миром мухи.
Я разобраться в жизни не могу, —
меня спасут скорей блэк-джек и шлюхи.

Отрадно думать о большой любви,
преподавая секс в публичном доме.
А Мир, как запах, еле уловим,
когда твое сознание будто в коме.

Как ставни распахни свои глаза
и выброс эндорфинов станет чаще
и по щеке пизанская слеза
сорвется тихо вниз, как символ счастья.

И вскоре опадет с деревьев шок.
Припадки желтого пройдут, как слухи.
Нам холст событий преподаст урок.
Ну а пока одно – блэк-джек и шлюхи.

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

Мой сосед по лестничной клетке Иаков,
живет будто аскет,
ходит в трико.
Ловец человеческого вайфая и денежных знаков,
плюс мастер проходить сквозь игольное ушко.

Когда световые элементы в люстре моей надежды потухли, —
я пошел просить лестницу Иакова.
А за окном витали дым ли,
пыль ли,
дух ли.
В общем, смотрелось это все на мой взгляд одинаково.

Я постучал в дверь.
Иаков не сразу услышал.
Открыл.
Лицо его выражало боль от судорожной пьянки.
Говорю: «Дай мне лестницу свою, чтоб по ней подняться выше!»
А он: «Прости, брат, у меня только стремянка».

КАМНЕПАД

Сидели мы в подъезде с пацанами
и крыли шифером Мир вокруг себя скабресными словами.

Стаканчик с топливом гулял по кругу,
ввиду того, что праздник красным обведен в календаре.
Из топлива была «Белуга».
По мере потребления ширилось, росло амбре.
Играли в секу.
Короче, жили мы наперекор сегодняшнему веку.

К нам с верхних этажей спустился человек в халате и венке.
На вид лет тридцать.
Бородат.
Тихонько встал невдалеке.

Он был индифферентен нам.
И мы его не замечали.
Тем временем, как камикадзе, снег летел в окно.
«Белуга» кончилась.
Пришлец открыл за пазухой лежавший «Аква минерале»,
но полилось в стаканы плотной ниткой красное вино.

Незамедлительно мы выпили.
И разом замолчали.
Мы что-то поняли.
Пришлец смотрел на нас
глубокими очами.

И пониманье пулей прилетело сквозь кумар,
застыв в подъездной тишине,
как будто кончился в часах песок.
Пришедший нам сказал: «Ума
сегодня через край, а состраданья нет».
И снял венок.

Он, мило улыбнувшись, пошел по лестнице назад.
Тем временем погиб весь снег.
И начал низвергаться камнепад.

НАТЮРМОРТ

Народный депутат пришел в гости к народному артисту.
Сели трапезничать в гостиной.
В гостиной было светло, просторно и чисто,
мебель из красного дерева, камин, два торшера, картины.

Домработница подала на стол скромные яства:
бланкет из телятины, консоме, терин, заливное из осетрины
на золотом подносе тридевятого царства.
На десерт фаршированные малиновой икрой мандарины.

После трапезы сомелье преподнес с вином бархатистым
сыр с голубой плесенью небосвода.
Народный депутат в гостях у народного артиста
были так далеки от народа.

А где-то за МКАДом, не доезжая пятнадцать верст до Тулы,
в хибарке, сидит народный поэт на табуретке.
От новорожденных рифм ему адски сводит скулы,
но он продолжает есть жадно лапшу со вкусом креветки.

Антон ЗАНЬКОВСКИЙ

ВЕТОШНИЦА

Роман

Эй, судари, а ну-ка к нам!
Сговорчивее нет торговки.
Таким приличным господам
Свой хлам продам я по дешевке.
Ни на каких торгах земли
Добра такого не найдете.
Все то, что тут лежит в пыли,
Обломки эти и лохмотья
Несчастье людям принесли.
Здесь все клинки от крови ржавы,
На рюмках — отпечатки губ
С остатками былой отравы,
Колечком каждым душегуб
Надругивался над невинной,
Здесь нет ни одного ножа,
Который не вонзили в спину
Из мести или грабежа.

И.-В. Гёте. Фауст

1

Когда ясным днем смотришь в небо, перед глазами плавают бесцветные червяки. Прозрачные мушки, пылинки в стеклянистой жидкости глаза, порой они соединяются в буквы, складываются в слова и предложения, загрязняя все видимое смыслом. И вот уже не сочинитель и не скриптер, но мухолов, собиратель зрительных изъязнов списывает книгу с засоренных небес.

Автор берется за дело в крымской степи на взморье в тот миг, когда его накрывает тень дельтапланериста. Если последнего зовут Барт, не миновать переломанной шеи творцу и читатель удовлетворится точкой. Но вот ползет уже какая-то

Антон Владиславович Заньковский родился 1988 году в Воронеже. В 2007 году переехал в Санкт-Петербург. С 2011-го по 2014 год публиковал эссе и научные статьи в журнале «Апокриф», сборниках материалов «Деконструкция», «Четвертая политическая теория» и «Acta eruditorum». В 2014 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Девкалион». Опубликовал две повести и роман в литературных журналах «Нева», «Опустошитель», в альманахе «Имажинэр».

НЕВА 7'2016

гусеница отпущения, волосатая весенница, слишком рано ожившая, ведь еще лакомый не вырос мак: семена его покоятся в земле, чтобы однажды взойти и зацвести, чтобы потом чья-то рука потрясла сухую коробочку, полную новых семян. Ангел в маковке — как пожар в коробке спичек. В одном красном цветке заключены солнце и полная тьма — не хуже той, что настигает жизнерадостную гусеницу, когда она, Аким-Простота, ползет вверх по склону. Тень уже повисла жирным восклицательным знаком над ее неумной головой — то Арсений или Марсель давит жертвенную гусеницу сандалией и бежит дальше — прочь из крымских степей, где не цветут еще опасные маки, где человек повис в воздухе на огромных летучих губах. А мокрый след, что остался от гусеницы, автор бережно собирает в футляр и несет заваривать вместо чая, рискуя отравиться насмерть.

Между прочим, быстроногий восьмилетний убийца, чья сандалия обрела пародийную меркуриальность, невоплощенную крылатость, пьет шен-пуэр из глиняной посуды — теперь, в конце перестройки, когда самые просвещенные соотечественники его давятся слоновьей уриной Индии да пылью грузинских дорог. Потому что дядя Линь всегда привозит пахучие блины, зеленые и коричневые, завернутые в прозрачную бумагу с красными печатями. Еще дядя Линь привозит прессованные грибы, которые разбухают в кипятке, превращаясь в черные резиновые уши, а также рисовую лапшу, пахучие палочки, красные фонарики, бронзовых божков счастья, лягушек с дырявыми монетами во рту; кроме того, взрывчатку на Новый год — красные бомбы салюта. Марсель привык уже, что желтый дядя Линь привозит все красное: красные полотенца со львами, похожими на пекинесов, красные одеяла с лошадьми-драконами, красные лакированные палочки для еды — с ними Арсений однажды пойдет в школу и прямо в столовой получит за них тумаков от одноклассников. «Марсик, ты хочешь, чтобы дядя Линь стал твоим папой?» — мамин вопрос всегда сбивал Арсения с толку, ведь журнальные картинки с мужчинами и женщинами, спаренными в разных позах, подтвердили ему, что сестрины рассказы об изысках взрослой жизни правдивы. Журнал с расхристанными телами рухнул Марселю прямо под ноги, когда он без толку слоны слонял возле дома, беседуя сам с собой: мама выпустила его погулять в обозримых окрестностях. А еще каждое лето в Коктебеле троюродная сестра преподавала Марселю уроки анатомии, как правило, за дальней скалой на склизких камнях. Хотя Марсель не видел своего отца, но знал от мамы, что тот сволочь. И в конце концов, как помыслить вторичное отцовство? — этого Марс не понимал, но боялся, что его вынудят забраться к маме в живот, где — так ему казалось — узко и нечем дышать; к тому же его пугало, что дядя Линь полностью запрет вентиляцию своей дубинкой.

Так получилось, что Марсель не знал родного отца, Бориса Феликсовича Мухранского, любителя выпить крепкого чифиря, а ведь кровный батюшка его вышел из больших дворян, принявших титул от Петра Великого за муштру темных мужиков. «Государь велел чай пивать, а ты, пес, все на печи шкуру греешь! А чай небось поскупился брать у купца столичного, хто давеча по станице ездил с заморскими товарами?» — «Никак нет, батюшка! Не было столичных купцов! Чай, были, да не по нашу честь!» — «Так получи же ты, паскуда, окаянный хрыч, десять плетей за то, что супротив указу государя инператора чая не хлебаешь да кофея не хлещешь, душа лисья, когов дух! Гнус паршивый! На те! На те! Куда побег, скот?! На те плетей! На те плетей! Где жена твоя, где дочери, смерд?! За все ответишь, харя!»

Вот так отличился предок Марселя, хороший дворянин Ростислав Мухранский: правя бородатую чернь, содрал он с иных по три шкуры на кожаные ремни, чтоб не того, не лихо-то супротив воли царя хрюкать репу да козье млеко жрать! У-у-у, поганое отребье!

Линь Цзэсюй родился в провинции Юньнань, так что с легкостью мог отличить Чхун Тучи от Да Цзин Дяня. Его отец работал на чайной фабрике, а мать и сестры страдали лунатизмом. Линь с детства много читал и прилежно занимался, поэтому его отправили учиться в СССР. Цзэсюй успешно окончил Воронежский государственный университет и захотел навсегда остаться в Союзе. Во время учебы он носил длинные волосы и черные рубахи, но потом остригся, слегка пополнел, а когда грянула перестройка, то и вовсе ушел в оптовую торговлю. Чаем в ту пору нельзя было прожить, так что Линь не пошел по родительским стопам и занялся поставками дешевого китайского тряпья. Он жил и работал в Москве, но часто навещался в гости к своей возлюбленной воронежской однокурснице — к маме. Дядя Линь приезжал с большими клетчатými сумками и первым делом брался показывать красные гостинцы. Но больше всего Арсений ждал пластмассовых монстров, которые сыпались из сумки вместе с финиками, китайской лапшой и маринованным имбирем. В армии монстров Марса была и оранжевая обезьяна с биноклем вместо туловища, и самурай с панцирем жука и клешнею краба, и ярко-синий атлет с рыбьей головой, и черный поджарый скелет в нацистской фуражке, и другой, саблезубый скелет с отстежными крыльями летучей мыши и бензопилой вместо руки — такие игрушки можно было купить в любом ларьке любого города новой России. Мутанты Марселя квартировались в круглой железной коробке из-под клубничных конфет, и с ними сожительствовавший золотой пузатый Хотей — он командовал армией монстров, если Марс выставлял их на битву с солдатами, которые у него тоже имелись, но только Марсель их терпеть не мог и порой отламывал им головы, притворяясь, что это скелет отпилит их бензопилой. Во всех сражениях побеждали мутанты. И в детском саду, когда воспитательница спросила Марселя, кем он хочет стать, Арсений ответил: мутантом. После Хотей, который почти не участвовал в битвах и был скорее великим наблюдателем, превосходя других умом и размером, важнейшим в армии Арсения был зеленый четырехрукий мутант с хоботком комара и огромными сетчатыми глазами — этого Марсель берег и никогда не отправлял на передовую. Он даже скармливал комару мертвых солдат — тот высасывал из них кровь и душу, перелетая от трупа к трупу в конце побоища.

Однажды Марсель догадался, как победить скучную посредственность солдатиков: орудя зажигалкой, он сплавил их друг с другом хребтами. Единственный железный солдат находился у Марселя в колбе, которую тот заполнил смесью воды, шампуня и уксуса; Арсений добавил в смесь активированного угля, марганцовки, соли, хотел соскрести туда серу со спичек, но мама пригрозила все вылить в унитаз, если он не уймется. Несмотря на такие препятствия в ходе эксперимента, Марсель ожидал, что солдат в скором времени превратится в мутанта. В дальнейшем он планировал химическим путем преобразить всех неинтересных, серых солдат в отличных монстров, а затем устроить им войну с настоящими мутантами, причем Марсель знал заранее, что превращенные должны проиграть и пойти комару в пищу.

Но однажды его планам пришел конец. Как-то раз Арсений гулял с мамой: они часто отправлялись в путешествие к заводской трубе, которую Марсель наблюдал из окна пятнадцатого этажа, он всегда мечтал подойти к ней поближе, но труба оставалась недосягаемой. В этот раз по дороге к трубе они сделали привал на детской площадке. Пока мама курила поодаль, Марсель нашел другую трубу, маленькую, не выше детского плеча, — эта узкая труба торчала из земли возле железной горки, негодной для ската, потому что у подножия ее возникла глубокая черная лужа. Марсель заинтересовался трубой и посадил на ее край четырехрукого комара, которого всегда брал с собой на прогулку, ведь можно было встретить почившего голубя, мертвую кошку или дохлую крысу, и ничего, что мама не разреша-

ет подходить к ним, ведь комар умеет высасывать душу на расстоянии, стоит только вытащить его из кармана и направить хоботком в сторону тела. Кстати говоря, и в детском садике Марсель изредка подсасывал комаром души глупых, грубых девочек. Теперь комар сидел на трубе, гордо запрокинув длинноносую голову. Марсель восхищался им, и вдруг ему показалось, что комар удержится на краю самостоятельно, — так дерзко он глядел в мир с высоты трубы. Секундой позже Арсений раскаялся в своей беспечности, но было уже поздно: мутант запал внутрь. Сначала Марсель просто похолодел от ужаса, побледнел, что-то замерло в его груди, а потом вырвалось безудержным воплем. Как ни пыталась мама, она не могла утешить Марселя в его горе, и не было способа достать комара. Мальчик выли и тянул ручки к трубе, исчезающей вдаль, и сквозь горькие брызги слез, в размытой и разбитой картинке зримого он видел, как ехидная старуха, обвешанная сумками, подходит к трубе, заглядывает в нее и злобно смеется вслед Марселю.

2

На другой день мальчик заболел, у него подскочила температура, начался плеврит. Спустя неделю, вслед за читателем, Арсений скончался. Но какие бы китайские пытки ни применял автор, книга не покраснеет от стыда, она останется зеленой, так что, поскользнувшись на ее ирландской обложке, ты полетишь вниз головой в колодец святого Патрика, не успев прихватить с собой даже бутылочку эля.

Два дня он пролежал в лихорадке. Мама вызвала врача, безразличную женщину в тяжелых очках и с рыжей завивкой; она щекотно послушала Арсению грудь и спину, прикладывая железную штуку, с помощью которой, как он решил, можно незаметно высасывать душу, и прописала сладкий сироп да горькие пилюли. Ночью Марсель проснулся оттого, что нечем было дышать: воздух входил в грудь со страшным хрипом и с мучительным свистом выходил обратно. Мама испугалась и вызвала «скорую помощь». Хлорированный звон больничной приемной: взяли кровь, сделали укол и положили спать в полутемном коридоре, потому что в палатах не нашлось мест. В детской кроватке с высокими бортами Арсению было тесно, из окна сквозило, и мама волновалась. После укола Марселю стало легче, он разглядывал стенгазету: «СПИД: вирус, передающийся половым путем», рядом был нарисован злой шприц в пиратской треуголке и черное треснутое сердце. Чтобы разглядеть другой плакат, Марселю приходилось привставать в кровати, чему противилась мама: «Не раскрывайся, здесь дует!» Утром, когда его разбудили уколом, Марсель увидел, что там был нарисован беременный крокодил наше солнце проглотил.

Его определили в палату, где лежала только одна приличная девочка, которой Марселя сразу представили. Остальное общество никуда не годилось: всё малолетние да сонные, не отлипавшие от матерей дети, плаксы; они, как показалось Марсу, даже толком говорить не научились. Семилетнюю барышню звали Юлей, она собирала колпачки от шприцевых иголок. Марсель тоже стал собирать эти колпачки, и хотя он начал позже, уколы ему делали чаще, так что их коллекции скоро сравнялись. Однажды Арсений случайно вставил один колпачок в другой, а потом еще один и еще — так у него получилась шпага. Юля позавидовала его изобретению и даже укусила Арсения со злости, а тот заколол ее в ответ своей шпагой. Юля и Марсель стали ежедневно фехтовать. Во время этих занятий каждый старался не ранить противника, но сломать его шпагу, отбить как можно больше колпачков,

так чтобы в итоге в его руке остался один колпачок-эфес. С каждым уколом шпаци росли, потому что добрые медсестры всегда отдавали детям использованные колпачки от иглонок, но вдруг Юлю выписали. Арсений попробовал фехтовать с другими больными детьми, но те падали и плакали. Так что Марселю пришлось пересмотреть природу колпачков и строить всего-навсего длинную башню. Она достигла бы потолка, но ему перестали колоть антибиотики, а потом и вовсе отпустили домой не хотел возвращаться.

За то, что он выздоровел, Машмет подарил Марселю бензиновую зажигалку, желтую, одиннадцатую в его коллекции. Арсений очень любил запах паленого фитиля и ваты, смоченной очищенным бензином, еще ему нравился щелчок, с которым откидывалась крышка зажигалки, причем у дорогих зажигалок этот щелчок был особенно изящным. Первую бензиновую зажигалку Машмет подарил маме, но ей эта штукавина показалась грубой, мужской, так что она передала ее сыну. В другой раз Машмет принес еще одну, забыв, что подобный подарок уже был отвергнут. «Машмет, я тебе говорила, что не люблю такие зажигалки? Говорила? Какого же черта ты мне снова ее принес?» — пожурела его мама. Тогда Машмет стал приносить бензиновые зажигалки Марселю. Но еще раньше Арсений собрал тридцать газовых зажигалок, попользованных мамой для курения.

— Я курю, Марсель. Выйди из кухни, не дыши дымом. Тебе вредно.

— А тебе не вредно?

— Я уже двадцать лет курю.

Марсель не понимал, почему двадцать лет курить не вредно. А Машмет, когда приходил, каждый раз говорил ему: «Не кури! Никогда не начинай. Лучше пей, но не кури. Я никогда в жизни не курил». А мама говорила: «Нет уж! Пить тоже лучше не надо, а то будешь алкоголиком, как Машмет. А если станешь колотиться, то я тебя из дома на помойку выброшу». Восемилетний Марсель знал, что колотятся сосед Леша и Чирик с пятого этажа, сын маминой приятельницы Люды, которая торгует водкой. Еще как-то раз пластинка проигрывателя зациклилась на фразу: «„Мне бы тоже хотелось порисовать у колодца“, — сказала Алиса. „Порисовать и уколоться?“ — спросил Мартовский Заяц»; иголка никак не могла войти в следующую виниловую колею и все повторяла: колотиться, колотиться, колотиться, колотиться, пока мама не помогла ей соскочить, соскочить, соскочить.

Машмет любил повторять: «Дети — это цветы жизни»; он приносил Марселю лучших мутантов, потому что не просто покупал ребенку первую попавшуюся игрушку в ларьке, но выбирал самых страшных уродов. Мама знала Машмета сто лет, с университета, и часто приглашала его в гости, хотя ей не нравились его манеры, например, этот кошмарный обычай Машмета носить сразу пять пар носков: он пользовался тем, что дырки образовывались в разных носочных областях, — это позволяло ногам блюсти целомудренную скрытость. Именно Машмет когда-то подарил маме томик Пруста, благодаря которому Арсения прозвали Марселем. Первое имя дал ему отец, поэтому мама не любила так называть сына и нарекла его в честь книжного героя. Еще Машмет время от времени дарил художественные альбомы: Босха, Мунка, Гойю и других.

Машмет приходил с большой бутылкой пива и разговорами о советском прошлом: походах, байдарках, Ленинграде, о друзьях и книгах; от разговоров веяло солнцем, легкостью, свободой и перегаром.

Часто, когда мама прикладывалась, она хотела играть в «Сталкера». Это была игра по мотивам одноименной картины Тарковского. В большой комнате гасили свет, по полу разбрасывали подушки, валики, сдвигали с привычных мест кресла и журнальный столик. Свет из прихожей освещал комнату совсем неярко. Теперь,

ползая на карачках, надо было внимательно всматриваться в предметы, в темные углы, чтобы найти «ловушки». Как правило, таковую обнаруживали в каком-нибудь теневом пятне на паласе. Тогда мама визжала: «Стой!», и все переставали ползать в лабиринте комнаты, срочно замирали, каждый на своем месте. Проверять «ловушку» обычно отправляли Машмета, и тот запускал в подозрительное место карманной отверткой или опустевшей бутылкой, но не успевал отскочить и каждый раз был смертельно ранен или облучен. «Все, дружок, ты убит! — кричала мама. — Ты подошел к ловушке слишком близко. Ты труп. Зона не пропустила тебя!» Машмет падал навзничь и трепыхался.

Потом, когда появлялась водка, начиналась другая игра: Марселя пытались уложить спать, и для этого Машмет рассказывал ему сказку, например, о приключениях зажигалки, которую нечаянно с головой окунули в бензин, что наделило ее необычными способностями, как то: мыслить, ходить и сражаться. «...И вдруг неподалеку от Холлс-стрит она встречает сановитого, жирного Быка Маллигана. Подошел он к ней и говорит: да я и сам, говорит, гипербореец не хуже тебя», — повествовал Машмет. Марсель притворялся, что спит, убаюканный сказкой, но потом вставал и всячески пытался выкрасть водку и вылить ее в унитаз. И все же рано или поздно его заставляли уснуть, подкупая обещаниями. Но вскоре Марселя будили водочные крики мамы, которая все больше возбуждалась от спиртного: хлопала дверьми, кричала на Машмета и даже порой лупила его, когда тот засыпал на полу, свернувшись калачиком. Если Машмета не удавалось разбудить, мама уходила в свою комнату и принималась твердить: «Жаме, жаме, жаме», рыдая по-французски, а потом начинала хрипеть, изображая предсмертное удушье. Марсель прибегал к ней, и мама, недобро взглянув на сына, обдавала его спиртовым дыханием и говорила сквозь слезы: «Ты знаешь, я решила, что больше не буду жить. Мне все это надоело. Я постараюсь просто не дышать, а если не получится, то наглотаюсь таблеток или вскрою себе вены. Так что привыкай жить без меня». Марсель плакал и отбирал у мамы нож, который она любила класть на табуретку возле кровати. Потом Арсений бежал на кухню, чтобы позвать на помощь Машмета, но тот мирно спал на коврик или ползал со спущенными штанами в собственной луже, если не мог добраться до туалета; при этом он бормотал: «Сволочи! Вот сволочи!» Однажды Марсель застал Машмета, когда тот испражнялся среди кухни.

3

Читатель! Не ходи пить кофе: в белой твоей вульгарной кружке плавает Марсель; Марсель кровавым пятнышком багрянит твою глазунью; Марсель надел фрак, чтобы подгарком очернить твой жареный хлеб.

Одно из трех яиц лопается в кипятке, из трещины разматывается скомканый бинт белка, он пляшет в пузырьках, затем отрывается, всплывает на поверхность и смешивается с пеной.

Железная призма на четырех ножках и с дымным носиком отражает одно из двух разнорасовых яиц, а граненый стакан с уже холодным пуэром стоит чуть ниже. Спичек нет на этом столе, но есть бензиновая зажигалка, пока еще нет букета, зато Марсель сидит за столом в коричневой рубашке, растрепанный, как Жучка.

Теперь он бежит к входной двери, перепрыгнув затоптыш линолеума, потому что услышал, как на этаже открылся лифт. Арсений отпирает дверь, когда мама только достает ключи: «Ты что, под дверью стоял?» Мама ставит продуктовый пакет с женским лицом на пол, Марсель извлекает продукты: кефир в стеклянной

бутылке, круглый черный хлеб, похожий на потрескавшуюся пятку великана, десяток белых яиц с голубыми отпечатками «С-1», лиловое плодово-ягодное мороженое в бумажном стаканчике. Пока внутренность мешка выходит наружу, сам пакет теряет форму, от чего кульковая тетя переменяется: раздутое лицо женщины покрывается складками, затем проваливается нос, так что глаза смотрят друг на друга, но бордовые губы продолжают тянуть улыбку, прорезанную поперек мощной складкой. «Ужас! — говорит мама, заметив, что Марсель подозрительно рассматривает плоские корчи кульковой. — Не хотела бы я, чтобы мое лицо вот так на пакеты лепили».

Вечером мама снова пришла — с охапкой черемухи: нарочно дождалась темноты, чтобы наломать ее, цветущую, в соседнем дворе. Она приносила черемуху каждый год, и тогда начинались дни ароматной головной боли. В черемуховую неделю было прохладно, потому что мама часто раскрывала настежь двери лоджий.

На первой лоджии стояла тахта, где в теплое время года стелили Машмету, когда он оставался на ночь. На второй лоджии ласточки сделали гнездо и сразу вымерли, здесь хранили старые тряпки. Третью лоджию не застеклили, она, отделенная неполной перегородкой, плавно переходила в лоджию соседки, и чужой кот ходил в гости к Марселю. На третьей лоджии в полу имелся люк, чтобы «спастись от пожара, если будем гореть», — объяснила мама, надевая коричневый джемпер. Запутавшись в рукавах, она стала на миг безголовым монстром, мешковатой извивной чепухой, но вскоре выявилась снова ее милая русая голова, и джемпер покорился форме тела.

На третьей лоджии Марсель играл с магнитофонной лентой: брался за кончик и запускал по ветру всю катушку, на километр вдаль — неслышную магнитную мелодию, и та разворачивалась змеем, извивным хвостом; в пространстве между трех высоток появлялась подвижная фигура, лабиринт воздушного пути, фрактал. Над пирамидальными тополями, детским садом, скамейками, качелями, автомобилями в воздухе плавно двигалось сплетение и мало-помалу обматывало дерево, в худшем случае антенну, или залетало в чужое окно. «Я хочу сходить вон туда, — говорил Арсений маме, указывая пальцем в городскую даль, где были разбросаны кубики домов, иглы труб и виселицы подъемных кранов. — Давай туда ходим когда-нибудь?» — «Когда-нибудь! Когда-нибудь!» — повторял синий попугай Гриша, опасно гулявший по столу возле зажженной плиты. Его купила мама, чтобы Марселю не было скучно без братика.

«Марсель, принеси книжку из комнаты. Там в шкафу. Разберешься. Она выдвинута», — как-то раз мама решила зачитать Марселю отрывок из любимого рассказа, потому что полагала, что детей надо приучать к взрослой литературе. Марсель рысью побежал в комнату, перепрыгнул затоптыш линолеума, двинул холодильник, очутился у шкафа стеклянные створки. «Весна в Фиальте»: на обложке был нарисован алый сапожок, отороченный мехом, из которого выглядывала женская голова в черном клоше. Вес Ди На Дим Ир Фи Вла Аль Те: Арсений уже знал слоги. Влади-мир-на-бок-ов-вес-на. Стекло-ной хлоп створкой, очутился, двинул холодильник, линолеума затоптыш, перепрыгнул не в комнату, а в кухню. Мама, что такое фиальт? Осторожно! Марсель, ты наступил!.. Нет, нет, выйди отсюда! О, Господи! Бедный, бедный Гриша! Выйди, не смотри! Нет, Марсель, не фиальт, а Фиальта. Это не сапоги, а город. Не плачь, ты же нечаянно. Мы его похороним в каштановой рощице и крестик, если хочешь, поставим.

Мама стояла на первой лоджии, когда из окна соседнего дома выпал мужчина, она стояла на второй лоджии, когда из окна соседнего дома выпала женщина, она стояла на третьей лоджии, когда с крыши ее дома прыгнули двое, мужчина и женщина. Они целовались в полете, но юбка женщины задралась, скрыв лица, так что мама

этого не видела, она смогла рассмотреть только вздернувшиеся брючины да ляжки в чулках; одна туфля тридцать шестого размера слетела прямо в руку маме, и та стряхнула в нее сигаретный пепел. На второй лоджии частью осыпалась краска и возникла проплешина в форме морского конька. Это движение вниз: из точки А в точку В, от мамы — к темной луже и грудке мяса на асфальте. Пятнадцать этажей вниз, так что привыкай жить без меня. Марсель знал, что мама тоже хочет прыгнуть.

— Говорят, самый легкий способ — вскрыть вены в горячей ванной. Ты сделал уроки? Уходи с кухни, я курю, не дыши дымом, завтра в школу, горячие уроки, вскрыть ванну, вены говорят!

— А ты не станешь выпрыгивать?

— Ладно, сегодня не буду, — отвечала мама, захлебываясь теплым водочным смехом.

На всякий случай Марсель делал уроки на полу возле кухонной двери, напротив туалета, чтобы успеть спасти маму, если придет к ней прыг-скок.

Марсель внимательно вглядывался в мамину фактуру. Все отчетливой, все резко в складках ее джемпера проступало иное лицо — вторая мама: старая злая жаба, присосавшаяся к маме с правого боку, где печень; жаба сосала маму, поела ее черемуху, ее Тарковского. Арсений не мог уже понять, где кончается жаба и начинается мама, где начинается жаба и кончается мама. От этого у него на сердце было мортотно. И как-то раз Марс пошел к зеркалу, чтобы посмотреть, откуда берутся слезы, но глаза уже высохли. Арс отогнул нижние веки и, различив крохотные дырки, перепугался, что в глазах завелись червяки; он даже заплакал с испугу, но тотчас рассмеялся, поняв назначение этих дыр. Больше всего Арсений любил глядеть в мутные и неясные зеркала и нередко всматривался в черный экран сломанного телевизора, который больше не корчил всязнайку.

Телевизор однажды насмерть sprыснули водой из хрустальной цветочной вазы. Это случилось в тот день, когда мы вернулись с подснежными цветами из лесу: Марсель, мама, Машмет и я, писатель с плюшевой пишущей машинкой, неслышный и невидимый печатник. За месяц до поливки телевизора Машмет потерял в лесу лыжное крепление и решил, что будет искать его, когда снег сойдет. Вместо крепления нашли много цветов; Марсель сыскал железную обезьянку. Набрали большие охапки синих подснежников из Красной книги, заговорив преступление весной; Машмет с мамой взяли в киоске немного красного вина, пиво, водку и воблю. Ночью, когда Марсель уже спал с обезьяной, положив ее в очечный футляр покойной бабушки и под подушку, раздался бах и жалостно взвизнула мама. С тех пор телевизор показывал тьму, а Машмет долго не приходил, потому что его по маминной просьбе избил сосед Чирик.

4

Обернись, читатель! В правом углу комнаты/неба/вагона/салона/в любом, наконец, углу можешь разглядеть Марсея: вон там, в затемненном покое, где паутина/облака/штукатурка, — там затаился и дышит, облокотившись на сохлую муху, наш герой.

Главные звуки его детства, кроме виниловых сказок и коктебельских кукух: дребезг старого холодильника, который самостоятельно включался и выключался, пугая маминих гостей inferнальным стоном; удары лифта о стены шахты (и вскрики перепуганных пассажиров); наконец, бранный бас Костыля, соседа сверху, — он так сквернословил, что слышно было на три этажа, и поколачивал супругу,

которая визжала и звала на помощь; еще Костыль держал птиц, так что все это сопровождалось трелями. От Костыля всегда несло мочой и рвотой, а супруга его опухла и побагровела от побоев и водки; он получил свое прозвище за то, что всегда опирался на одноименный предмет. Некоторое время он сидел в тюрьме, а когда освободился, то сам себе переломал ноги, чтобы получить пособие по инвалидности. Мама учила Марселя не обращать внимания на скверные вопли и объясняла сыну, что наверху живут свиньи, жизнь которых надо принять как неизбежность, как мусор на улице и плохую погоду. Сначала мама советовала затыкать уши, но потом признала в Арсении зрелую личность, способную отличать людей от животных: «Ты у меня уже почти взрослый, так что сам думай, как тебе жить дальше. Хочешь быть свиньей, будь, только подальше от меня. А станешь наркоманом, выброшу тебя на помойку». Но в том-то и была загвоздка, что уже в детском садике Арсений наблюдал вокруг себя одних только свиней: мальчики и девочки говорили скверные слова, пережевывали пищу, не закрывая рта, и чихали друг другу в лицо. Они были такими невежами, что даже воспитательница грозила им: «Будете класть локти на стол, прибью их к столу гвоздями!» Одна девочка сначала понравилась ему — это была светловолосая кокетка с бантом, но когда он подкараулил ее в туалете и вежливо попросил поднять юбку и снять трусики — он еще раз хотел сравнить явь с журнальными картинками, — то девочка показала ему средний палец, пустила шептуна и убежала. Не чета его троюродной сестре Нине, которая все снимала, раздвигала и давала потрогать, по команде поворачиваясь то передом, то задом. Вскоре Марсель понял, что его окружают чудовища, притворившиеся детьми, он даже проверил, на месте ли серые солдаты, — вдруг это они все превратились в детей-мутантов. А насчет Костыля Арсений был уверен: под рубашкой у него спрятана клешня; была некая внутренняя связь между Костылем и жуком-самураем: Арсений знал, что если сломать жука, то и Костыль умрет.

Каждое утро Арсений прятался в шкаф от мамы, чтобы не ходить в сад. Это был скорее показной протест, чем наивные прятки. В садике он по многу часов сидел на стульчике, погрузившись в тревожные созерцания, не желая вливаться в беготню других детей. В обед он ничего не ел, но отодвигал тарелку и хмуро всматривался в прекрасный красный борщ. Во время тихого часа не прыгал, не дрался подушками, но и не засыпал потом, как все, а лежал три часа, глядя в окно, которое было как раз тут, напротив койки Марселя. Четырехместные двухэтажные кровати: Арсений лежал на втором этаже, запутавшись в белье, с которым никак не умел справиться. Он кувыркался в простыне, боялся ее синей надписи «ноги», никак не мог засунуть в пододеяльник колючий плед и вообще был ошарашен казарменным душком сада, где приходилось все делать самому. Воспитательницы запрещали засыпать лицом друг к другу, но Марселя и так не нравилась лежавшая рядом брюнетка, недобрая девочка, за окном было интересней: бегучие псы, ходячие тети, дети на велосипедах — счастливые свободой.

Первые три класса школы Марсель гадал, начнут ли дети преображаться в подлинных мутантов. Может быть, прямо на уроке, когда Людмила Викторовна станет чертить на доске треугольник? Поворачивается — вместо класса инсектарий, щупальца да клешни. Школьники были не лучше детсадовцев: мальчики сплевывали на землю и сморкались друг в друга, их физиономии напоминали картофель. И все они подличали: после драки нападали со спины, били девочек ногами в живот, всем классом избивали сильных. К девяти годам у них появились уголовные манеры, перенятые у криминальных родственников: ребята бомбили фраеров, лапали центровых шар и разводили на деньги лохов, мальчики забивали стрелки, путали рамсы, кайфовали, жили по понятиям; на перемене, поймав девчонку-выскочку-

гордячку, они склоняли ее грудь на парту и, задрав юбку, имели понарошку в порядке очереди. Вырвавшись, девочка осыпала одноклассников сапожной бранью, но улыбалась. Значит, эти девочки тоже свиньи — решил Арсений. Драться приходилось редко, потому что с Марселем старались не связываться: если ему удавалось обрушить противника на пол с помощью ловкой подножки, он тотчас прыгал на поверженного драчуна и, вынув из штанов свою пипетку, старался обмочить бедняге лицо. Кроме того, имея хорошие оценки по математике, Арсений делал вид, что не замечает, как у него списывают домашние задания и контрольные работы. Но так продолжалось недолго. Ему все реже удавалось откупиться, потому что успеваемость его падала. Преподаватели жаловались маме, что Марсель стал каким-то невнимательным: «Он у вас в облаках витает», — говорили учителя. «Ты что, ворон считаешь на уроке?» — ругалась мама. Когда его спрашивали, любит ли он ходить в школу, Арсений отвечал утвердительно, при этом вспоминая свои отрешенные созерцания, какую-нибудь блестящую пуговицу старого учительского жакета. Он по-прежнему говорил, что любит математику, но не мог объяснить, почему стал получать плохие отметки. Об уравнениях и задачах Арсений узнал много нового, правда, ему больше не хотелось их решать — важнее было понять, что происходит, когда мокрая тряпка стирает иксы, игреки, цифры и буквы. Даже не понять, но всмотреться еще лучше: белая линия прерывается, мокрая полоса поедает тяжелые знаки. Он стал вызываться мыть тряпки, вытеснив с должности Элю. Споласкивая в раковине серый кусок материи, он видел, как изливаются в трубу только что решенные задачи, и представлял, что под зданием школы есть озеро математики, где вместо рыб водятся синусы и биссектрисы.

В таком состоянии было трудно держать удар, к тому же своим отрешенно-довольным видом Арсений обращал на себя внимание, так что одноклассники стали все чаще нападать на него всем стадом и давить в углу, а преподаватели оставлять после уроков на продленку. Однажды, очутившись в углу, он еще раз изо всех сил дернул за волосы Шептунова, который давил его, будучи раздавленным, и, сжимая в руке жесткий клок почти конской гривы, Арсений провалился в стену, как личинка в чернозем. Внутри казалось необъятно — здесь не было пространства, ширины, длины и высоты; лишь Ночь и Хаос, прашуры Природы, вели тут вечный спор; лишь атомы клубились в пустоте. Арсений повалился в кутерьму, но был выплюнут — кем? чем? куда? — в каштановый лес, где на деревьях отдыхали блаженные прогульщики.

Обремененный синим ранцем, наполненным воспаленной пульсирующей совестью, Арсений стал прогуливать школу. Чтобы с пользой провести урочное время, он ходил через три квартала к продуктовому рынку, где покупал себе в тайном киоске жевательную резину с девушками. Киоск этот Марсель открыл случайно, когда ходил с Машметом за очередной зажигалкой. Трясущимися руками Арсений разворачивал фантик и доставал наклейку с фотографией, а резину выкидывал, потому что по радио узнал о вреде жвачек. Поход за наклейкой был двойным преступлением, ведь мама не разрешала ему без взрослых переходить большие дороги, а Марсель перебежал целых три, пока добирался до рынка. Что рынок? Потом он шел на пустырь, за Институт искусств, забредал на птичий базар и дальше — в частный сектор больших приключений; однажды Марсель, треанафемская его душа, самостоятельно, без мамы дошел до Трубы, и та показалась ему скучной! Обнаженных девушек он приклеивал на потолок своей тахты, когда возвращался домой. Забравшись под нее, он стягивал покрывало к полу, чтобы мама не увидела, как он, подсвечивая фонариком, всматривается в розовые, бежевые и коричневые тайности женщин. Тахта была низкая, так что Арсений почти упирался в картинку носом, и трудно было сфокусировать глаза. Среди двух десятков женщин

Марс выделил трех лучших, которым уделял больше всего внимания. Здесь же, под кроватью, он хранил, заложив коробкой со старыми игрушками (кубиками и суккубиками), коллекцию фишек, на которых зачастую были изображены, конечно же, монстры, мутанты, порой голографические. У Марселя и тут имелось любимое существо — какая-то вырванная, окровавленная челюсть на курьих ножках и в зеленых потеках гноя. Под другим углом зрения картинка частью переменялась: челюсть выпячивала огромные зубы, расплзаясь в улыбке гниющего Чеширского Кота. На этого уroda Арсений никогда не играл, жалея его для себя. Фишки продавались повсеместно, и все ровесники Марселя играли на переменах и после школы в несложную игру: надо было так стукнуть фишками об пол, чтобы они перевернулись лицом вверх. У Марселя хорошо получалось, он обыгрывал одноклассников и даже ребят постарше и так со временем всех разорил и разозлил. Однажды, когда Марсель в очередной раз удачно ударил оземь стопкой фишек и все они разом перевернулись, мальчики набросились на него, побили его и забрали выигрыш. Не на шутку осерчав, Марсель на другой день принес в школу все свои фишки, а было у него их около трехсот. На большой перемене он принялся расшвыривать их по коридору, с удовольствием наблюдая, как мальчики и девочки дерутся и ползают по полу на карачках, подбирая фишки. Правда, потом его за это снова отлупили, после чего Арсений стал прогуливать уроки постоянно.

Кроме гниющей челюсти на курьих ножках, Марсель пожалел и сохранил особенные фишки: с девушками в белых купальниках, которые исчезали, обнажая сокровенное, стоило их поцеловать, а затем, высыхая, появлялись вновь. Марсель помнил, что с интересными морскими камнями происходит нечто похожее, когда их подсушивает солнце.

А на какие же средства, спрашивается, покупал Марсель все эти непотребные картинки? Разве так много карманных денег давала ему мама? Нет, она давала не так уж и много, но зато на первое сентября подарила ему все порошковые бутылки, которых тьма скопилась на лоджиях: на первой стояли зеленые бутылки, на второй — коричневые, а на третьей не стояли, ибо оттуда их могла покрасть соседка. Марсель стал суверенным владельцем этого наследного богатства, но лишь изредка он относил часть стеклотары сборщикам, а потом благоразумно дожидался пополнения.

Маги стеклотары (*allegro assai*)

Блестящие емкости, радости бедняка, своими горлышками вы касались губ нежных юниц, шипучая влага текла из ваших недр в нецелованные уста, уже приговоренные к растлению. Прежде чем войти в любимых женщин, мальчики просовывали розовые язычки в ваши отверстия.

Пивная бутылка, одна бесстыдная дама призналась мне, что ты была первой: ты опередила меня, как Колумб опередил Америго Веспуччи, ты стала сосудом целомудрия, реликвией девства. Теперь ты стоишь рядом с бюстом Байрона, украшенная нитью жемчуга и золотой пробкой. Бесстыдница наполнила тебя драгоценным вином и порой достает с полки, чтобы попотчевать избранных.

Сборщики стеклотары относят бутылки городским волшебникам. Кудесники пивных поцелуев соскабливают запахи нежных касаний, собирают крошки девичьей помады, слюну мальчишеского сладострастия; маги стеклотары создают изысканные сны, сплавляя в ретортах дыхания.

* * *

Порой все эти картинки вызывали у него отвращение, из-за них Марсель считал себя законченным грешником и был уверен, что попадет в ад. Он даже просил

прощения у Бога и как-то раз попытался соскрести с потолка тахты всех женщин, но от наклеек остались белые пятна, словно метки греха. К тому же кое-где картинки сходили не полностью, и по отдельным, весьма откровенным обрывкам женских тел, можно было понять их нескромную суть. Содрав то, что сдиралось, Марсель бросил клейкие клочки, прилипавшие оторванными гениталиями, грудями и бедрами к пальцам, в пакет с фишками, которые вызывали у него еще большее омерзение, потому что здесь женщины были перепачканы слюной прошлых владельцев, обыгранных Марселем; Арсений пошел с пакетом на лоджию и рассеял его содержимое по ветру. Девушки разлетелись в разные стороны: чей-то липкий живот повис на фасаде высотного дома, чья-то левая бронзовая нога полетела в зенит, а правая — долу. Одна фишка упала в воронье гнездо, другая под ноги какой-то старухи, которая подобрала находку и, недобро ухмыляясь, положила в сумку. Наклейка с грудастой мулаткой залепила глаза летящему стрижу, и птица врезалась в окно десятого этажа: стеклянные grenки посыпались в гороховый суп как раз в тот миг, когда женщина вскочила из-за стола, чтобы вlepить мужу пощечину, и тотчас тостер выплюнул хлебец с выжженным словом «game!».

5

Марсель гуляет во дворе. Ему светло и грустно бродить одному, перешагивать через спящих собак, следить за пенопластовой лодочкой в ручье, бормотать непонятное, делить ладонью надвое большие дома, пересчитывать кирпичи стены, вконец доканывать скрипучие качели. Вот полуживая ворона барахтается в апрельской агонии, докуривает папиросу жизни, моргая пуговицами. Марсель склоняется над ней, бормоча отходную — смесь прогорклых слов, накипь газетных заголовков, лифтовых надписей, рекламных воззваний. Перед тем как выдохнуть жизнь без остатка, ворона покрепче затягивается папиросой и говорит читателю: «Немедленно переверни книгу вверх ногами, поднеси ее к зеркалу и посмотри на буквы, если хочешь прожить девяносто восемь лет!»

Возвращаясь домой из школы — а жил он совсем близко, надо было только пройти через воронью рощицу, где выгуливали собак, и пересечь небольшую дорожку, — Марсель загадывал: если он настигнет шагающего впереди человека раньше, чем тот дойдет, например, до первого столба, то мама сегодня не перережет себе вены. Приходилось ускорять шаг.

Однажды Марсель вернулся домой с большого прогула и встретил на кухне, у себя дома... Костыля. «Здорово, Сеня!» — сказал сосед. А зачем же мы, мама, мама, утром первого января клеили этим свиньям на двери — наступил год деревянной свиньи, дядя Линь приехал к нам в гости на праздник, но быстро уснул под грохотки салюта и гнусавый говорок правящего поросенка — зачем, говорю я, лепили соседям над дверным звонком записки: «С Новым годом, свиньи!», а?

Может быть, если мама пустила в дом свинью, то, вероятно, Марсель тоже, наверное, мог бы позволить себе что-то подобное, близкое, родственное, сходственное. Например, найти компанию для вместошкольных прогулок.

Однажды Марс, устав бродить взад-вперед по двору в чужом квартале, присел на скамейку, чтобы снять груз тяжелого ранца и глотнуть пуэра из термоса, который всегда был при нем. Какой-то парень околачивался здесь же, лузгая семечки; впрочем, знакомый с лица, Арсений его видел — этот двоечник и хулиган учился в классе коррекции, носил бессменную олимпийку и сальные трико, рвал глотку на

переменах да заливался визгливым хохотом, а порой ходил мрачнее тучи, задумчиво щелкая семечки. Теперь он подошел к Арсению и серьезно спросил, нахмурившись:

— Ты чего здесь сидишь? Я тебя в школе видел, ты в одном классе с Шептуном учишься, да?

— Да.

— Балда. Тебя Леха Горбатый выпотрошит, если здесь одного встретит, понял? Уроки прогуливаешь?

Так Марсель нашел себе спутника. Что за фамилия чертова? — мальчика звали Тюн, как и его отца, отсидевшего два года в тюрьме, — об этом Арсу не без гордости рассказал новый знакомец. Они сходили к ларькам, где Тюн купил две сигареты и предложил закурить Марселю, но тот отказался. На школьном стадионе ребята встретили чумазых ободранных детей лет восьми: Комара, Червя и Шалаёнка, которые предложили залезть в подвал пятиэтажки.

Мусорные мальчики, спрятав мертвое тело читателя, вылезают из подвала, раскрашенного, как торс японского головореза, и бегут по двору вслед за ошалелой крысой, вопя «А-та-та!». Рычат и визжат «А-та-та!», швыряют камнями в животное, падают, разбивают ладони в кровь и снова бегут — бах! — крыса высоко подпрыгивает от удара, но продолжает бег, оставляя за собой кровавый пунктир. «А-та-та!» — бах! — крыса пищит и летит кувырком через поребрик. Бах! — в крысу попадает большой кусок кирпича — бах! — отрывается голова, но лапки еще копошатся в воздухе. «Не бейте ее!» — кричит Марсель, догоняя мусорных мальчиков, а в ответ слышит грозный окрик «А-та-та!».

Через полчаса вороны расклюют ее тельце, но крысиные кишки еще долго будут валяться на тротуаре возле помойных баков, перевернутых, потому что — а-та-та! — мальчики, нет, один только Шалаёнок запрыгнул в бак, раскачал и перевернул его вместе с собой, не обращая внимания на проклятия старухи, рывшейся подле него в соседнем контейнере.

Мусорные мальчики вырывают кресты из могил на старом кладбище...

— Сколько тебе лет?

— Девять!

...и выбегают на перекресток, вопя «Сатана! Сатана!». Железный крест радостно блестит, воздетый к небу.

Мусорные мальчики бросают бутылки с крыши, гадят в лифте, рисуют непотребства краской. Марсель следует за ними.

— Пойдешь с нами на иголку?

В тот день Арсений не пошел, отказался: его насторожило слово «иголка» и домой надо было возвращаться, уже темнело.

В тот день, когда Марсель познакомился с мусорными мальчиками, он видел: как мальчики разбили стекло на общей лоджии в доме № 55 по улице Хользунова; как мальчики исписали бранными словами дверь учительницы; как мальчики, в бутылке перемешав карбид с водой и собачьим дерьмом, взорвали эту бомбу на детской площадке; как мальчики пошли посмотреть гниющий труп собаки, расковыряли его палками и бегали друг за другом, вопя «Трупный яд! Трупный яд!»; как постучали в окошко ларька и бросили петарду внутрь. Не в школу, а под теплый дождь ходит Марсель, во двор чудес к мусорным мальчикам, где его учат громить подъезды. Кафельная плитка, оторванная от пола, разлетается вдребезги под ногами пешехода, и брызги дождя вмешиваются в осколки, отскакивают от расколотого асфальта, падают и рассыпаются еще раз — на более мелкие капли, а те снова летят, взрываются и стремятся вниз. Кто знает, где конец дождю?

Бутылки сыплются на голову, бутылки из лепестков грязи, грязноцветные стеклодендроны; стекольчатый дождь по головам, по спинам, по зонтам. Что там бьется? Кто там дебоширит в коридоре, бьет бутылки о входную дверь? Михаил поднимется со стула, Евгения бросит мыть посуду и вытрет руки о фартук, Зина упустит мысль в кофейник, а Геннадий тягостно вздохнет. Но эти люди никогда не найдут за дверью, только спешный звук беглых шагов да бранный вопль достигнет их на пороге.

Шли, бежали, неслись через пустырь, что за Институтом искусств, за трамвайной линией, перед вещевым рынком, над ядром Земли, под созвездиями. На этом пустыре — две ивы да турник — нацисты убили поклонника негритянской музыки: повесили, как странный фрукт. За рынком, где Марсель покупал себе кроссовки. Кофты, сапоги, располагалась автостоянка, а за ней, перед лесом, — научно-исследовательский институт «Вега», несостоявшийся и пострадавший: длинный трехэтажный корпус и семнадцатизэтажная недостройка, брошенная в перестройку. Семнадцать этажей, но каждый этаж высотой в два обычных; пустой и прозрачный каркас высоты, бетонный скелет с огромной шахтой в середине — вот она, Игла, легендарная Башня смерти: якобы здесь людей приносили в жертву неведомой сущности, сбрасывая в шахту. Обиталище желторотых наркоманов, юных сатанистов, неоперившихся нацистов, бездомных стариков и мусорных мальчиков, с которыми пришел сюда Марсель. Тревожный проем в стене с красной подписью: «Проход воспрещен!! Опасно для жизни!!» — и зеленой помельче: «God is the place where you can come». Когда Марсель подошел ближе, он рассмотрел картинку, подрисованную возле английских слов, — это была девочка, шагающая по волнорезам, как могли бы шагать пальцы, подражая ногам, по клавишам фортепьяно. На слепом ходу она читала книжку, поэтому не могла заметить, что в третьем проеме ее поджидает акула.

Внутри здания обреталась тьма, в которой можно было выбрести к подвалу и бункеру, то есть пойти в нижний мир, каковой, если верить завсегдаям, простирался на семнадцать этажей вглубь, а можно было взойти ввысь по одной из двух лестниц без перил, но с черными свастиками на ступенях. По этим черным свастикам и побежали мусорные мальчики, вопя «А-та-та! На блокпост!». Блокпостом назывался верхний этаж под бетонной крышей, куда тоже залазили, — по вертикальным железным лесенкам, повисая над пропастью. А блокпост был ветряным этажом, продувным, потому что стен как таковых тут не наблюдалось вообще, лишь бетонные столбы да плиты кое-где. Зато имелся железный мост через шахту, его называли мостом самоубийц — отсюда и прыгали жертвы иглы. Все здание было в здоровенных щелях, в п р о б е л а х, во внезапных пропастях. Поднимаясь по лестнице, ты запросто мог ускользнуть в небытие стеной расщелины. Кроме нацистских символов, звезд хаоса и пентаграмм, стены пестрели надписями: «Ешьте своих детей!» — и подобными стишками: «Игла, наверно, край чудес: в нее зашел и там исчез!» Мусорные мальчики находили в подвале разрезанных собак, черепа и белые банты. А как-то раз на дне шахты обнаружили труп. Кто обнаружил? Да какие-то фраера, нездешние, чистенькие мальчики, вроде Марселя, старшие подростки. Сначала послышался отчаянный вой падения, а потом что-то грохнулось внизу (мусорные сбросили кирпич). Чистенькие ошалели, глядя в шахту с восьмого этажа: там распластался «упавший».

— Его убили сатанисты! — с таким воплем подскочили мусорные к чистеньким.

— Кто убил? Как?

— Сатанисты столкнули!

Наверху раздались вопли, кто-то палкою отбивал похоронный марш, кто-то рычал: «Сатана! Где моя игла?!» Чистые ребята, подгоняемые мусорными, бросились вниз по лестнице. Услышав звук бега, «труп» спрятался в подвале.

— Давайте посмотрим, вдруг он еще жив! — предложили мусорные мальчики.

— Тут никого нету!

— Наверное, его унесли в бункер, чтобы разделать на жертвенном камне. Надо спрятаться в подвале: сатанисты уже стерегут нас у выхода!

Заманив чистеньких ребят в подвал, мусорные мальчики устроили им такую черную мессу, что те прибежали домой в мокрых штанах.

На двенадцатом этаже Марсель остолбенел перед огромным рисунком: со стены на него смотрел зеленый, длинноносый, пучеглазый комар. Тот самый его комар, что провалился в трубу. Правда, художник в несколько раз увеличил ему голову и сжал тельце, к тому же комар нелепо демонстрировал бицепс, который вспух таким фурункулом на худенькой ручонке, что даже порвал рубашку. В другой верхней руке мутант держал бейсбольную битку, а нижние две сунул в карманы модных брюк. На голову комару художник надел бейсболку назад козырьком, как носят негры. С кончика носа-иголки падала огромная слеза насморка, в которой помещалась закругленная радужная подпись: «Wow!», причем восклицательный знак художник изобразил в виде перевернутого баллончика краски. Марсель, разинув рот, застыл перед комаром, хотя все мусорные мальчики побежали вверх, бранясь по-взрослому и норовя столкнуть друг друга в пропасть. Кто мог нарисовать мутанта? Тот, кто сумел вынуть его из трубы, или владелец похожей игрушки. Марсель так и стоял перед портретом, пока за ним не прибежал Тюн.

— Чего ты уставился? Бежим на блокпост!

— Какой еще блокпост? — сказал Марсель, не отводя взгляда от комара. — А это что?

— Не видишь, что ли? — усмехнулся Тюн. — Это Комарик наш. Не узнаешь? Кстати, никогда не прикасайся к нему и ничего у него не бери, понял?

— Почему это?

Тюн залился визгливым смехом, поднес большой палец ко рту и сделал неприличный жест, одновременно давя языком в щеку, будто у него что-то вошло в рот и не помещается. Затем он еще раз взвизгнул и стал быстро дергать себя за кожу над кадыком, выпятив губы трубочкой. Он дергал все быстрее, пока с губ у него не потекла пеннистая слюна.

— Ты выродок, — сказал Марсель и отошел в сторону.

Ничего не ответив, Тюн стал выпускать длинную тягучую слюну и втягивать ее обратно в рот. Внезапно он бросил это занятие, возопил и с разбега ударил ногой остов кирпичной кладки. Несколько кирпичей полетели в лестничный проем. Тюн, заливаясь визгливым смехом, неистово харкая и бранясь в мать и в бога, стал швырять кирпичи в шахту. Остальные мусорные мальчики, успевшие подняться на три этажа выше, последовали его примеру. Минут пять эхо разносило по высотке грохот и вопли, наконец кто-то из ребят членораздельно пропищал сверху:

— Чего вы там пляшете вдвоем, с...? Пойдемте на блокпост!

Арсений вдруг понял, как нелепы были его детские игры. Он усмехнулся и бросился вслед за Тюном.

С тех пор комар не выходил у него из головы. Марсель по памяти набросал в тетрадке портрет комара, а потом еще раз сходил на иглу и срисовал его точнее, но ему не нравилась ирония художника, ведь комар требовал большей серьезности. Рисунок казался Марсу наивным. Вскоре тетради школьника были украшены эскизами чудищ. Марсель живописал всех: и оранжевую обезьяну с биноклем

вместо туловища, и ярко-синего атлета с рыбьей головой, и черного поджарого скелета в нацистской фуражке, и саблезубого скелета с отстежными крыльями летучей мыши и бензопилой вместо руки, и самурая с панцирем жука и клешней краба. Он даже снял с антресоли ящик с игрушками, чтобы рисовать с натуры. Вскоре Арсений скопил денег на краску, он купил три баллончика: зеленый, черный и оранжевый. И как-то раз, просиживая школу в подъезде, он впервые попробовал себя в живописи: на лестничной площадке между этажами, рядом с неприличным стихком и подписью «Егорка», нарисовал саблезубый череп в профиль. Но Марсель еще не умел обращаться с аэрозолями, так что рисунок его стек прямо на здоровенный фалл кисти неизвестного художника.

Вскоре Арс поднаторел в живописи: он догадался перелистать альбом Босха и подыскал нужный стиль для комариного портрета — «Музыкальный ад». С тех пор Марсель только и делал, что рисовал этюды на стенах и в тетрадях, и чаще всего изображал пару проткнутых иглой исполинских ушей с длинным лезвием посередине; выгравированная на лезвии буква «М» в этом случае была подписью художника, а не Антихриста, как у Босха; уши вместо стрелы протыкал комариный нос мутанта: он бесцеремонно присоседился здесь незванным постмодернизмом, коровьим седлом, пятой ногой собаки Павлова, исходят слюной в облаках так обильно, что начинается дождь, ливень над городом. И летит кафельная плитка с лоджии, разбивается вдрызг в брызгах капель, падает фатально, как генерал Каппель с коня.

Так, с мусорными мальчишками, во дворе чудес, на Игле да в подъездах Арсений прогулял, просидел, прорисовал три учебных недели, а потом нарочно заболел, чтобы получить больничную справку. Когда он выздоровел, когда зашел в класс, его встретили аплодисментами: сначала зарукоплескал главный остряк Шептунов, его поддержали; овации стихли, Марселя стали допытывать и язвить: «Ты где был? Мы уже думали, что в другую школу перешел». — «Ах, ты болел? Слышишь, наверное, он сифилисом болел!» — «Нет, он триппер подхватил у Юльки. Да, Федорова? Что молчишь? Ты триппером Сеню заразила?» — «Что?» — «Да ладно тебе! Мать твоя б... трипперная, и ты такая же!» — «Ну и зачем ты пришел, Триппер? Мы тут уже тригонометрию и китайский язык изучаем!» Марсель прошел к своей парте, но его место, рядом с названной Федоровой, было занято молчаливым Женей. Арсений сгреб его тетрадь, учебник, ранец и зашвырнул все в дальний угол класса. Женя поплелся собирать. Не говоря ни слова, Арсений грохнулся на стул, достал пудреницу и стал замазывать крупный прыщ на лбу.

* * *

Однажды мама обо всем узнала и выругала Марса и долго его допытывала: почему, зачем и есть ли совесть. Ее вызывали к директору, ей рекомендовали и увещевали ее, даже завуч, даже классная руководительница. Но М. гордо молчал в ответ на все допросы, как пленный немец. В итоге он заявил безапелляционно, категорически, сказал как отрезал, что решительно больше никогда — и это ультимативно — не пойдет в школу: точка. Ну как же, мама, ведь ты сама отказалась учить их французскому языку, уволилась через год, а потом женилась на дяде Лине из-за денег, то есть наоборот — это он согласился выйти за тебя, чтобы получить гражданство. И его друг негр очень хорошо плясал на свадьбе. Но все равно дядя Линь приезжает, как раньше — в три месяца раз, только подарки его стали еще лучше.

«Национал луски напитка — эта водки», — говорит Линь, доставая бутылку из сумы, а потом настойку на червяке.

Так или не так, но ты не захотела туда ходить, а меня посылаешь прямиком к пороссятам. Хорошо, Марсель, сдалась мама, выдохнув трезвый воздух, попробуем тебя в лицей отдать со следующего года, bien. После этой истории с вашими девочками я и сама хотела тебя перевести. Это же кошмар какой-то. И правда что, мама Арсения права — сущий страх, и не поверишь, ведь пятиклассницы, черт побери, по десять лет им, а такое вытворили из-за куклы: надругались над твоей дочкой, дорогой читатель, а потом утопили ее в реке, а потом утопили в реке твою дочку; отвели на пруд, били в живот ногами, пытались вскрыть вены булавкой, она звала на помощь, но рыбак решил оглохнуть, потом собачье дерьмо заставили есть, нашли всю изувеченную, изнасилованную палками во все отверстия твою маленькую дочь пятиклассницам дали по два года колонии а где были родители сестры брата дядя посаженные отцы отцы двоюродные тёски шурины золовки ветошницы начальное образование социальные дисциплины охрана жизнедеятельности скворцы победа грязьподногтямиккакчерныеполумесяцы.

7

Забывшемуся писателю полруки откусывает злокозненная машинка; облитая кровью, она выплевывает стальные иероглифы вместо букв, отрывает сичкины глазки.

Арсению придется еще дохаживать учебный год в старую школу, но пока — ладно, поживем — увидим, повременим, ведь Первомай уже, коммунисты-реваншисты алчут повернуть время вспять, как некогда хотели повернуть Тобол, а Марсель алчет Нину в коктебельских скалах, ему плевать на гражданский долг, плоть его вызывает, вопиет. Врачи сказали — раннее созревание. Мама взяла его все-таки, хотя страшала, что оставит в наказание за прогулы в Воронеже с Машметом. Купейным вагоном — Линь разорился — доехали в Симферополь. Дядя Кузя, мамин двоюродный брат, седой и добрый, справедливый, и длиннолицый, и губастый, похожий на коня и Пастернака, — словом, настоящий гуингнм, встретил на вокзале, говорил на сплаве языков: «Привіт, хлопці! Що, Сеня, матуся галушками пригощає? Молодцом!» Таков дядя Кузя, Кузьма Давидович, отец Нины, разведенный судьбою и судом с ее матерью. Однажды он приехал из стольного града доходягу мать дохаживать да так и остался под горой жить, под Сюрю-Кая, чтобы наблюдать лошадей на склонах, собирать, бродя в облаках, лечебные плоды держидерева да напевать песенки:

А по-під горою,
По-під високою
Козаки йдуть!

Мені з жінкою
Не возиться!
А тютюн та люлька
Козаку в дорозі
Знадобиться!

Курчавая Нина тоже к Первомаю подросла, из Киева, и, как сказал Кузя, нарочно — по Марсу соскучилась. Что и говорить, они хорошие друзья, не разлей вода, дотемна бегают в заповеднике Карадаг, весь горно-вулканический массив облазили,

играя в «Волошина», то есть разыскивая места, откуда он писал свои картинки. Сверялись по открыткам, и если что-то похожее отыскивали, Нина тотчас на этом месте обнажалась. Все снимала, даже трусики, с опаской оглядываясь по сторонам: вдруг егерь наступит; а кроме них, тут никого и быть не могло весной. На два года старше братика — в этот раз Нине было двенадцать. «Як мені встати?» — спрашивала веснушчатая Нина, и Марсель серьезно и строго приказывал: «Повернись!»

Когда птицы не поют, в горах еще тревожнее.

Потом, набрав по охапке карадагских тюльпанов, нарциссов, асфоделины, дети искали полного уединения, чтобы поиграть в серьезную игру — в «Босха». Кругом был вид, торчали клыки скал, окрест синело море; порой налетали холодные облака, окутывая долины, порой ушастые косули прыгали через тропку и зорко замирали, не особенно страшась. Остроглазая глядя на мыс Хамелеон, сменявший оттенок — от волошинского до непонятного, Марсель и Нина спешно раздевались. Освеженные водами источника (в нем суфий умывал лицо), притаившись, например, за духовитым можжевельником, они визитировали сад земных наслаждений: девочка вставала на землю коленями и локтями, а Марсель, выбрав карадагский пион с наиболее мягким стеблем, вводил его сестре в задний проход: «Ну що? Як виглядає?» — спрашивала рыженькая Нина, оглядываясь через плечо.

Однажды, пока дети играли, ветер смахнул с утеса колоду волошинских открыток, и вид полетел к виду, мыс к мысу, скала к скале, пейзаж к пейзажу и даже

Все замерло — холмы, деревья, тучи,
В лиловом олове весенних талых вод, —

и это полетело в согласную сторону — к бухточке с прозрачными деревцами, в киммерийские сумерки полетело. А чертовы Золотые ворота, знаменитая скала с дыркой, рисованная-перерисованная, — не сумка ли это старухи ветошницы, распахнутая открыточным ветрам?

Скоро-скоро прошумели бодрые куранты победы, напомнив каждому о тех гордых днях, когда красные камрады отмщения полоняли в кирхах швабских дев. Праздники сворачивались, порохом пропахнув; со слезами на глазах Марс глядел в иллюминатор поезда — так бледный иллюминат перед обрядом глядит на портрет Вейсгаупта.

«Всматривайся, не моргая, или всасывай что-то — и так стань сосанием», — говаривал господь Шива; и Нина, словно следуя этому, глядела на Марселя, не мигая вовсе, дерзко, внимательно да сосала ванильный коlob на палочке. И вдруг поезд поплыл. Дядя Кузя, стоямя провожатым перпендикуляром платформы, накренился, отослал последнюю посмішку и впитался в раму поездного окна; за ним последовала Нина. А поодаль какая-то старуха с пятью сумами наперевес махала платом и скланилась вослед составу.

Марсель Арсений Арс Марс сторонился юга, стремясь поездом на север. Вокруг него деревья уходили корнями в землю, птицы летали, хлопая крыльями в пустоте, звери бегали лапами по твердой почве, а поезд выпускал дым, потому как ему присуще это; ветер помавал деревянными ветвями, дождь каплями падал долу; женщины в деревнях — на сносях и вдовы — кормили матерей хлебом; коршуны в большом небе дрались за добычу, а насекомые прятались в травы, прятались в травы.

Однажды ночью мусорный мальчик Комар хватает ледяной лапкой спящего читателя за ногу. В неярком свете ночника лицо Комара превращается в длинную собачью морду, потом заостряется еще сильнее — в клюв. Комар берет лицо руками, вытягивает его изнутри, из головы, скатывает колбаской, стержнем, заостряет все тоньше, пока лицо его не становится иглой!

Как-то раз Марсель дежурил в подъезде — уютжил ступенчатый день, складчатый полдень, заплеванный и бетонный. Хорошо и не страшно было в подъезде Арсению, легкий крест одинокого прогула нес Марсель весьма покорно, время от времени чертя на стене анфас мутанта. И тут дверь общей лоджии распахнулась — из света вышел мальчик и остановился перед Арсением, осторожно глядя на него. Арсений прикрыл ладонью глаза от солнца и различил, узнал школьника из другого, не его класса. Это был несчастный Устрица. Всеми отверженный чудак в сапогах. Марс тотчас вспомнил, вспомнил, как Устрицу держат за ноги и за руки, тащя к уборной, чтобы затоптать его там в урину и слизь, чтобы наплевать ему в один карман, а другой набить туалетной бумагой; Устрица же вопит истошно, рычит, извиваясь членами: «Шёнберг! Шёнберг! Шёнберг! Шёнберг!» Его вопль мешается с алчным смехом ребят.

Эту сцену вспомнил Марсель, когда пред ним стал Устрица во плоти и вне школы. Причастившись каштановым прогульщикам, здесь, в каштановой роще прогула, сидел на ветвях Устрица, обретая приставку — зарат. Марсель часто видел его на переменах: перепачканный краской, он бегал по коридорам — невменяемо озираясь, и шурясь, и скалясь. В насмешку над теми, кто носил кофты с портретами и подписями музыкальных команд или негритянских частушечников, Устрица написал себе краской на груди «Галина Ивановна Уствольская!» и приколот булавкой фотографию композитора. «Кто это такая? — спрашивали у Устрицы. — Это твоя мать-б...?» Устрица скалился и корчился в ответ, а то и говорил: «Это великий композитор Галина Ивановна Уствольская. Она — гений, а ты — скотина!» — за это его нещадно лупили. Еще за дедушкину фуфайку и резиновые сапоги, ведь он был сыном нищей музыкантши, виолончелистки Клары, которую на глазах Устрицы еженедельно употребляли два соседа-бандита, а бывало, и его, походя. Устрица плевался кровью — об этом знали все и сторонились. Когда ему разбивали губу или нос, он бегал и харкал во все, что движется. Однажды Устрица плюнул кровавым сгустком в лицо директору школы, и тот вызвал его красивую маму к себе в кабинет — и долго-долго от нее ни слуху не было ни духу (Устрица-то ждал под дверью), потому что по известной причине по поводу очевидности, так как понятно и так без экивоков, эт сетера, нота бене.

— С..., ты слушал Большой дуэт для фортепиано и виолончели Галины Ивановны Уствольской, написанный в одна тысяча девятьсот пятьдесят девятом году от Рождества Господа нашего? — обратился Устрица к Марселю.

— Сам ты с..., — ответил Марсель и, сорвав колючий каштан с ветки, которая росла прямо из стены, из нарисованной промежности нарисованного скелета, протянул его Устрице. — Привет, Устрица, сам ты с..., тоже прогуливаешь?

Тоже. Вскоре Марсель уже сидел в комнате Устрицы, ведь тому не непременно приходилось околачиваться по дворам да каштановым аллеям: мамы его зачастую дома не было, потому что днем она работала кем-то там в столовой, если не выступала в концерте.

Что было в комнате несчастного Заратустрицы? Что узрел Марсель, во что вплялился он? Авгиевы конюшни: светодиодный хаос проводки, проводной делирий

электронных кишок, динамичный басистый кульбит чего-то соединенного воедино — такова была комната Устрицы. Везде тут ползали провода, тянувшиеся от раздраконенных звуковых систем, от виниловых проигрывателей и кассетных магнитофонов с вылезшим нутром, а колонки, старые, стояли даже в окне, так что вместо света лился звук. И всюду горели зеленые да красные огоньки мелких фонариков, вплавленных где ни попадя. Ребята зашли в готовое звучание: а ты музыку не выключаешь, что ли, когда уходишь? Нет, не выключаю. Играло тут много всего разом.

— Зачем так? — удивился Марсель.

— Чтобы одновременно, чтобы одновременно, одновременно слушать, например, Струнный квартет номер семь Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и Пять фрагментов по картинам Иеронимуса Босха для тенора и малого оркестра. Знаешь, кто их написал? Альфред Гарриевич Шнитке их написал, — зачистил Устрица.

— На кой? — удивился Марсель. — Я вообще такую музыку не слушаю, а Босха очень даже...

— А мне плевать, какую ты слушаешь музыку, потому что ты слушаешь дерьмо какое-то, в любом случае у тебя папа китаец. А слушать одновременно надо для тренировки: чтобы в уме разделять две композиции. Понимаешь? В уме, в уме. Научиться их отделять друг от друга в уме!

— А зачем ты так глазами вертишь по сторонам и ногти грызешь?

Чтобы в уме, в уме научиться их отделять: Устрица закопался под провода, под слой проводки, заискрился током, стал электродом в сетях, как лещ в небе, как скользкий окунь в облаках, как зубастая с...: если засунуть кулак в рот и сказать «щука», то она и выплывет изо рта и рассыплется костлявыми с...и буквами. Смотри не поперхнись!

9

Что, читатель, больно тебе висеть кверху ногами бесхозным и выморочным? Хорошо ли тебе дышится, двенадцатый аркан? Пульс, давление, состав кала — все в норме? Смотри не обделайся в лифте, когда он станет биться о стены шахты! Говорят, кабины отрываются иногда, от времени до времени, изредка, но если успеть подпрыгнуть, то ничего не сломаешь, даже коленные чашечки не раздробишь. Есть секунда, чтобы подумать, рассчитать: раз, два, три — прыгай! В щепки раскрошится пол кабины, зато благородный читатель наш с книгой в руках так и завыснет в клубах пыли.

Около лифтов, грузового и обычного, прилежно выбритые молодые люди в черных олимпийках и красных восьмиклинках играли в гольф: влажную от слюны кожуру подсолнечных семян насыпали двумя пирамидками напротив каждого лифта; отступив шаг от стены, парни, как клюшками, целились по резиновым мячикам бейсбольными битами — такие мячи продавались во многих ларьках и обладали любопытной способностью отскакивать от земли на десять метров вверх. Двери лифтов открылись одновременно, гольфисты ударили по мячикам, и те, разбив пирамидки шелухи, влетели в кабины. «Бинго!» — сказал один парень, а второй пустил струю сладкого дыма в лицо Марселю, когда тот уже зашел в грузовой лифт и нажал на расплавленную кнопку первого этажа. Дверь кабины стала медленно и спорадично закрываться, и пока она скрипела, молодые люди не сводили глаз с Арсения, заложив биты за шею и повиснув на них, как на перекладинах крестов. «Ау! Ты наш мячик увез, слышишь? Ты денег должен!» — донеслось до Марселя сверху.

Кнопку одиннадцатого этажа тоже расплавили. Все остальные кнопки были прямоугольными, а эти три напоминали стариковские подушечки пальцев; третья — кнопка «стоп», красная и помятая, как палец старого взмокшего дьявола. Потолок в лифте загадили черной копотью, словно тут стояли с факелами, а на самом деле кто-то спичками выжег подпись «Егорка». Всю вентиляцию залепили жевательной резиной, разноцветными катышками: желтыми, голубыми, розовыми; от свежих и влажных жвачек еще слегка веяло мятой и ванилью. Пол в кабине местами был прободан — это умалишенная старуха, знаменитая на весь дом, однажды рубила пол топором, зависнув на шестнадцатом этаже.

Лифт приехал, дверь поползла вбок. Марсель хотел выйти, но путь ему преградили гольфисты. «Успели уже спуститься на маленьком лифте», — подумал Арсений и протянул им зеленый мячик.

— Что? Слышишь, это не наш мячик! Наш был красненький! — обиженно сказал правый гольфист.

— Может быть, красный мячик попал в другой лифт? — предположил Марсель.

— Конечно, попал! — ответил левый гольфист.

— Чего же вы хотите?

— Слышишь, у нас было два красненьких мячика! — в один голос ответили гольфисты и зашли в лифт.

Один гольфист снял свою красную кепи и помял в руках, будто ее цвет свидетельствовал в их пользу. Марсель с размаха ударил мячиком об пол, и тот с большой силой и быстротой запрыгал вверх-вниз, отскакивая от потолка и пола кабины. Глаза гольфистов прыгали в орбитах вслед за ним. Арсений тем временем, пользуясь заморочкой, выскользнул из лифта и побежал во двор чудес в этот день наведались нацисты.

— Это у тебя папа китаец? — спросил у Марсея лысый парень со скошенным лбом питекантропа.

— Точнее, наси. Кстати, у них до сих пор сохраняется матрилокальность, что уже не раз наводило меня на определенные мысли. Кроме того, я могу с точностью этнографа заявить, что обычай «приходящих мужей» принимает гротескные формы в чужеродной среде, — вдумчиво ответил Арсений.

— Ничего себе! И как ты терпишь узкоглазого дурака, тупого этого монголоида? Ты чего, а? — спросил второй гладкоголовый питекантроп в зеленых подтяжках.

— Тупой? Сомневаюсь. Но вовсе не желая убедить вас и себя в том, что отчим прямо-таки семи пядей во лбу, я все-таки без обиняков заявляю: вербальные знания его — а кроме пресловутых языков Антанты, Линь Цзесюй, будучи еще молодым человеком, освоил пиктографическое письмо дунба и слоговое письмо гэба — его словесные умения, говорю я, впрочем, русский у него сильно хромает, налагают определенное бремя некоторого интеллекта, так сказать... — начал было Арсений.

— Я поставлен в тупик, я развожу руками! — вознегодовал нацист. — Ты русский парень чистой, грызи твою душу, расы! Как ты, не побоюсь повториться, живешь с этим узкоглазым кознодеем? Ты чего, а?!

Намереваясь ретироваться, Арсений крутнулся на каблуках: не желал он диспутировать с плешивыми поросятами, но один из них удержал его за предплечье.

— Эй, слышишь, отпусти малого! — сказал гольфист, подоспев.

— Ты чего, уркаган, санкюлот дерзкий, таким толстым голосом говоришь, забыл, как бычок в глазу шипит?! — осведомился патриот.

Завязалась нешуточная потасовка — прямо в каштановой роще близ двора чудес. Здесь же, подле гаража, мусорные мальчишки принялись глоссолатить и харизматствовать, наблюдая зрелище драки.

А дело в том, что Марселя уже давно перевели в лицей и там первые полтора года ему пребывать было сношней, чем в старой школе, потому что дети не так свинячили. И все было бы хорошо, если бы учительница русского языка однажды не спросила его прямо среди урока: «А что это, Арсений, я тебя с каким-то китайцем видела? Вы пакеты с продуктами несли из магазина». Марсель поднял руку для ответа, вскочил с места и выдал скороговоркой: «Сельское хозяйство является основной отраслью насийцев. Они выращивают рис, кукурузу, картофель, пшеницу, бобы, хлопчатник, лен и прочее. На двух берегах реки, реки Цзиншацзян, есть лесные массивы, богат растительностью горный район Юйлун. Да, но должен заметить (и не без гордости чайного гурмана!), что мой отчим Линь Цзэсюй родом из провинции Юньнань, где производят первоклассный пуэр. К тому же он мастерски играет в маджонг». Хохот класса посредством метаморфозы преобразился в перемену, и тогда Хрюков, остроумник детского коллектива, предположил: «Так твой папа проклятый монголоид? Тебя надо за это убить, а прах развеять над загородной свалкой, ибо узкоглазые нелюди приезжают, чтобы разносить СПИД в блондинистой среде наших женщин. Хайль Гитлер!» Марсель вспомнил, как Тюн, если случался повод, внезапно и ловко воздействовал головой на хорошо всем знакомую видимую часть носа, которая называется наружным носом и состоит из корня, спинки, верхушки и крыльев. Основу наружного носа составляют носовые кости: лобный отросток верхней челюсти, латеральный хрящ и большой крыловидный хрящ носа. Хотя наружный нос и покрыт такой же кожей, как и лицо, но из-за обилия сальных желез в этом месте толст и малоподвижен. И сей орган прекрасно сочетается с изящной струйкой крови, норовящей омыть сфинктер губ. Марсель потирал ушибленный об нос лоб, а озадаченные одноклассники уже порешили, в уборной отмывая дерзновенного блюстителя расовой чистоты от его расово чистой кровушки, устроить Марсу темную. Но того уже и след простыл.

Да, Валентина Сергеевна, вы и впрямь видели Марса и Линь Цзэсюя, когда они шли из универсама с колбасами, пряниками, без йогурта, без кефира, без ряженки, без простокваши, но с яйцами, чтобы сделать из них столетние за месяц. Вы, Валя, как вас кликали дети на переменах, шли и не знали ничего про столетнее яйцо, синее от времени, а Арс употреблял его и запивал пуэром; вы же неблагородно просаживали учительскую зарплату на какое-то индийское пойло, дававшее в чашку вам бледно-коричневый настой. Вы, Ваалова Валя, ни разу в своей никчемной жизни столетнего яйца не ели, выдержанного и синего, а стоит ли говорить о яйце тунцзыдань?

Линь Цзэсюй ежегодно приспособливал Марселя для приготовления этого деликатеса — так было с раннего детства, сколько Арс себя помнил: каждую весну, во что бы то ни стало, когда силы инь и ян всюю карнавалются, Линь приезжал готовить тунцзыдань. Мама даже беспокоилась, что Линь больше в Марселе заинтересован, чем в ней, ведь без Марса яйца никак нельзя было состряпать: мальчика поили и поили соками, водой, мочегонным чаем, чтобы в конечном счете урины хватило на большую кастрюлю. Затем в квартире становилось душновато, и мама выводила Арса на прогулку: к трубе ли, к каштановым ли аллеям или просто, но прочь из дому, где хитро ослабленный Цзэсюй варил в Марселевой моче иероглифы, нет — яйца: «Делисасес, палесна!» — говорил Линь, когда Марс и мама возвращались. Пахло блюдо не очень, но на вкус было пригоже. Вскоре Марсу стукнуло тринадцать, к горлу подступало уже половое созревание, делавшее Марселеву мочу непригодной для варки. Дядя Линь решил, что можно пойти на уступку и дотянуть до четырнадцати лет, а потом, глядишь, новые дети появятся.

А вы, Вааловна, шли мимо украдкой, улыбаясь хитро и таинственно, словно яиц наевшись, неся в суме своей тетради на проверку, в том числе Арсения тетрадь,

чтобы вlepить ему двойку — красную, жирную, чем-то напоминавшую фрагмент иероглифа, — вы нарочно постарались, попробовали себя в каллиграфии. И вероломно выругали Марса за небрежность почерка, подписав под нехорошей оценкой: «Вместо букв — иероглифы!» Марсель вас, крадущуюся, не заметил тогда, но вспомнил тот поход за яйцами, когда вы о нем обмолвились на уроке. Потому что его с отчимом в означенный день атаковали в соседнем дворе, когда они уже подходили к дому: под ноги Линю упал камень, Линь Цзэсюй остановился, Марсель тоже, — метрах в десяти от них стояла группка подростков. Когда Линь обернулся, в него полетел второй камень, попал в ногу. «Лей хули-гань!» — крикнул Линь, поставил свой мешок и двинулся в сторону хулиганов; мальчики загоготали и бросились наутек. Но вы, Ваалова Валентина Сергеевна, ассиро-вавилонская руководительница класса, для детей чудище финикийское, идолище Гелиогабала, повелительница русъяза, — вы того не наблюдали, ибо сокрылись во мраке захарканного подъезда, где сидела какая-то старуха, повалившись горбом на почтовые ящики.

10

Согласно китайским верованиям, после смерти каждый читатель распадается на светлые и темные души, которые называются «хунь» и «по»: одни становятся злыми духами, а другие, чистые улетают в небо.

К чертям все школы и лицеи! — лучше с Устрицей прохаживать уроки по стоптанному, скользкому снегу, посоленному от бабкиных падений (чтобы пресно не грохнулась). А можно его и полизать, как Устрица: напившись сладкого сиропа от кашля, бахался под ноги прохожему дядьке и начинал лизать снег и носы ботинок, а дядька, опешив, тупо столбенел. Или, взяв двухлитровый бутыль сидру, засесть на заднее сиденье автобуса, дабы умчаться, визжа от восторга, до конца, до конечной, в Отрожку мечты, в пригород и загород, где снег гульче трещит под мокрым и теплым ботинком, где есть еще аптеки с малиновым сиропом грез, где, батенька мой, благорастворение воздушных, изобилие плодов земных.

Или на спор поцеловать взасос унылого дворника, подвыпившего дядьку: «Ах ты мой милашка!», а потом бегать от него наперегонки, переводя вопль «Мужеложники поганые! Содомиты!» на язык волшебного сиропа — деванагари великих пубертатных лет. Кудесное лихолетье, между прочим, когда деревья на бегу перевертываются и обледенелые мартышки прыгают с капота на капот, поскальзываясь и вопя, когда только школа мешает святой напасти разгула. Марсель с Устрицей бывали во всех районах города во всякое время суток, во всевозможных состояниях, часто были биты, но всегда веселы. Особое у них водилось развлечение — подкрасться к одурманенному героином несчастливцу, одному из тех, кто друзьями-соигольниками выброшен бывал на улицу в мороз (чтобы в тепле не уснул и не помер от передозировки), подступить к нему, гуськом идущему через двор к киоску за сигаркой, и, украдкой разрезав свою ладонь бритвой, плеснуть наркоману кровью в лицо. Не надо было убегать, ведь тот весьма медленно мог двигаться, хотя все ясно понимал и пытался вышевелить ругательство кровью окропленными губами. «А-та-та!» — кричал Марсель в левое опийное ухо. «Галина — Ивановна — Уствольская!» — вопил Заратустрица в правое.

И квартир в первом попавшемся доме друзьям не хватало, чтобы хоть в одной отыскать незлобное лицо.

— Чего вам надо? Вы кто?

— Мы, матушка, б о г и, а тебе видеть смерть детей твоих, помни-помни-помни-помни, — утихало эхо вдали, убегало ступенями не вверх и не вниз, а всяко.

А ночью ребята пойдут прочь из дому, то ли на радость, то ли на горесть мамам, закаблученным, испитым родительницам. Куда подадутся Марсель с Устрицей? Они поедут в центр города, пойдут в ночной клуб. Тринадцатилетний Марсель запросто проходил в ночные заведения, потому что дядя Линь не скупился, покупал и модные красные кофты, и штаны особого фасона; Устрица же, хотя и был на полтора года старше, но платьем походил на вшивого бродягу, так что Арсу пришлось выменять ему на музыкальные пластинки часть своей одежды — баш на баш.

Напялив для блезиру очки с желтыми стеклами, отроки двинут в клуб. Модное заведение привечало сигаретным дымом, легкими знакомствами и громкой танцевальной музыкой, которую Заратустрица недолюбливал, но и не отрицал вовсе: «Ее можно исправить, если с умом, с умом к этому подойти», — говорил Устрица; в итоге он решил скрестить Уствольскую и бристоольский саунд. Марсель стал курить сигариллы и за ночь ссасывал две пачки. Бродя с этажа на этаж — на каждом звучала музыка разных стилей, — он то и дело подмешивал волшебный сироп от кашля в очередную порцию разливного пива, в то время как Устрица донимал прихожан заведения: раскрашенных девушек, манерных содомитов и стареющих полуночников. «Все тут хорошо, но лучше бы они Шёнберга или Берга включили вместо этой наковальни», — вдруг обращался Устрица к кому-либо. Иногда охранник подходил к Марселю, просил снять очки, затем внимательно разглядывал зеницы его очей и благополучно удалялся, одобрительно кивнув, хотя Марс каждый раз думал, что вот теперь его точно вышвырнут в морозную воронежскую ночь.

Порой все плыло куда-то; ночные улицы вымораживали редких прохожих, но Марсу было жарко в своей вельветовой курточке нараспашку, он, как и Заратустрица, наслаждался холодком неспешной какой-то, замедленной вьюги. Все эти холодные люди в шубах, пуховиках, дубленках и синтепоновых куртках — они поскальзывались и падали в снег, и тогда огромный комар высвобождался из своего подземного логова. Труба каучукового завода, торчавшая стелой над миром, — труба детских путешествий Марселя — оказывалась колпачком огромной комариной иглы. Комар сбрасывал этот дымный колпак, обнажая блестящую пику, и взмывал, затмевая видимый мир. Перелетая от тела к телу, он выпивал прохладную кровь людей, кровь с кубиками льда.

Пешком или в скипере, на конках или в пролетке, с извозчиком или с водилой — так или не так, но Марсель с Устрицей добирались до дому под утро, когда еще не светало, но уже спать не хотелось, потому что спать не хотелось и раньше — от сиропу ли, от недолгого ли пребывания в жизни? Ведь улыбку тянет с блюда невыспавшееся дитя, как Устрица тянет сухарик из пакетика, как Марсель потягивает сиропный коктейль с духунпао — сбереженным в термоске плескливый чаем. В комнате Устрица повесил много елочных фонариков, новогодних огоньков, с тем чтобы хорошее стало жить, уютней. Часа в четыре утра товарищи заводили пластинку погромче, так что слышно было аж во дворе, если открывали окно — а его распахивали, дабы страшать прохожих, бредущих во мраке, вспышками допотопного фотоаппарата, — и доносилось на всю округу в подснежной тьме: «And by the way, if you see your mom this weekend be sure to tell her... Satan, Satan, Satan, Satan».

11

Из печатного тарабаха рождаются буквы, фразы, строки, главы, радуги, уютные голубелены, фактурные ландшафты, птицы, проволока детства, пыльный выгон, грусть, заборы.

Распределим позиции: Марсель вновь сидит на кухне, отражается в чайнике, пробует расслабить глаза, как учила сестра, чтобы видеть мутно; чайник отражает ложку, яйцо, Марселя, тревожное пятно скатерти, даже читателя частью; мама крутит в ванной волосы на бигуди; во дворе пятеро сонных приятелей говорят о сущем, обо всем, что видно здесь. А видно остов кошки, размазанный и ссохшийся за придомным садком с могильными пирамидальными тополями (не город, а кладбище гигантов!); красочную исполинскую улитку, нарисованно ползущую по склону домового фасада, чтобы местным детям было веселее жить; детей, играющих сдутым мячом на расчерченном поле. И солнце смело падает на зубцы отдаленных высоток, и стремительный стриж пронзает воздух молодой весны, и кто-то истошно орет, потому что много скопилось вокруг голода и любви.

Шел 199... год от Рождества Господа нашего Иисуса Христа, новорожденных выбрасывали в форточку.

Арс, как Асур, взбунтовался, восстал против прежнего: ненавистная комната подрагивала детским нервным тиком и желтела потеками ночного энуреза. Асур распылил краску, намалевал комара во всю стену, изобразил ухо, проткнутое иглой: в общем-то, личный герб определил в своих покоях. Мама скрепя сердце приняла вандализм быта, сославшись на неизбежность пубертатных причуд. Затем Асур-Масур глянул в потолок — там люстра — убогое мещанство — висела светящейся мощной — долой! Плафон полетел со второй лоджии, хлопнулся на козырь подъезда, где валялись пивные бутылки да шприцы; место плафона занял табурет, выкрашенный красным: его Асур подвязал к потолочному крюку обрывком провода. Три стены, кроме комариной, Масур обклеил пакетными лицами, складчатыми пакетчиками, причем нарочно не разглаживал им физиономии, затем чтобы криво глядели. Деконструировал советский шкаф, распал его на доски, вынес на лоджию — туда же тахту со стыдными следами клейких женщин. Старый матрас приспособил под лежбище в одном из углов запустелой пещеры своей. Поприклеивал тут и там на потолок и стены бутылочки от волшебного сиропа. Два короба гладких коктебельских камней рассыпал вдоль плинтусов. Для поддержки звука установил проигрыватель виниловых пластинок и старые колонки его расставил, как Заратустрица, по четырем углам. Окно закрасил красной краской да нарисовал черное солнышко: загорал под ним полночами, пресытившись малиновым сиропом. «А что? Что-то в этом есть, — делилась мама с Машметом. — Творческий порыв у ребенка. Стремится к самовыражению».

Образовался зелено-красный склеп в размазах краски; Марсель задурманил его дымом дзесюевских благоволий.

Долой лифт! Долой буржуазную бабахалку с расплавленными кнопками — отныне Арс, возросший до Асура, бунтующий титан малиновых сиропов, будет спускаться с пятнадцатого этажа исключительно по мусоропроводу, а подниматься пешком по лестнице, попутно изучая граффити.

С первого абцуга было больно приземляться: вышвыривало из мусорной кишки во двор на твердый тротуар, но почасту Арсений падал в мягкую гору отходов, как Алиса на листья. Так что Марсений впадал изобразил на стене подле мусоропровода белого кролика: герцогиня будет в ярости!!

Читатель, кстати говоря, жил в другом крыле этажа, соседствовал с Арсением. До пятнадцати лет он большую часть времени проводил с папой-электриком, пока того насмерть не сожгло током. С тех пор Читатель стал всегда читать. В семнадцать лет мать устроила его осветителем в театр, а внерабочее время Читатель проводил в своей каморке или оседлывал качели во дворе, не расставаясь с книгой. Вскоре он привлек внимание местных ребят, и те нарекли его соответственно — Читателем. «Эй, Читатель, есть что почитать?» — так обращались к нему ребята. У него всегда имелось, и вскоре во дворе можно было наблюдать такие массовые читки: Читатель читал, покачиваясь на качелях, а вокруг него сидели на корточках, не боясь от этого заболеть гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, ребята: частью гольфисты, частью люмпены и санкюлоты. Все они тоже читали, грызя семена, сося пиво из горлышек; изредка раздавался гогот восторга — что это? Не то Рогожин начудил? Или Вера Павловна учинила очередной порнокульбит? Были среди ребят засыпающие, пускающие слюну на страницу, иной парень двадцать раз перечитывал одну строку, и та звучала на все лады, переливалась многими оттенками, расширялась в великие смыслы. Возле квартиры Читателя постоянно толпился народ: приходили за новыми книгами; у лифта, присев на корты, разрезали канцелярским ножом страницы дореволюционных изданий. На Читателя соседи заявляли в милицию, но ему сходило с рук, хотя книгами пахло на весь коридор.

Марселью было тринадцать лет, когда он случайно познакомился с Читателем. Мама зашла условиться с электриком, еще живым отцом Читателя, по поводу электросчетчика — надо было снабдить его «жучком», чтобы меньше платить за свет, — и взяла Арсения с собой. Пока взрослые договаривались за бутылкой, мальчики сидели в книжной комнате Читателя, еще не полностью заваленной томами. Читатель молчал, слегка улыбаясь от смущения да кося глазами, Арсений тоже молчал, но вскоре догадался снять неловкость вопросом: «У тебя тут много книг. Кто твой любимый писатель?» Он рассчитывал услышать в ответ, что Пруст или Набоков, потому что Марсель других писателей не знал, а этих мама читала ему вслух с рождения и всячески восхваляла. Школьной программой по литературе Арс пренебрегал и самостоятельно прочел только одну книжку — какой-то китайский трактат, подкинутый дядей Линею, да сотню-другую номеров журнала «Наука и жизнь». «Я всех одинаково ненавижу», — таков был ответ Читателя. Марсель удивился и ничего не спрашивал более. «Есть у меня одна любимая книжка», — добавил Читатель и, порывшись в библиоградах, вытащил иллюстрированную книгу об огнестрельном оружии: пистолеты, ружья, винтовки, автоматы. «Здесь объясняется даже, как самому собрать пистолет», — сказал Читатель и открыл страницу с непонятным чертежом. Больше мальчики ничего не говорили, молча ожидая конца родительской попойки. В другой раз Марсель встретил Читателя два года спустя, у лифта: молодой человек с любопытством наблюдал, как опухшая супруга Костыля отковыривает от пола кафельные плитки и разбивает их мужу о голову; Костыль, распластавшись на полу, хрипел: «Я тебе печень вырежу, мразь!» Кафель крошился на лысой голове, как пирожное «Мадлен» в руках Пруста. Марсель кивнул Читателю и вместе с ним спустился на лифте, постыдившись при посторонних прыгать в мусоропровод.

12

Читатель был косоглаз, страдал одышкой, уже в пятнадцать лет обзавелся герморроем, в семнадцать мучился простатой, кариесом зубов мудрости и, кроме того, лютой перхотью головного мозга, потому что мысли его шелушились.

В свою четырнадцатую весну Арсений сначала воспротивился ехать в Коктебель, потому что с января гулял девятиклассницу, но потом вспомнил о добродетельной сестре Нине и согласился проведать серые срывы размытых гор.

Старая скамейка в кулуарах набережной, обращенная к морю, окруженная розовыми цветами: прежний оттенок ее почти сошел, остался лишь сиреневый ореол, но кое-где краска еще топорщилась аквамариновой корой, жухлыми стружьями цвета. Дети пришли сюда по виноградным улиткам, которых в этом году была тьма: улитки заполнили не только сады и парки, но даже набережную, так что иная хрустела под ногой Марселя, словно Николая Хруста наслушалась. Здесь, у подножия Карадаг, в полном безлюдье, в белой тишине курортного запустения, расточительно цветущего для двоих, кудрявая рыжая Нина учила Арсения цілуватися. Он слушал ее украинский говорок, запах ее дешевой туалетной воды, смешанный ветром с йодистым духом водорослей, и старательно повторял за Ниной полезные упражнения.

— Сміливіше, братик! Сміливіше!

Он, конечно, не забывал время от времени тискать ее шестнадцатилетние грудки под желтым шерстяным платьем, но делал это без особого интереса. Нина же, оседлав колени Арсения и крепко обхватив руками его голову, с азартом и надолго присасывалась к отроческому рту. Марсель был послушным учеником, хотя порой ему казалось, что язык Нины в три раза длиннее и куда норовистее. «Досить вже. Націлувалися. Я їсти хочу», — вдруг заявляла Нина, потому что во рту от голода заводился худой привкус.

Объявлялся антракт, и дети как ни в чем не бывало шли домой. Марселю даже в голову не приходило взять Нину за руку или вдруг поцеловать в неурочное время.

В Коктебеле мама хотя и пила с дядей Кузей, но никогда не делала скандалов. В худшем случае она среди ночи отправлялась к морю, потому что ее порой тянуло купаться в ледяной воде. Однажды она поплыла совсем нетрезвая, когда только-только сошел снег, и начала задыхаться в волнах, но Кузьма Давидович ее вытащил. Марсель с того раза боялся, что мать потонет. Тревога такого рода перемешивалась в его душе с похотью, потому что дети, оставшись одни, тотчас доставали видеокассету, плохо спрятанную Кузьмой в третьем ящике шкафа под брюками. Кино называлось «Кегельбан с Изаурой», и Нина с Марселем пересмотрели его раз сорок.

Тревога такого рода мешалась с песенками временно счастливой мамы, тревога такого рода пестрела первоцветами да первотюльпанами на холмах у могилы пиита. И мама пела, скапливая цветы в охапку:

Ми-и-иленький ты мой,
Возьми-и-и меня с собо-ой!
Там, в кра-аю далеко,
Буду тебе женой.

Ми-илая моя,
Взял бы я тебя-а,
Но там, в краю далеко,
Есть у меня жена.

Ми-и-иленький ты мой,
Возьми-и-и меня с собо-ой!
Там, в краю далеко,
Буду тебе сестрой.

Накануне отъезда из Коктебеля Марсель брал у сестры последний в том сезоне урок поцелуев. После нескольких дней такого рода близости с кузиной, чрезвычайно веселых (можно было подумать, что смотрят комедию) просмотров ритмичного кино и одиноких содроганий в нетеплой постели Арсений уже с большей ловкостью и напором целовал Нину и даже, с полусознательным азартом, подбирался к ее неизведанным скрытностям. Нина только поощряла его отчаянные попытки, но понимала, что Марсель к настоящей весне еще не вызрел. Конечно, она видела, что во время киносеансов Арсения становилось чуть больше, но сам он это пытался всячески скрыть и все бесстыдные намеки сестры на то, что можно было бы подыграть актерам, сводил к шутке. Но в тот последний вечер он распалился так, что готов был уже сорвать с Нины платье. Черт знает в каких краях блуждали руки Марселя. Нине сперва было смешно, потом она раскраснелась и посерьезнела, поняв, к чему все идет. Даже Волошин, казалось, заразился их настроением, но был каменным, был всего лишь скалистым профилем: ему оставалось курить воспоминания, выпускать облака носом. Какой-то сторож недобро глядел на детей из окна запустелой базы отдыха. А Нина уже стонала под пальцами Арсения, но вдруг высвободилась, вскочила, оправила задранное к Максимилиановым небесам платье и, схватив брата за руку, повела вниз, к пирсу.

— Підемо, братик. Зараз я тобі навчу!

Усадив Марса на волнорез, Нина коленями встала на гальку, расстегнула Марселя и швидко та вправно докончила эти весенние каникулы.

Возвращаясь вдоль моря, они заметили серую кошку, что само по себе было удивительно: кошка на берегу; она подбиралась все ближе к волнам, прошлась уже по мокрым камешкам, чихнула, взобралась на большой валун. Вдруг она прыгнула в воду и поплыла. Кошка целеустремленно удалялась от берега — без оглядки, без сожалений.

13

Здесь изображена зеленая гневная Ветошница, она пляшет на трупе читателя, ее шею обвивает гирлянда из дохлых крыс. Четырехрукая Ветошница в каждой руке держит сумку, ее рот широко раскрыт, черный язык свисает до подбородка. Ветошница окружена парящими на золотых лотосах мусорными мальчиками с воздетыми рогатками.

Линь Цзэсюй в оны годы подарил Марсу игровую приставку, подключающуюся к телевизору, но тот был погублен Машметом и долгое время показывал тьму, в которой ничего не прыгало, не шло к победе, не выполняло по команде прыг-скок, не падало, не проигрывало, не всплывало унылой надписью «*Game over*». Все возобновилось, когда Линь привез новый телевизор — цветной и без деревянных боков. Линь тотчас подключил игровое устройство к телевизору, хотя мама протестовала, считая, что игры портят экран: «Вы мне кинескоп повредите своей чепухой!» — «Не сломась! Сета не сломась!» — возражал Линь.

Часами напролет, пока мама решала, сочиняла, рисовала и чертила домашние задания школьника, Линь и Марсель просиживали жизни возле экрана. Что там делалось внутри? Там короткие балки ехали снизу вверх. С пола торчали острые сталагмиты, с потолка зубились опасные сталактиты. Мусорным мальчикам — Комару и Шаланку (Марсель тотчас их узнал), красному и зеленому — надо было остаться в середине, между зубов, прыгая с панели на панель и собирая лежавшие

здесь фрукты. Совместными усилиями надлежало собрать сотню плодов, но порой вместо них по спасительной платформе разгуливала кусачая крыса. Иногда места на балке хватало только одному, так что происходили стычки и столкновения. Набрал должное число бананов и клубничин, мусорные мальчики поднимались на следующий этаж, где платформы двигались еще быстрее и многие были покрыты скользким льдом. Марсель зачастую ронял мальчика на нижние клыки, а Линь нанизывал на верхние. Каждый мальчик имел по десять жизней, так что, проболтавшись на зубу пронзенным, изойдя кровью, он в конце концов падал на панель или был увлечен ею вверх, чтобы продолжить безумную битву с кошмарной буффонадой пространства.

— Хватит глаза портить и кинескоп! Пойди во двор погуляй! — сказала мама и отобрала у Марса джойстик.

Он как раз напорол Комара кишками на сталактит, оборвав его последнюю жизнь. К тому времени Арсений вдоволь напрыгался мальчиком, так что на этот раз решил обойтись без мусоропровода и по старинке прокатиться на подъемной машине. Единственная дверь грузового лифта, покряхтывая, медленно поползла в стену, а маленький тотчас распахнул створки. Марсель стал спускаться на грузовом, тогда как Арсений поехал на легковом, Марс передумал ехать и прыгнул в мусоропровод, а Арс побежал по лестнице.

Во дворе чудес его поджидали смурые гольфисты.

— Здравствуй, малой! Слышишь, я в тот раз мячик подобрал, а он у меня в руках раскололся. Как так? Ты, наверно, слишком сильно им стукнул, да? — сказал первый гольфист, а второй горестно добавил:

— Испортил ты, дружок, наш красный мячик!

— Что с тобой делать будем? Это же мой любимый мячик был. Мне другой такой не нужен, — сказал первый гольфист и присел на корточки, хотя рядом была чистая скамейка.

— Я не знаю. Мячик был цел и зелен, — ответил Марс.

— Как так, цел и зелен?! Слышишь, ты сам поразмысли: не буду же я свой любимый мячик портить вот этими руками, а? — возмутился первый гольфист и показал Марсу руки: кулаки были сильно разбиты, на пальцах поблескивали железные печатки, бледная накладка неясной аббревиатурой заползала под рукав.

— Малой, ты вот еще что: помяни, как мы тебя в тот раз выручили. Забыл? А ты после этого наши мячики безобразишь! — сказал второй гольфист.

— Так это же до того было! — возмутился Марсель.

— А! Все-таки было! — обрадовались гольфисты, повернулись друг к другу, взяли за руки и захохотали, запрокинув некрупные головы.

— Слушай сюда! Пойди сейчас, нет — бегом побеги домой и поищи-ка дома лыжную смазку в красной фольге, понял? В шкафу, где инструменты лежат. Есть у вас дома такой шкаф? — сказал гольфист № 2.

— А зачем вам смазка? — полюбопытствовал Арс.

— Узнаешь, зачем нам смазка, когда принесешь ее на пустырь, где турник стоит. Добудешь брусок смазки, простим тебе наш зелененький мячик. А не раздобудешь — пеняй на себя! Начнутся у тебя критические дни! — сказал первый гольфист и плюнул себе под ноги.

— Смотри же, не бери в зеленой фольге! И чтоб через сорок минут был возле турника! — крикнул один из них вслед уходящему Арсу.

Марсель направился домой в смешанных чувствах: правду ли говорили гольфисты? раскололся ли мячик? поменял ли цвет? Так или не так, но ему было любопытно, зачем парням понадобилась лыжная смазка в красной фольге; он помнил, что таковая и впрямь лежит в шкафу с инструментами.

Дома Линь стряпал какую-то бесподобную китайщину, и мама была увлечена поварским ученичеством, так что в шкафу Арсений рылся беспрепятственно. Верхняя полка шкафа явила изобилие: прямоугольные брусочки лежали один на другом, блестящая, словно слитки благородного металла. Недолго думая, Марсель набил карманы, покинул квартиру и сиганул в мусоропровод. Через двадцать минут он был на пустыре возле турника.

Гольфисты уже играли в гольф, когда приспел Арсений. Здесь же обреталась молодая особа; одежда на ней была мужская и по моде воронежского гольф-клуба: те же олимпийка, штанишки, рдяная восьмиклинка. Когда Марсель подошел, девушка развязно улыбнулась и махнула ему рукой. Он заметил, что ни блузки, ни бюстгальтера на девице нету.

— О! Какие люди! Что, принес нам сказочку, дружок-пирожок? — дружелюбно обратился первый Марсель к Гольфисту — виноват, наоборот.

Марсель достал брус и подал Арсению, а тот вручил его гольфистам.

— Молодец! Теперь снимай штаны и наклоняйся! — сказал № 2, надменно склабясь.

— Смотри! Смотри на него: пугаться уже решил! Не бойся, малой, для этого дела у нас Мартышка есть. Да, Мартышка? А ну-ка, Мартышка, повиляй хвостиком! — сказал Number one.

Повернувшись, человекообразная, впрочем, симпатичная девушка изобразила вилянье.

Меж тем смеркалось, окна домов затлели желтым. Number two стянул с себя олимпийку, майку и аккуратно повесил их на перекладину турника. Оставшись при своем мохнатом туловище, под левой лопаткой которого была вытатуирована синяя мишень и увещательная фраза «Смотри, чекист, не промахнись!», он галантно обратился к молчаливой особе:

— Мартышка, будьте доброй обезьяной, смажьте-ка мне спинку хорошенечко.

Мартышка подцепила фольгу длинными коготками, отщепила небольшой кусок смазки и принялась втирать его в мишень второго номера, услужливо сияя зубами веснушчатого лица. Первый уже стоял в очереди, но в одних трусах. Разделавшись со вторым, обезьяна-женщина приступила к первому, но тот был требовательней: заставил ее массировать ступни, освобожденные от длинноносых туфель, носков и целлофановых пакетов (было пасмурно и сыровато). К тому времени второй уже вращался на турнике. К нему подоспел номер ван, и двое завертелись солнцами в противные друг другу стороны, восторженно горлопаня. Соскочив, они стали перемещаться в пространстве пустыря, то приближаясь к Марселю и сиявшей девице, то отдаляясь от них. Арсений подметил, что гольфисты не отрывают ног от земли, но скользят, как на лыжах, причем ловко, легко и проворно — слалом. Никакие препятствия не были страшны им: они скользили, скользили, скользили — вокруг скамейки, дерева и турника.

— И получше ей мячи намажь! Не стесняйся, она у нас коллективная! — заорал один из — теперь их нельзя было отличить — гольфистов, приблизившись к Марселю вплотную.

Марсель взглянул на девушку: та оскалилась, растянула олимпийку, откинула выбеленную перекисью водорода косу и выпрямила спинку, преподнося Марселю крупные молочные округлости. Он взял немного смазки и робко дотронулся до ее левой груди. Мартышка вздрогнула и улыбнулась: «Холодно». Она взяла его руку и прижала сильнее.

Через пять минут обезьяна скоростно бороздила пустырь, покинув Арса. Недолго думая, Марсель стянул рубаху, смазал сам себя и тотчас присоединился к скользунам. С огромной быстротой он описывал странные линии, словно двигался по

магнитной ленте в воздухе между высоток, как будто бы воспроизводил свою детскую игру. Перемещаясь, он видел, что гольфисты вновь принялись за свое: один ударил по мячу, и тот полетел, оставляя за собой дымный самолетный след, потом стукнулся о стену отдаленного дома и рикошетом возвратился назад. В другой раз мячик отлетел от стены дома № 38, угодил в крышу железного гаража и прыгнул вверх, к луне; ахнувшись о скорбноликий спутник, мяч вернулся к гольфистам — бинго!

Спустя время Арсений очнулся. В неярком свете звезд он увидел гольфистов, Мартышку, скамейку, турник и деревья. Один гольфист материей повис на турнике, другой был перекинут через спинку скамьи, а Мартышка валялась на земле, свернув голову набок и растопырив раздвинутые ноги окоченелой рогатиной. Арсений лежал на почве; он с ужасом отметил, что его правая нога ненормально вывернута и все конечности разучились шевелиться. Он хотел закричать, но с губ сорвался жалкий стон. Повешенный на турнике гольфист дернулся и пробормотал: «Два часа не сможешь. Не думай о зеленом».

14

Здесь изображен зловещий Заратустрица. Он черного цвета и четырехрук, он держит следующие предметы: пузырек сиропа, дирижерскую палочку, рупор и связку проводов. Соединившись в сакральном соитии с Галиной Ивановой Уствольской, Устрица восседает на розовой шкуре мальчика-поросенка. Слева от него Берг на белом слоне, справа — Шёнберг на голубом лотосе.

Третья школа Марселя и впрямь оказалась третьей — школа № 3. Здесь ему суждено было закончить девятый класс — он проскользнул его, надо сказать, как по хорошо накатанной лыжне, так что даже вылетел вон из школы, чему споспешествовал директор, вдоволь насмотревшийся на эквилибристику Марселя. Ведь он скатывался по перилам примерно в пять раз быстрее, чем другие школьники, превышая допустимую скорость; Арсений махом стирал все формулы с доски, скоком втемняшивал мяч в баскетбольную сетку, а порой сам в нее запрыгивал прыгом, но в конце дня его находили скрючившимся крючей в углу класса — там Сений сидел подолгу, побряхтывая кряхом и стоном стена. Мама, которую часто вызывали в школу, искренне заверяла, что ребенок не высыпается: «У него жуткий недосып», — говорила мама, повергая учителей в скептицизм. В конечном счете его перевели на особое обучение: преподаватели занимались с ним индивидуально.

— Сардина Гарольдовна, а вы на лыжах ходите зимой? — спрашивал Марс учительницу математики.

— А что?

— Да мне смазка нужна лыжная в красной фольге. Такую больше не продают.

— А зачем тебе, дружок, лыжная смазка в мае?

— А затем, чтобы лыжи в шкафу не засохли — надо бы промазать их на лето. Я же страстный лыжный ходок, вы не поверите, Сардольдовна, фанатик своего рода.

Марсель очень редко появлялся в школе, но если приходил, то всегда пользовался случаем, чтобы подразнить свиных одноклассников; он выводил их из себя ярко-лиловым цветом волос — так тореадор раззадоривает быка, так говяжьки консервы действуют на нервы заезжему брахману. Даже мама не одобрила сиреневый окрас, но Марс не был уже управляем, порой он подходил на перемене к коротко стриженному мальчику и, сделав у себя на ладони замысловатый надрез бритвой, спрашивал: «Узнаешь иероглиф?» Заратустрица стал его лучшим другом, они всюду ходили

вместе, они всюду бродили вместе, они вместе отбивались от шпаны и слоняли слоны, кроме того, раздевали девочек, поили их сиропом да мазали смазкой. А затем выставляли полуобнаженных на лоджию, чтобы издали можно было наблюдать их вымазанные смазкой и оттого будто фосфорные, светящиеся груди.

Как-то раз Устрица перепил малинового, перемазался лыжной, перебрал сидру да еще и выкурил две необычных папиросы, после чего во дворе чудес у него пошла пена ртом. Карета «скорой помощи» забрала Устрицу в больницу. Когда Марсель узнал об этом, он тотчас отправился на розыски друга и лишь под вечер выискал его в обшарпанном и мрачном боксе, где Устрица, словно бы лишенный всего жемчуга, лежал под капельницей. Арсений всплеснул руками, а Сеня охнул и взвыл «Марсельезу»: «О, дети родины, вперед!», ведь его друг находился здесь, в скорбном лазарете, распростершись на лежбище недуга. Встанет ли он однажды? Проскользнет ли беспечная улыбка по его шишковатому лицу? — лишь капля падала из склянки, лишь питающая влага струилась в вену по трубке — более движения не наблюдалось. Марсель замер, закрыл глаза и взмолился Господу миров: «О, великое Существо, спаси Устрицу!» И тогда Заратустрица открыл глаза и произнес: «Глубокий сон сморил меня, из сна теперь очнулся я! Что они со мной сделали?!» Марсель пытался уговорить его не шевелиться, но Зарат вскочил и, взяв капельницу, опасно мотавшую склянкой, пошел в больничный коридор. «Куда ты намылился? Тебе надо лежать!» — умолял его Асур. Куда там! — не найдя никого на сестринском посту, Заратустрица самостоятельно выудил иголку из вены и опрокинул капельницу на пол — получился шикарный грохот, склянки — дзинь-дзинь! — разбились. «Бежим отсюда куда-нибудь к черту!» — сказал Зарат. Употребив окно, ребята вылетели со второго этажа в кустистый больничный двор. Так Заратустрица бежал из больницы в сумерках и в тапках.

Смазанные, они скользили по городу, сбивая с ног прохожих, и никто бы не смог угнаться за ними — так скользко было Марселю и Заратустрице; они скользили по улочкам среди одноэтажных домишек, среди праведных забулдыг, среди дохлятины кладбищ, скользили по заблеванным фасадам домов, по черным лестницам, выскакивали пулями на крышу, они заскальзывали в пабы и намазывались еще, они витали над крышами, созерцая Уствольскую, — это была Истинная и Вечная благодать; испарившись, они клубились лиловыми тучами над площадями, sprыскивали ядом шляпы и волосы прохожих, в то время как оркестр города купался в простейшем до-мажорном созвучии.

* * *

Вскоре комната Устрицы превратилась в смазочную станцию: множества приходили сюда, чтобы причаститься скольжению, в том числе девушки и женщины, правда, Марсель их поползновения манкировал, ограничиваясь тем, что лобзал и смазывал их юные перси — в этом деле он стал настоящим умельцем. А что касается приличествующей его годам вождельной цели, для которой набралось немало кандидатур, то здесь Арсений осторожничал и не спешил, а виной тому был трактат и комментарии к нему, какая-то китайская книжонка — ее некогда привез Цзэсюй. Он частенько притаскивал случайные книги, переведенные с китайского языка и непереверденные, даже иероглифический «Капитал» имелся в доме, ведь Линь в душе был коммунистом. Но Марсель заинтересовался кое-чем другим: красивая пагода выгибалась крышами на обложке, здесь также были драконы и колонны, все красненькое, какое-то пасхальное. Книжка называлась «Даосская сексуальная

алхимия», и Марсель, прочитав ее с необычным воодушевлением, внял советам и решил блюсти сохранность семени. Марсель понял, что недостаточно лыжной смазки, сиропа от кашля и сидра, — надо решительно изменить свою природу, раз и навсегда стать бессмертным, как описано в книге: чтобы зрачки удвоились, чтобы покрыться чешуей, чтобы летать в созвездиях, чтобы однажды не вернуться назад, в дольний мир неисправимых свиней. Отличная книжонка, хорошая метода: в печени пребывает дух человечности, в селезенке — воля, а в почках — само собой — порождающая энергия. Кто, если не Старец с речного берега, поможет тебе разобраться в каверзах бытия, когда на дворе и в органах пубертатный сезон? Хватит салютировать жизнью в канализационный слив, надо копить силу и раздваивать зрачки, созерцая солнце на восходе и полнолуние в облаках. Марсель все реже мазался лыжной смазкой и, дабы соки потекли вспять, стал постигать сакральную гимнастику — цигун и йогу. Ведь в полостях, что расположены вдоль позвоночника, обитают три чудовища — вот из-за них-то и растрачивается драгоценный нектар, который надобен для того, чтобы развился священный зародыш, священный зародыш. Владелец такого зародыша обретает бессмертие и может летать к луне, к солнцу, к высшей чистоте звезд — это называется трансмутацией (Галь, прости: не знаю, как перевести). Прогони чудовищ, прекрати транжирить семя попусту, сердцем стань как остывший пепел, телом — как сухое дерево и лети себе выше гор, выше Волошина. Марсель хорошо понимал, что немногим удалось завершить предприятие, но решил держаться стойко; пускай его будет снова и снова отбрасывать назад — однажды невыполнимое осуществится. Таким способом, впрочем, не со зла, Марсель терзал девочек, алкавших его загорелой мальчишеской плоти.

В комнате Заратустрицы образовалось нечто среднее между салоном и притоном, где юным барышням-прогульщицам в обнаженные груди втирали лыжную смазку, и те занимались бледным фосфорным сиянием, когда, выпив по три флакончика малинового сиропа с гидробромидом декстрометорфана, мальчики гасили свет и включали «Просветленную ночь» Шёнберга. Девочкам не нравилась такая музыка, но они терпели ее и принимали в себя Устрицу, хотя мечтали о Марселе, но тот сохранял недостижимость.

Частенько Марсий замечал близость падения, когда стонущая нимфа уже была распластана им на полу или стыдно рдела в Устрицыной ванной, готовая и просящая, тянущая ручонки к его многострадальному, стойкому уду, ежедневно терпящему холода и выморозки, мятные примочки, ночные перевязи, лишения и лишения, — и тогда он говорил: «Прости...» Он покидал ее, изнемогшую в корчах страсти, наскоро объяснившись. Как-то раз одна девица — Адель — не выдержала, лопухая такая, стеснявшаяся ушей, крившая их волосами, остальное все в ней было замечательно — так вот, не выдержав, она, скромница, застенчивая отличница, хотя, что греха таить, спавшая со многими уже в свои четырнадцать лет, не стерпела и передала Марселю записку. Прочитируем же дословно это письмишко:

юношеский максимализм, ряженный под даасизм — кого ты хочешь наипать, Марсик? ты дитя! все знают про это преклонение перед востоком и т. п. и все эти твои киношные выкрутасы и прочая. ну накачался вот лыжной смазки, начался буддизму с уклоном в алхимическое порно, что лучше может оттенить личность беспокойного лузера? а ничего путного предложить девушке не смог, кроме бараньего стремления упасть рогами вниз пропасти, вопщем вначале метаний уже можно считать инволютировался. Тебе до даоса — как пешком до Стамбула! поступок твой позорен не в плане способа а в плане причины. в психиатрии это называется нискуя, ака точка манифестации. ты педик, Марсель, мертвый и узколо-

бый фанатик. И у тебя начинаются глюки на эротической почве. Эти два фактора вытесняли друг друга и случилсо коллапс. тыщ! клоун, юродивый — но не даос, о нет.

«Чуть было не переспал с такой хрюшей!» — подумал Марсель, вздрогнув. Он порвал записку на клочки, отворил окно... а там, не надеясь на верный ветер, караулила Ветошница — страшная харя: она давно дожидалась нового лакомства; распахнув пасть квартала, старуха втянула в себя канализационными люками, выхлопными трубами, провалами судьбы, дырами духовного краха, всеми пустотами города, — втянула клоки и, прожевав их, переварив хорошенечко, выbleвала в сумку.

15

Убить читателя — это как отправиться в Воронеж сегодня, а прибыть туда вчера.

Был ли связан с опиумными войнами некий наугад взятый предок Дзэсюя? — вопрос на засыпку, прямо-таки каверза, интрига. Может быть, имели место мистика, оккультизм, необъяснимое? Во всяком случае, небезызвестный Ван Го, приходившийся Линь Цзэсюю далеким предком, как-то раз влип в историю. Было это некогда, когда то-то, кто-то и что-то...

Можно подумать, что солнце, когда оно в зените, ближе к земле, чем на исходе дня, ведь свет его столь ярок, что ослепляет глаза, если ты не бессмертный и зрачки твои не удвоены. Справедливо и обратное: солнце ближе к земле на закате и восходе, когда выглядит особенно большим.

Красавицу, тонкую, как вкус белого чая, сидевшую наяву близ ручья, сильнее всего на свете занимало солнце. Ее лодыжки, запястья и шею обвивали серебряные змейки, их красные язычки подрагивали и прятались, подрагивали и прятались, а в волосах красавицы Ли свернулась кобра.

Ее занимало солнце — немудрено, ведь Ли больше десяти лет не видела его.

— Что за красавица сидит у ручья? — спросил Ван Го у И Цзе.

— Не подходи к ней! Это Ли, она рождает змей и убивает лис. Уйдем отсюда! — взмолился И Цзе.

— Расскажи о ней, — упорствовал Ван Го.

— Слушай же и ускоряй шаг! Случилось, что одноухий сошелся с одноглазой девой. На тридцать третьем году беременности одноглазая разрешилась-таки большим яйцом и в тот же день отошла к предкам. Еще три дня лежало яйцо в сыром чулане под слоем паутины, пока его не съел уж. Съел да и засох в заводи Желтой реки. Его кожа смешалась с лягушачьей икрой и превратилась в личинку. Личинка долго колыхалась на поверхности воды, пока не заплесневела. Трехтонный сом поел ту плесень и выбросился на берег. Десять волов тянули рыбину до деревни, три деревни ели сома. А когда женщинам тех деревень пришло время рожать, разрешились они мертвыми девочками.

Только одна увидела солнце — Ли.

С детства Ли славилась чудесным умением доставать из глубоких нор подземных собак Цзя и лисиц. Дикие звери ее не трогали, тело ее было гибким и скользким, как тело змеи. У красавицы были зеленые блестящие глаза и белые груди с тремя сосками на каждой.

Она была еще девочкой, когда разбойник Чжи разорил и предал огню их деревню. Чжи забрал с собой лучших женщин, остальных же людей предал земле заживо.

Равнины и горные ущелья, долины тихих рек и леса с дикими зверями проносились мимо Ли, и не знала она, где конец ее пути. Разбойник Чжи заставлял ее

доставать из нор подземных собак Цзя и не боялся оставлять красавицу на ночь в своем шатре.

Как ни старался Чжи, детей у Ли не было, только серебряные змейки порой выползали из ее чрева и кусали разбойника. От пьянящего яда у Чжи бывали видения, которые длились по три дня.

Красавица не любила разбойника и тосковала. Кожа ее темнела, глаза тускнели.

Однажды шайка Чжи шла мимо Рыбьих холмов по месту сожженной деревни, где была родина Ли. Красавица узнала родные места и затосковала. Она увидела старый колодец и обратилась к разбойнику Чжи:

— Я хочу пить из этого колодца.

— Разве ты не знаешь, что нельзя останавливаться у сожженных деревень? — отвечал Чжи.

— Ты не помнишь, что здесь был мой дом? — настаивала красавица.

— Ты лжешь! — воскликнул Чжи и зарубил мечом ближайшего разбойника.

Тогда Ли бросила за ворот Чжи одну из многочисленных змей, что вились на ее руках. Укушенный разбойник убил своего коня и принялся брызгать кровью и метать куски мяса направо и налево. А Ли тем временем бросилась в колодец.

— Ты говоришь, что красавица бросилась в колодец, но она сидит сейчас там, у ручья. Как такое возможно? — спросил Ван Го.

— Я вижу, ты падок на разных ведьм! Тогда пойди и спроси у нее сам! — воскликнул И Цзе и ушел восвояси.

Ван Го воротился к ручью и робко обратился к Ли, созерцавшей в забвении солнце:

— Скажи, красавица Ли, правду ли говорят люди, что ты умеешь доставать из нор подземных собак Цзя и рожаешь змей, что тебя похитил разбойник Чжи и ты бросилась в колодец? Не разгневется ли красавица, если Ван Го спросит, как ей удалось выжить в колодце?

— Скажи, Ван Го, разве ты глухой и не слышишь звонкую флейту солнца? Или ты назло портишь музыку своим жалким щелчком? — отвечала Ли, а кобра в ее черных волосах выпрямилась и зашипела на Ван Го.

Но голос Ли был так благозвучен, что Ван Го готов был умереть от укуса кобры, только бы услышать его еще раз.

— Поведай мне, прекрасная Ли, что стало с тобой в колодце, а потом можешь выпить мою кровь! Лучше всех флейт поднебесной твой чистый голос! — взмолился Ван Го, склоняясь перед Ли.

— Если так, то слушай, но знай наперед, что рассказ мой для простых людей хуже яда кобры. Увидев земли своей несчастной родины, я в отчаянии бросилась в колодец и лишилась чувств от страха. Очнувшись, я поняла, что все еще падаю. Со всех сторон на меня смотрели пронесившиеся мимо и светящиеся красным огнем глаза подземных собак. Наконец я упала в жидкую грязь и чуть не захлебнулась, но чья-то рука вытянула меня за волосы на воздух. Это был Наставник в Тростниковой Накидке. Он обучил меня питаться слизью со стен колодца и вдыхать пары иловых испарений. Глаза мои стали видеть в темноте, и я разглядела Наставника: у него было по два квадратных зрачка в каждом глазу и уши на темени. Я поняла, что он бессмертный.

— Скажите, Наставник, как мне выбраться из колодца? — осмелилась я спросить спустя три года учения.

— Подлинно ли твое знание о том, что есть куда выбираться?

— Извольте повторить?

— Спроси через три года, — ответил Наставник.

Я не знала, как мне определить, прошло ли время, назначенное учителем, но как только я поняла, что умею видеть землю насквозь и взору моему доступны переплетения самых мелких корешков, я вновь обратилась к нему:

— Скажите, Наставник, возможно ли попасть в иное место, чтобы применить знания, переданные вами?

— Сначала вырасти в себе младенца, чтобы у меня остался ученик.

Наставник в Тростниковой Накидке слепил зародыш из грязи, вложил в него дыхание и передал его мне. К тому времени я уже могла видеть с закрытыми глазами, отличать аромат прибывающей луны от аромата убывающей и дышать поверхностью тела, а не легкими. Когда младенец научился выговаривать священный слог, я вновь обратилась к Наставнику:

— Я хочу увидеть солнце. Как мне быть, учитель?

— Хорошо. Взбирайся по моей пуповине.

Я распрощалась со своим младенцем (он уже успел покрыться чешуей и буравил землю, что собака Цзя) и ухватилась за пуповину. Целый год я взбиралась наверх, питаюсь по пути слизью со стен колодца да изучая сокровенные письмена, оставленные учителем в конце эпохи Большого Пирога, когда люди, населявшие землю, вкушали съедобную почву, пока не съели ее всю. Тогда им пришлось выращивать рис и учреждать государства. Наставник в Тростниковой Накидке отверг падший мир и спустился на пуповине в колодец, ногтем выцарапывая на стене учения древних.

— О, прекрасная Ли, если ты говоришь правду, Ван Го отдаст свой язык за то, чтобы побывать в том колодце у Наставника в Тростниковой Накидке!

— Но ты уже должен мне свою кровь, Ван Го, разве ты забыл? — сказала красавица Ли, превратилась в красную змею и бросилась в ручей.

Ван Го остался наедине с солнцем, что выглядело особенно большим на своем закате.

16

Сам того не зная, Марсель был счастлив теперь, в эту минуту, и так могло бы продолжаться дальше: Арсений, Лика, стрижи, весенние лучи солнца на кирпичной стене общежития, беззаботные арабы с килограммами йеменского гашиша, легкость в сердце и смех в голове... так бы продолжалось дальше, если бы авторучка не натворила бед, если бы не потекли чернила и не затопили бы все это: арабов, Лику, Арсения, стрижей и стены — тьмой нестираемой кляксы. Так или не так, но пишущий от руки с неизбежностью становится шотландцем: его обрекают на это клеточки тетради.

Но кто такая Лика? Кто она, Гликерия? Словно сироп от кашля, словно гликодин, она появляется вдруг, без спросу, как последняя болезнь, как первая любовь, как остроумная выходка. Ее нет, и она есть. Она сама выбрала себе имя? Или это чай, одурманивший сознание писателя, выбрал его? Может быть, родители? Та стокилограммовая махина, привечавшая Марсения в деревне и поившая его вишневым самопальным вином, когда он, скромный, явился в Бессоновку, что под сумеречным Белгородом — городом, где ископаемо торчал памятник Марксу и Энгельсу, смеша заезжих долгими бородами, — эта ли мать нарекла Лику Ликой? О да, они явились в Бессоновку, а потом ездили в Крымскую Татарию к дяде Кузе, и все на попутных тракторах, фурах, телегах, или, как говорят на диком Западе, автостопом. Лика научила путешествовать бесплатно. Но кто такая Лика? Who is Лика? Она стояла на красных лыжах в центре танцплощадки, яростно размахивая палками, как ниндзя. Мигал стробоскоп, горели

неоновые лампы, так что все зубы светились, делая эту ночь чеширской. Многие здесь плясали в лыжных шапочках-петушках, тут и там болтались уши ушанок; падал искусственный снег, светясь голубо. Марсель вертелся всем корпусом вокруг неведомой оси, удерживая равновесие на лыжах, — вперед, вбок, назад, вбок, вперед; его лыжи перекрещивались с чужими лыжами, так что покинуть танцплощадку не представлялось возможным: все крепко сцепились. Она выделялась среди танцующих лыжниц: угловатое, приятное лицо, бордовой помадой подведенные глаза и губы, под нижней губой — игла, похожая на турнирную пику рыцаря; длинная красная водолазка ее с вышитыми поперек груди словами «Жизнь прекрасна!!» задралась в неистовом танце так, что из-под нее торчали смешные бабушкины кальсоны, украшенные стразами; особенно удивляла прическа: короткие, взъерошенные дикобразом волосы ярко-красного цвета, на висках — пейсы. Арсений был очарован и, ловя взгляд незнакомки, вскоре добился — посмотрела желтыми линзами очей: в каждом глазу у нее был «смайлик» — ослабленная физиономия, так что девушка улыбнулась Марсу не только ртом и глазами, но ртом и глазами глаз, причем дважды — по одной желтой улыбке на каждое око ☺☺. А белки ее были голубоваты, потому что Лика пользовалась голубящими каплями «Innoxa». Жовто-блакитні очі. Досадливый мужчина, похожий на Ивана Сергеевича Тургенева, нервно курия и колобродя, то и дело загораживал девушку. Марсель нетерпеливо отодвинул его лыжной палкой. Тем временем диск-жокей Заратустрица все быстрее и жестче раскручивал пластинки: отгремев Берга, положенного на дарк-степ, он принялся терзать Нектариоса Чаргейшвили, перемешивая его балет «Три года Добрынюшка стольничал» с зубодробительным брейк-битом. Устрица добился своего — добрался-таки до публичных выступлений, до музыкального пульта, постепенно сведя знакомство со всеми ночными людьми города. Шестнадцатилетний диск-жокей произвел фурор среди ночников, громыхая ни на что не похожими звуковыми гибридами. В этот раз была закрытая вечеринка: пускали по пригласительным билетам и только в костюме лыжника. И все же в здании завода «Электросигнал» собралось несколько сотен лыжных леди и джентльменов, и немало черни, желая войти, толпилось у входа — в спортивных трико, олимпийках и кепи, но таких не пускали; кто знает, быть может, среди них были гольфисты? Марсель принес с собой много лыжной смазки и раздавал ее друзьям и знакомым, но вскоре ему стало плохо с сердцем: оттого ли, что Арсений слишком буйно вертелся на лыжах, привлекая незнакомку, оттого ли, что явился сюда после трудной и долгой ангины, оттого ли, что перемазался смазкой, оттого ли, что был ранен в сердце. Так или не так, но Арс теперь сидел на подоконнике, обхватив лыжи. Никто на него, дышащего тяжело, не обращал внимания, даже Заратустрица, отлучившийся от музыки подышать и покурить, идя мимо, сказал только: «Ничего, пройдет! Может быть, тебе сиропу выпить?» Марсель не ответил на его реплику, он вознамерился ехать домой, а денег на такси не было, а Шустрица уже скрылся, а сердце — тебе не хочется покоя — все ныло и перебойно колотилось. «Жизнь прекрасна!!» — прочитал Марсель прямо перед собой. Две приятные округлости, выпиравшие надпись, подтверждали ее. Барышня глядела и косо улыбалась, бледный Марсель улыбнулся в ответ половиной рта. «О, ты тоже улыбаешься одной стороной!» — сказала девушка.

* * *

«Да, именно в четверг вечером на танцульках я увидел ее в первый раз...» — так бы мог начать свой роман Марсель, если бы стал писать. Где? На чем? Не

в крымской степи на взморье, не в тени библиотек, не в зеленых тетрадах; Марсель прямо теперь мог бы расписать, к примеру, покрывало, на котором завис между небом и землей, но руки заняты цепляньем: в окно, в окно стремится Марс, как испанец, как пятнадцатилетний идальго, как сочинитель сонетов. Главное — крепко уцепиться за парашют, главное — вздохнуть громче и броситься в объятия Лики. Чтобы остаться ночевать в общежитии, Марсель пользуется благодушием шитов: те, сильнорукие, обкуренные гашишем чужеземные студенты, смешливые толстяки, влекут его вверх — его, ухватившегося за шершавое покрывало. Самолетик с помадными губами на крыле — воздушный поцелуй, истребитель «Чмок-29» — вылетает из ближайшего окна, чиркает Марселя по щеке, искушает его другой женщиной: а что если завести еще одно знакомство? Внеплановый адюльтер, двойная любовь в общежитии, Казанова, случайные связи, открытый перелом ноги, раздробленная пятка. Но вдруг налетает буря, находят тучи, обрушивается гроза с градом, самолет бомбардируют крупные капли, градины — крушение, катастрофа, Марсель успевает оглянуться, протягивая руку коричневой руке сарацина, — самолет на лету переделывается в кораблик и падает в лужу невредимым. Но старуха уже подгребает его клюкой и прячет в бюстгальтер, в духоту отцветших грудей.

17

Здесь изображен Марсель, красный и гневный; он пляшет на трупе читателя, шею Марселя обвивает гирлянда из человеческих голов. Марсель натягивает тетиву лука цветочной стрелой. Слева от него восседает на золотом лотосе Устрица, справа Нина совокупляется с белым слоном. Внизу под Марселем мальчики-поросята горят в адском пламени.

В те времена, когда появилась в его жизни Лика, десятиклассник Марсель обучался в вечерней школе (МОУСОШ № 11), куда выскользнул из предыдущей, третьей учебницы. Вечернюю можно было посещать по желанию, но рекомендовали бывать на уроках хотя бы два раза в неделю, чтобы переписывать решенные контрольные работы и недиктованные диктанты. Я, автор этих строк, учился с Марселем в одном классе, точнее, училась, потому что тогда я была девушкой, меня звали Александра Смольская. Предпочитая высокие каблуки, я громко цокала ими — вот так: цок, цок, цок; этими каблуками я совратила директора гимназии, из которой меня за сей проступок сразу исключили; шутка ли — обесчестить мужчину каблуком на глазах его пьяной тещи? В вечерней школе у меня появилась уйма свободного времени, я стала беспорядочно читать и вскоре увлеклась тибетским буддизмом школы ньингма. Постигнув практику осознанного сна, я начала развивать иллюзорное тело, помимо этого, я овладела обогревом туммо и вскоре могла даже зимой ходить по улице в одном платье, без нижнего белья. Узнав, что сам Татхагата сначала отказался проповедовать женщинам, потому что понимал, что из-за них его учение просуществует на пятьсот лет меньше, я весьма опечалилась, ведь мне хотелось достичь просветления уже в этой жизни. Взвесив все за и против, я решила сменить пол, о чем до сих пор не жалею. Спустя время в пещерах Лхасы, занимаясь воспоминанием своих прошлых воплощений — особой духовной практикой, я вдруг открыл в себе способности ясновидения и воссоздал в уме всю жизнь Марселя и даже отдельные эпизоды жизни некоторых его предков. Мой духовных наставник Чоки Зангпо велел мне отправиться в Коктебель, чтобы записать здесь эту

повесть; когда меня накрыло, накрыло тенью дельтапланериста — тогда я и начал записывать во имя Будды, Дхармы и Сангхи, во имя просветления всех живых существ. Архаты, ваджрные богини, бодхисатвы-махасатвы, хранители Учения, гневные цари десяти сторон света, дакини, тары, наги, пратьекабудды — все поддерживают мое письмо, даже дельтапланерист завис в воздухе над головой, даруя спасительную прохладу.

Хочу отметить, что в школе Марсель мне совсем не нравился, и я ему, судя по всему, тоже, ведь он даже не глядел в мою сторону. До того это равнодушие и невнимание дошло, что мы зрительно перестали замечать друг друга и как-то раз со всего духу столкнулись лбами на лестнице — вот так: бах!! бум!! — как в комиксах. И далее ничего более: разошлись в разные стороны, потирая ушибленное, но в пещере Лхасы я вдруг вспомнил о том столкновении — что-то тогда случилось со мной непоправимо важное, ведь как раз на другой день после этой аварии я приняла решение сменить пол. Папа был против и отхлестал меня ремнем, как маленькую: поднял юбку, спустил трусики и отодрал ремнем по попе — вот так: хлясть! хлясть! хлясть! «Что бы сказала твоя мать, если б узнала, а?!» — кричал отец. А что бы сказала моя мать? Пожалуй, она бы злобно расхохоталась, плюнула бы, рыгнула бы, потом бы открыла одну из своих многочисленных сумок, вытащила бы изувеченного плюшевого мишутку — без глазок, без ушек, и подарила бы папе. Мать моя давно колобродила, околачивалась, ошивалась, добровольно и радостно нищенствовала на улицах да в подвалах: она распухла, состарилась и запаршивела, она сошла с ума решительно и бесповоротно. Врачи ей уже не могли помочь. Однажды мать сгребла в пять сумок разный домашний хлам, большей частью мои детские игрушки, тряпье и ветошь, и пошла вон из дому; напоследок мать сказала: «Зуй вам, родственнички, бе-бе-бе!!», захохотала, разрубила кухонным ножом белую крысу Альберта и скрылась, жуя лысый хвостик. Много лет подряд она боялась, что ее отравят: я ли, отец ли, сестра ли — кто-то из нас, и вот наконец не выдержала и ушла. С тех пор она всюду таскает с собой огромные сумки с рухлядью и не желает возвращаться домой. Иногда ее можно встретить на барахолке, где она продает по баснословной цене свою никчемную ветошь.

Вы спросите, где я совершила приращение? На какие средства? Я же отвечу вам, благородный читатель в дырявых калошах, что выкрала деньги у папаши: он хранил некоторые сбережения в гузне плюшевого гиббона. Этот был семейным талисманом, и мать, до тех пор пока не рехнулась, просто называла его царем обезьяньим, а потом стала на коленях молиться подле него, кланялась ему в пол и осеняла себя крестным знаменем, поворотившись к человекообразному. Так вот, украла я, значит, папины денежки и рванула в Москву; разыскав клинику, я так и спросила без обиняков: можно, говорю, здесь вот приделать известную вещь, а тут вот слегка сгладить излишки. Мне говорят: без проблем, наука все может. Как только выписалась я из клиники, подалась, подался напрямки в Петербург, в дацан Гунзэчойнэй к Буде Бальжиевичу. Принял прибежище и вскоре махнул в туманную Лхасу упражняться в туммо.

Иной раз читаешь роман — и непонятно, откуда автор знает, как оно все было на самом деле, особенно если повествование ведется от третьего лица. Грешным делом думаешь, что писатель выдумывает, сочиняет, шалит. Может быть, так оно и есть в случае какого-нибудь Жандра или Грульёва, но мне до этого дела нет никакого, я ничего не сочиняю — не умею; я вспоминаю чужое существование: здесь, на месте гибели волосатой гусеницы, под тенью дельтапланериста, на взморье, напившись гусеничного чая, расфранченный в бордовые одежды; прозрачные мухи, червяки, пылинки в стеклянистой жидкости очей моих помогают мне вспоминать: сцепляются они в буквы, а буквы собираются в слова, а слова составляют предложения.

Посторонняя жизнь приходит мне в голову, ее навевают черные ветры Понта, она сыплется в мою иллюзорную душу цветным иллюзорным песком, разноцветными флажками узорит мой ум. Чоки Зангпо велел мне заняться этим, потому что я чертовски зациклен на себе: женщина ли, мужчина ли, но я — это я; мои личные воспоминания, дорогие впечатления, выводы о чем-то и приводы куда-то — все это я: ценное, обширное, всеобъемлющее. Я ведь, честно говоря, побаиваюсь потерять себя в Безусловном, к которому мы, буддисты, стремимся. Пускай моя душа — только лишь скопление разновеликих мотыльков, парящих и дурящих, пускай мотыльки эти вовсе и не мотыльки, а просто играющие тени, которые ничто и никто не отбрасывает: они здесь пляшут случайно, устраивают вычурный балет, но солнце вскоре зайдет, и мотыльки исчезнут, — что мне до того? И то сказать: безразлично! Дайте мне вечность шириной с несуществующего Бога, который из ничего создал несуществующий мир! Дайте мне такую нирвану, где будет место стружкам цветных карандашей — тем самым, что настрогала мне мама в маленькую бутылочку! Разноцветные стружки, я зашвырнула их в грудку кирпичей — от восторга. А бабушка, став свидетельницей сего вероломства, так грустно сказала: «Зачем же ты ее разбила? Такой красивый подарок тебе мама сделала» — вот для этого — слишком сверхчеловеческого — дайте мне места в вашей нирване, слышите, Зангпо? Такие соблазны одолевают меня, дорогой учитель, но я пытаюсь, пытаюсь их побороть, честное буддийское слово! Хватит ли места всем? Чем цветная стружка Арсения дурнее моей цветной стружки? День-деньской я вспоминаю днесь Марселя, его исключительную жизнь, многогранную, как крест Деникина, и ветреная, засиженная мухами, червивая моя юдоль минорна, как усы Юденича.

18

Мой учитель, когда вы сбежали из оккупированной Лхасы в Америку, то сразу же устроились на фабрику в штате Иллинойс. Уже тогда вас считали великим практиком, и поэтому никто из ваших земляков не удивлялся, что для такого великого человека нашлась подобающая работа. Пока другие тибетцы гнули спины и зарабатывали паховые грыжи, вы только лишь нажимали на кнопку — целый день, целый день, целый день. Это стало для вас медитацией, вы достигли горних высот, войдя в ритм своего труда. Но, устраиваясь на службу, вы не стали разведывать, что именно изготавливают на фабрике. Каково же было ваше удивление, когда вам сказали правду! Учитель, вы тотчас вернули зарплату и воротились в Тибет, узнав, что все это время работали куриным палачом.

Арсений вычитал в трактате, что следует не только не растрчивать, но и прибавлять, вовлекать внутрь плодородные женские соки, а еще поощрять выработку собственных, возбуждаясь без растраты. Но Марсель решил, что пока не готов к этому, и продолжал блюсти обыкновенный целибат, лишь изредка пересматривая кино «Кегельбан с Изаурой» — в полном бесстрастии, словно бы созерцая безмятежное ведро. Плоть притворялась, будто бы мало-помалу покоряется рассудку, но вдруг язвила исподтишка и губила предприятие. Он страдал, срывался, доходил до отчаяния, периоды упадка сменялись временами подъема. И все-таки Марсель был скорее доволен собою, потому что с его сознанием явно что-то делалось: он вдруг стал рисовать болезненные картинки в стиле Ролана Топора и Клоссовски, потом Арсений занялся автоматическим письмом, изучил античную мифологию, сделал себе интимную прическу в растафаринском стиле, освоил сальто-мортале и написал несколько эссе по чайной метафизике. Одно из них, под названием «В поисках чайного логоса:

Аполлон, Дионис, Кибела», он отправил в литературный журнал «Нева». Вскоре ему пришло одобрительное письмо: работа была принята к публикации. Ниже я по памяти привожу это сочинение Марселя, но читатель запросто убедится в моей дружбе с Мнемозиной, открыв седьмой номер «Невы» за 2015 год, — здесь можно прочитать переизданное и дополненное комментариями эссе.

В поисках чайного логоса: Аполлон, Дионис, Кибела

Все знают о чайном опьянении, всем известно, что элитные сорта чая вызывают необычные переживания, но до сих пор никто не проверял их метафизическую подкладку. Чай бывает разный. Суфийские мудрецы видели в этом напитке аллегорию Бога, ведь одни говорят, что чай зеленый, другие — что черный, одни утверждают, что он горячий, другие — что холодный, он может быть жидким, твердым, горьким и сладким — так и Бог: невозможно определить его качества. Оставим философов, спустимся чуть ниже, в область обыкновенной химии, и различим сорта чая по степени ферментации: одно и то же сырье — листья и почки чайного дерева — может в итоге стать и зеленым, и бирюзовым (улун), и красным (черный), и черным чаем (пуэр) — все зависит от способа и времени обработки. Чайный лист — это материя, изначальный субстрат, которому придают форму; и вот, мы пользуемся аристотелевскими терминами, потому что решили выяснить онтологию чая. Начнем с середины и обозначим крайности. В центре онтологической шкалы стоит улун, бирюзовый чай, — здесь материя уже обуздана формой, изначальное сырье побеждено искусством чайных мастеров. Хороший улун навевает «прекрасные сны Аполлона»: усложняется игра ассоциаций, приходят на ум необычные сравнения, яркие образы; некая статуарная легкость обволакивает предметы, само пространство становится прозрачней. «Железная бодхисатва» — это гармонизирующий, аполлонический чай, он отправляет нас прямоком в мир бирюзовых платоновских идей. Совсем иначе действуют зеленые чаи, которые ближе к необработанной материи; они, как Аристотель, парадоксально соединяют материю и форму, в них есть зелень изначального, но тем сильнее выражен антитезис — здесь явлены драматичные отношения материального и идеального, это сам Дионис, который опасно играет с Великой Матерью. Наименьшая обработка, наименьший отрыв от материи, но все же страстный, непримиримый отрыв. Зеленый чай — чай Диониса: он возбуждает, вызывает шквал противоречивых чувств, ощущений, сердце сбивается с ритма — это опасный напиток, он ускоряет обмен веществ, а высшие сорта, такие, как гиокуро (чай гениев), дают ясность ума, но это не аполлоническая ясность — здесь все слишком подвижно, неистово, строчки бегут друг за другом, глядишь — и мысли пустились в пляс, началась беготня, мозговые мурашки парадоксальных идей. Теперь мы делаем прыжок на другую сторону, в предел ферментации, где нас поджидает... начало, Великая Мать — пуэр. Это черное варево, им можно запивать еду (близость к пище — мистический ноктюрн!) без опасений, он славен запахом прелой земли, перегноя, осенних листьев, он согревает, как matka, как жаркие объятия мамки, он уже не трезвит до опьянения, как зеленый чай, — здесь нет гармоничных снов улун, — но погружает в странное состояние, так что можно трое суток вовсе не спать и чувствовать бодрость. Пуэр проходит настоящую инициацию Кибелы: некоторые сорта этого чая выдерживают в земле, его хранят годами, он только хорошеет со временем (близость Сатурну), потому что в пуэре уже нет противоречий, становления, здесь уже все случилось, в этой предвечной массе. Как известно, Великая Мать близка титанам, которые не знают ничего, кроме нудного повторения и механического труда, так что чай титанов — это чай в пакетиках: массовое производство, однообразие, конвейер утреннего чаепития несчастных рабочих. Не все знают, что черный чай — это пуэр, а большинство людей пьет красный, который в степени ферментации уступает лишь пуэру, — так титаны чуть поднимаются

над тьмой материи, которая и есть Великая Мать. Титаны служат Кибеле, поэтому их чай называют черным, — в этой игре красного и черного есть какой-то колдовской эвфемизм. Зеленый Дионис вырывается из живой материи, добровольно принимающей форму (сушка, ферментация, скручивание), — здесь мы все еще видим ее чувственность, ее внезапные всплески, которых не найдем в бирюзовом аполлонизме улунов, где материал достиг неколебимого покоя; эта изначальная, живая материя («Натура» философов), дружественная форме, есть покрывало Изиды. Последней противостоит Кибела, мертвая, использованная субстанция, не желающая подчиняться олимпийским богам. Поэтому Кибеле не принадлежат растительное и животное царства (здесь правят Изида, Дионис, Пан), ей подвластны руды, недра земли, нефть, бетон, тоталитарные государства. Изида любит танец мотыльков, Тютчева и Мандельштама, а Кибела в восторге от массовых парадов и митингов; Изида любит отдаваться Осирису, а Кибела пытается господствовать над своим Аттисом, запугивает его — это материя, которая внушает форме, что та без нее — ничто.

Это эссе получило широкую огласку, его цитировали, опровергали, комментировали. Известный публицист и демагог А. Д. Коромысло отозвался на него четырехтомником, раздув шутку Марселя до размеров тяжеловесной идеологической махины. Согласно АДК, логос Кибелы давно и безнадежно поработил мир, так что последним героям, рыцарям Диониса, остается только расколошматить ядерной хлопущей загнившую планету. Арсений брезгливо полистал сей талмуд, подивившись его психопатической мощи.

19

Эй, православные хоругвеносцы, оволосившие бородами города новой России, Марсель уже распался на три сотни персон, чтобы прокрасться в спальни ваших похотливых дочурок, не достигших возраста согласия! Он прихватил с собой миллион алых карадагских пионов, чтобы поиграть в Босха с девственными попками отличниц.

«Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» — как бы нечаянно любопытствовала Лика, когда Марсель склонился над ней в постели. Это было вполне ожидаемо для него — нормальный вопрос, один из тех, что нарочно придуманы, дабы законопачивать ими романтические паузы. Ведь Лика несколько волновалась, а Марсель не на шутку смутился, полностью сознавая необходимость решительных действий, к которым он был готов сугубо теоретически, но никак не въяве, на что указывала махиальная реакция его нервов, последовавшая сразу вслед предыдущим словам Лики: «Можешь лечь со мной, я не кусаюсь», — так сказала девушка, когда Марсель начал было укладываться на постоянно пустующую койку ее общежитской соседки Петручи, толстой и доброй громады: она держала за собой часть комнаты, но в основном жила у родни. Петруча всегда стучалась, прежде чем войти, так что Асур мог беззаботно спать на ее кровати, что и претворял в действительность каждый раз вслед предложению остаться на ночь: он его принимал, но вполне куртуазно засыпал на вежливо предоставленном Петручином ложе. Спать он укладывался прямо в штанах, и даже теперь, уже обнимая девушку, Марсель был наполовину утаен вельветовой тканью брюк — так Ленин в мавзолее сокрыт по пояс, потому что обрублен. Марсель же был целостен и вполне сознавал, что нижняя часть его плотских риз обретается прямо-таки в непосредственной близости к сходственной части

женского существа, случившегося рядом. Какова же была его махимальная реакция, когда Лика — несколько безразлично — предложила возлечь с нею и не бояться укусов? Надо сказать, что Арсений почувствовал обиду, огорчение и даже слезы навернулись ему на глаза. Он счел это предложение слишком прямолинейным, он удивился нечуткости Лики, ведь она не должна была манкировать объяснимую возрастом нерешительность Арсения; ведь их сношения длились всего чуть дольше месяца. Испытывая горечь, он возлег с ней, не спуская с губ неискренней улыбки хитрого Гермеса. Их обычная беседа лишь временно была прервана этим пространственным вопросом, этим формальным сближением, но тотчас заструилась дальше. Изъяняясь, Арс походя гладил пейсы подружки, словно это было регламентировано кодексом постельной совместности, но вдруг Лика прервала его браваду о превосходстве пирожного «Мадлен» внезапным вопросом: «Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» Дело в том, что накануне Марс рассказывал Лике о ритуальных практиках индейцев, которые сопровождались вкушением наркотических растений, так что этот вопрос его совсем не удивил и даже обрадовал, потому как стал недурственным поводом для решительных действий.

Надо сказать, что и в будущем, то есть через пару недель после первого сближения, он внезапно преодолет очередной рубеж, удивив Лику познаниями в вопросах телесности. В тот день Марсель взвьется по покрывалу на балкон общежития с букетом пионов в зубах, и скоро в пестрой комнатке Лики установится постельный режим. В тот день девушке покажется, что друг ее чем-то озабочен, несмотря на недетскую твердость его притязаний.

И в самом деле — Марсель озадачился дилеммой: если он и впрямь любит эту красную девицу, то хорошо ли высасывать из нее силы с помощью известного действия, теперь неизбежного? Справедливо ли это? Этично ли? И не лучше ли без обиняков выдать ей свои убеждения? Сказать без экивоков: любящий любящему — комар. Но его уже несло без спросу, тело шло в самоволку, хотя Марс точно знал куском сознания, что вовремя остановится, вот только побывает кое-где, овладеет сокровищем, возьмет свое, а сам не даст ни капли, сохранит и сбережет, — один раз точно можно, ведь Лика сильная барышня, вон какие у нее мясистые икры, хорошие зубы, ладные уши. Быстро осмелев, Марс пошел в атаку: досконально оголил девушку, облобызал ее перси, лодыжки, крестец и похотник, но Лика пресекала поползновения перстов его и сдерживала уд то нежной дланью, то алыми устами; врата же свои замкнула накрепко. «Что же, — сказал Марсель с придыханием, — не пора ли нам отождествиться друг с другом? Не будет ли ошибкой упустить такой чудный день? Смотри: в окне торчит радуга, и кошка карабкается по ветви, охотясь за птахой».

Лика знала наперед, что нынче Марс готов мужать, но была у нее своя тайна, свой уговор, своя непримиримость: Лика решила до апогея блюсти формальную невинность, до брачного ложа беречь свою женскую перепонку. Что это? Сказались ли старорежимные увещевания прабабки, когда в деревне, в Бессоновке, маленькая Лика рассеянно слушала ее старушечьи моралите: «Смотри, девка, будут к тебе молодцы стучаться, так ты не впускай, не отворяй ворота, не то обрюхатят немедля! И будешь ты простоволосая побираться по церквам, с дитятей холодным по миру ходить!»? Впрочем, в свои одиннадцать лет девочка посмеивалась над старушонкой, делая вид, что ничего не понимает. Сказались ли романы девятнадцатого века с их ужасом дефлорации? Может быть, изнасилованный родным дядей одноклассник Лики по имени Тимур, в красках расписавший ужас проникновения, напугал ее? Едва ли. Ей даже стало занятно, ведь тыловой вариант, черный ход Эрота как бы снимал проблему: девство соблюдено, иллюзия сохранена — чего еще надо? Потом, уже в университете, она узнала, что многие широкобедрые арабки

так и поступают, но Лика стеснялась просить свою подружку-любовницу, с которой они лишь лобызались и быстро мыли друг друга в душе, чтобы та овладела ею таким способом. Без сомнений, Вера бы поняла ее пристежной намек, брошенный в сторону интимного магазина, где продавались эти неказистые огурцы на ремне, но стоит ли практиковать подобное с нелюбимой девушкой, думала Лика, ведь чувствовала, что сея связь — чадо неизбежности, ребенок отсутствия милого самца. И вот кандидатура сыскалась: дитя-Гермес, мальчик-амур с подходящей, негрубой стрелой, лишь слегка оперенной. Всего Лика не отдаст, решила, поиграет лучше в арабку, побудет хлопцем. «Марс, ты не против, если мы до поры до времени побалуемся тем, за что некогда сжигали на кострах? — шепнула Лика, выпустив на миг из сладостной темницы рта Арсениеву сигару страсти; чуть помолчав, прибавила: — Да, да! Сделай со мной то, от чего у певицы садится голос!» Он тотчас осмыслил предложение, рассмотрев окрест, в общем-то, знакомую картину — сад земных наслаждений. Марсель взглянул на коленно-локтевую Лику, на ее спущенные оранжевые трусики, растянутые между расставленных лодыжек, на бесстыдно роскошные бордовые пионы, на размягченное сливочное масло, оставшееся с обеда, обмозгованного загодя предусмотрительной Ликой, и, хмыкнув, принялся. Через четыре четверти часа он прекратил бурить ее тесную шахту, дабы, чего доброго, не случилась обильная нечаянность, и поспешил встать на голову среди комнаты, чтобы слить приток сил к макушке.

Из вышеприведенных эпизодов следует, что Марс решительно отвечал на встававшие перед ним вопросы. Что интересно: каждый раз в деле косвенно участвовали растения, будь то кактусы или пионы; последние напомнили Арсу Карадаг и приключения детства, в которых была замешана его троюродная сестра Нина, теперь вышедшая замуж за испанца и укатившая насовсем в соответственную страну. Эти пионы указали ему путь и метод; кактусы же стали всего только предлогом для действий, ведь Лика своим вопросом явно вручала ему инициативу и давала добро, разрешала ему все и поощряла его, санкционировала и позволяла. «Как, ты говоришь, называется этот галлюциногенный кактус?» — как бы нечаянно полюбопытствовала Гликерия, выжидающе глядя на Марселя, когда тот склонился над ней в постели. «Лофофора Уильямса», — ответил Марс и, смахнув с ее лица сбившийся на сторону пейс, впервые поцеловал свою подружку. Аплодисменты!

20

И жили они быстро и счастливо, и не померли в один день с читателем, который застрелился-таки, смастерив пистолет. И мама прибежала домой с вытаращенными глазами, тряпкой и ведром, потому что подвязалась вымывать с дивана читательские мозги. И долго еще стоял этот зеленый раскладной диван во дворе возле мусорных баков, красуясь родимым пятном в форме несуществующего континента.

Справедливость, согласие, бескорыстие — совершенная любовь! Никто ничего не отнял: в страсти блюлось энергосбережение. Гликерия лишь скапливала живительную сырость заповедного грота, Марсель не терял волшебной амбры — все дивно. Правда, в первый раз девушка недоуменно взглянула на него, не дождавшись кульминации, салюта. «А где же гейзер?» — спросила Гликерия. «А гейзера не будет. Я жадный оккультист-крохобор!!» — ответил Марсий. Он решил, что это и есть горняя свадьба, истая чистота и непорочность. «Ты моя сестра в белых одеждах», — заявил Марс, ловко перевертываясь с головы на ноги. «Ты мой back door man», — вторила Лика, завязывая шнуры на ботфортах. У нее были мощные стегна, мышцы на подтянутом

животе, крохотная грудь ее не знала уз бюстгальтера, зато болтались пейсы на висках, зато полосатые гольфы обтягивали безупречные ноги, зато красная водолазка Лики, хулиганская подмена вечернего платья, форсила прекрасной жизнью.

Все, Марсель был повержен тем древним демоном, что некогда заставлял панцирных рыцарей стелиться по земле перед подолом, рассыпаться бутонами и балладами. Как все, он чувствовал себя тлей возле божества; стоило малость усомниться в его величии, как тотчас на глаза наворачивались слезы и рука тянулась к вервию смерти. Она знала все: что красный лучше зеленого, что кофе лучше чая (он принял даже это, смирился, хотя, признав себя еретиком, продолжал греховно чаевничать), что лучшие благовония — арбузные, а вовсе не те, которые привозил Цзэсюй, — их Лика с негодованием отвергла: фу! Свежим арбузом, полосатой веселостью, лишь снаружи зеленой, но красной внутри, пахла ее комната в общежитии, пахла она сама, пахло ее белье, а на вкус Лика была как черноплодная рябина.

В кукурузных полях они занимались чем-то похожим на любовь, но более вычурным. Дорога поднималась вверх и опускалась вниз, безответно снося похождения путников, поползновения гусениц и круговерть колес. Дорога — что ее проймет? Иной раз, соскучившись, она сбрасывала в кювет автобус или грузовик, чтобы послушать вопли. Ее кожа плавилась на солнце — благовонный асфальт; правила движения не были ее религией, но она сносила соседство икон, торчавших вдоль ее спины, — к ним обращали взор автолюбители, запрещаясь и предупреждаясь, внемля и преступая. Водители снижали скорость, повышали голос, подбирали беспутных женщин и путных странников, курили и кашляли, перевозили груз, снимали усталость порошковым кофе, платили бандитам, бывали застрелены, зарезаны, избиты, удовлетворены, сыты; волосы иных дальнобойщиков были подстрижены коротко, у некоторых имелись дети, жены, матери, ожоги, шрамы, лишние пуговицы на рукавах, грыжи и значки. Марсель рассказывал водителям китайские анекдоты, давал рецепты блюд, удивлял настойкой на сколопендре, припасенной для похода. Дорожная сумка Марселя содержала трактат, запасные трусики Лики, пакетик состаренного улуна, крема и расческу — ее Арсений использовать никак не мог, ибо постигся наголо. Зато использовал Гликерию среди волосатых кукурузных початков.

Автору придется расклеить объявления, чтобы найти читателя, который хоть раз видел кукурузное поле, — это первое условие; пускай только на картинке, на экране или во сне: желтое и обширное, шуршащее грубой листвой; еще читатель не должен быть пигмеем. Бог его знает: вдруг этот черный коротышка соорудит из початков идолище, эдакую священную кучу и станет поклоняться ей, плясать вокруг и колобродить, гукать и сипеть? Вдруг он сошьет себе шапочку из кукурузных волос, пахнущих детством? Пускай не пигмей, кто тогда? Тот, кто способен понять мой замысел и оправдать его, а именно: я не вполне доволен своим кукурузным полем, потому что здесь растут стеклянные початки, — ни ветерка, ни шороха, только юные любовники алчно сопрягаются в мертвенной тишине; поэтому я должен заразить свое поле червями, тлей и коростой, наводнить его и поджечь. Поступив так, я скажу, что это хорошо весьма, и лишь отребья дерзнут меня осудить: они предпочтут неподвижную протяженность без всякого изъяна, без гнилых листьев и прожорливых гусениц, но я прокляну их! Ибо Я есмь не только созидатель, но и губитель, Я пребываю в гниении, в росте, в горечи, в зное и лютой беде, Я даю жизнь семенам и Я же проклиная землю; Я суть противоречие в противоречащем Мне и тяжесть его раскаяния; Я великая засуха и плодоносный дождь.

Они попали в Бессоновку на грузовике, полном арбузов и грозового дождя: ливень ахнул под колеса, когда они проезжали исполинское перекрестье серпа и молота, торчавшее на обочине. Лика бессознательно любила павший Союз, потому что тот

был удивительно красным, и придорожный герб ей тоже нравился. Мать Гликерии, женщина с надкушенным языком и стертými каблуками, привечала тортом и вином, она дивилась юности Марселя, никак не прекословя сумасбродной дочери, но вечером постелила им врозь, так что Марселю пришлось засыпать в одиноком холодке. В ту ночь он вполне осознал, как привязался к своей девушке с пейсами.

Через несколько дней они были в Крыму. Добрый и благодетельный, словно приверженец буддийской школы ньингма, гуинггм Кузя встретил их на вокзале Симферополя и повез в Планерное, где дельтапланеристы норовят взять небо штурмом, а писатели заваривают гусениц вместо чая.

* * *

Однажды, когда они бегали по холмам над морем, Нина сорвала маковую коробочку и высыпала на ладонь семена.

— Якщо наїсися ними, то заснеш, — сказала сестра.

— Давай попробуем! — обрадовался Марсель.

Дети наелись маковых семян и упали возле могилы поэта, притворяясь сонными. Солнце рушилось в Аксинский Понт¹, на другой стороне бухты скалистый Волошин грустил над спокойной волной, а Марсель все рассматривал обнаженную Нину, лежавшую ничком возле могильной плиты.

Теперь, спустя годы, на том же месте он разглядывал другую: Лика, вытянув слегка раздвинутые ноги, выгнулась двухвостой коброй и запрокинула голову; под губой поблескивал шип, мокрые и соленые пейсы ниспали на рамена, чуть ниже розовела незагорелая область, а еще ниже гусеница пересекала мыс лодыжки, стремясь к смятой маковке, одним лепестком приставшей к пятке. Лика изогнулась еще больше и с улыбкой взглянула на опрокинутого Арсения, сидевшего позади. Потом она вскочила на ноги, сложила пополам и прижала голову к коленям, обхватив руками икры; гусеница отлетела в сторону и кочевряжилась с испугу. Через минуту Лика стояла на лопатках и тянула «березку» в облака: ее некрупные ступни с детскими пальчиками упирались в небо, а подбородок прижался к груди, так что губная иголка слегка царапала кожу. Вполне изучив перевертыш, Марсель укусил его за мизинец, возбуждив этим сдавленный смех; затем он развел в стороны ее, оказавшиеся наверху, нижние конечности и посмотрел между.

1. Ее сухожилия и связки хорошо растягивались, кишечник пустовал, напрягались и расслаблялись мышцы, зрение видело цвета и различало объемы, обоняние обоняло волнующие запахи Крымской Татарии.
2. Взглянув на Марса, Лика тотчас опознала его границы, очертания тела, контур, ей незачем было лишний раз удостоверяться в том, что Марсель имеет протяженность, обладает цветом, что Арсений непрозрачен и может двигаться.
3. Марсель нравился ей: мимика, движения, пропорции тела, голос — Лика хотела иметь это при себе постоянно и как можно ближе, то есть обладать этим безраздельно, ни с кем не делясь.
4. Когда Марсель отвернулся, заметив бумажный самолетик, Лика почувствовала легкое раздражение, потому что он перестал смотреть на нее, предпочтя другое подвижное тело. Она ревновала к самолетiku.
5. Осознав это, Лика посмеялась над собой, и неприятное чувство прошло.

Не меньше часа они любили на могиле Волошина, немедля искупая этот грех страстной декламацией его стихотворений. После длительных зрящих упражнений неудовлетворенный Марсений, постояв на голове минут десять, стал читать

¹ Солнце в тех краях садится вовсе не в море. (Прим. Чоки Зангло)

«Коктебель таймс»: газетный лист прилетел самолетиком, его как бы надуло снизу, с планерного Коктебеля, да такая чудная статейка была в той бумаге, что Марсель даже зачитал ее вслух, пока Лика надевала исподнее:

Сегодня в пресс-службе администрации окрестностей Коктебеля сообщили, что так называемое дело цветов закрыто и обжалованию не подлежит. Напомним, что двадцатого Флореаля в администрацию поступило ходатайство, подписанное главами цветочного комитета, в котором официальные представители цветов выступили с требованием пересадить молодые тюльпаны, выросшие на дороге и тем самым обреченные на скорую гибель. Представители консервативного крыла цветочного парламента, находящиеся в оппозиции к действующей цветочной власти, не поддержали ходатайства и отказались его подписывать. Консерваторы считают, что пересадка всех цветов на безопасную землю не представляется возможной, отдельные же прецеденты вызовут лишь зависть среди цветов отдаленных земель, что может спровоцировать бунт, а если молодое поколение откажется цвести, то недалеко и до межвидовых столкновений, которыми тотчас воспользуются враги-паразиты. Независимый эксперт Мак Тюльпанов считает, что решение администрации окрестностей свидетельствует о ее лояльности консервативной партии цветов.

1. Артериальное давление Лики не могло вызвать нареканий, зато нерадивый пульс чуточку замедлился — до пятидесяти ударов в минуту; температура тела соблюдала приличия, не поднимаясь и не опускаясь без толку; в помине не было излишней потливости; волосы росли достаточно шустро.
2. Лика заметила растение, непохожее на другие формой и оттенком, — это был крупный розовый цветок.
3. Он понравился ей, растение показалось Лике очень приятным телом, она почувствовала, что цветок радует ее.
4. Она захотела сорвать его, чтобы стать его неограниченным владельцем.
5. Но передумала, вспомнив, что нехорошо срывать цветы в заповеднике.

Они забрели в Карадаг, в царство черной богини Гекаты, повелительницы собак, перекрестков и магии. Почему Лика, пожелав себе этот цветок, этот карадагский пион, и впрямь редкое растение, в других местах не растущее, отказалась от него? Благодаря ли воспитанию? Благодаря ли генам? Благодаря ли дяде Гене, ботанику, который всю жизнь славословил бесподобную Флору? Благодаря ли прочитанным книгам и саморазвитию? Может быть, сказывалось благотворное влияние гимнастических упражнений? Ведь ее так привлек этот цветок, ведь Лика была уверена, что он пахнет особенно приятно. Сотни других прихожан Карадага рвали здесь цветы и бросали бутылки, несмотря на то что их кровеносные системы зачастую работали отлично; бывало, что некоторые прихожане потели, но далеко не все, одни из них были верующими, а другие помогали бездомным животным, третьи защищали честь женщин, четвертые оплакивали любовные романы, но каждый из них сорвал, по меньшей мере, десять цветов. Даже интеллигенты, даже некая поклонница Каstellуччи, Кнопфа и Джачинто Шельси, она тоже сорвала одиннадцать пионов, хотя понимала, что идет на преступление, но позволила себе то, что сама же запрещала другим (между прочим, пьяный дембель А. Савищенко мыслил примерно в том же духе, когда бросал здесь пивные бутылки). Лика же преодолела себя, воздержалась, зная, что рвать цветы в заповеднике — преступление. А если бы Марсель тяжело заболел и слег? Если бы его давление подскочило, температура бы поднялась, если бы пот катился градом по спине, по лицу и по груди, если бы живот его вздулся, если бы его стало тошнить, затем рвать, если бы у него началась диарея,

а цветочницы бы, как назло, ушли в загул и разврат, стали бы устраивать стачки, бросив торговлю... принесла бы она Марселью хоть один крохотный букетик? Да, но лишь один и крохотный, взгромождая на душу тяжкий грех.

Поэтому когда Марсель захотел поиграть с ней в «Сад земных наслаждений», доходчиво растолковав суть этой затеи, Лика с негодованием отвергла предложение. «Марсель, — возмутилась Лика, — как тебе не стыдно рвать живые растения, да еще в заповеднике, когда можно взять искусственные на городском кладбище и забавляться с ними как душе угодно?»

21

Когда закончилось лето, когда Крымская Татария осталась позади, когда Воронеж — уронишь ты меня или проворонишь — распахнул черноземные двери, тогда пришла пора ночной жизни: расцвеченной фонариками, лыжно-смазливой, сиропной и дымно-сладкой. Но Марсель не хотел туда возвращаться, потому что с новыми силами бросился изучать книги по тайным практикам, читать вредные романы Бальзака и философию. *Ему было всего шестнадцать, но у него имелись трактат и женщина.* К новому книжному бытию Арсений никак не мог приспособить мир прокуренных танцулек: ему просто-напросто было уже неинтересно обретаться среди светских прожигателей чего-то там, что называют жизнью, он стал дорожить своим временем, которое большей частью отдавал чтению, гимнастике и созерцанию комнатных растений. *В свои шестнадцать он владел женщиной и трактатом, пузырьками его мозга можно было отравить сотню трезвенников, превратить их в неустовых корибантов.* Лика же не собиралась отказываться от неоновой и стробоскопической судьбы и недоумевала, когда Марсель принимался отговаривать ее от похода в ночной клуб на очередной концерт Заратустрицы — модного диск-жокея: он теперь гастролировал по всему свету, посещал Амстердам, Ибицу и сотрясал мыс Казантип гибридными созвучиями, в которых все меньше было Губайдулиной, Чаргейшвилли, Берга и все больше бристольского саунда. Со временем Арсений стал отпускать Лику с ее подружкой Верой, ничуть не опасаясь, хотя был осведомлен насчет их минувшей связи, но Вера давным-давно подыскала себе ревнивую и мужественную любовницу, мастерицу спорта по греко-римской борьбе.

Марсель стал чаще появляться дома и все реже оставался ночевать в общежитии, потому что в Ликиной постели его подстерегала обильная нечаянность: рано или поздно это совершалось, плотина рушилась, и тогда Марсель делался мрачным и злым, свирепым и лютым, ведь женщина не только ничего не давала ему (ее энергия оставалась при ней, сокрытая девственной перепонкой), но даже отбирала. Он обвинял Лику в растратах, в разбазариваниях и даже в растраниживаниях и давал понять ей, что она мешает его духовному росту. В ответ Лика билась в истерике, ударяясь челом об пол, корчась и конвульсируя. В таких случаях Асуру становилось жутко, он сознавал вдруг, что далеко зашел неторной, опасною стезжкой, а дальше — мгла неизвестности, потому что нормальной жизнью здесь и не пахло. Зато садило арбузными благовониями, из соседней комнаты несло арабским гашишем, а красные волосы Лики благоухали заморскими странами, Третьей Индией пресвитера Иоанна.

Не быть ли понастойчивей? Не быть ли мне настойчивей, не быть ли мне понастойчивей? Не стать ли мне решительным? Не стать ли мне порешительней, не стать ли мне понастойчивей, не быть ли мне порешительней, не порешить ли мне? Не решиться ли мне? Не отрешиться ли мне? Не обрешиться ли? Не подшиться

ли? Не оскотиться ли? Два года без малого обмозговывал Марсель эти вопросы, изводя, услаждая, холя, нежа, гробя Лику в кукурузных полях, в комнатах, в огородах, в палисадах, в теплицах, в кустах, в чуланах, в парках, в садах, во дворах, дома и в гостях. Тем временем от удара скончался Машмет, а Чирик — от передозировки. Ни мама, ни конь в пальто, ни бабка Моториха, ни человек по имени Динозавр — никто так и не сходил на могилку к Машмету, не принес ни цветочка, ни грибочка, поэтому душа его долго еще металась в чистилище бензиновых зажигалок, декламируя Пруста сломанным пылесосам и другим обитателям тех скорбных мест. А несколько выше (минуем земляные слои), где одна из бесчисленных звезд освещает пространство, птахи парили над Ликой и Марселем, если не дельтапланеристы, если не мыши, если не газетные самолетики, если не кораблики в облаках, то гусеница на земле, если не медведка под землей, если не корова в поле, то трактор в море. Но так или не так, сяк или не сяк, эдак либо не эдак, а все же не по-людски, а вычурно, если не сказать — обидно. Поэтому Лика все чаще корчилась на полу, разметав пейсы, поэтому Арсений все чаще замирал в неподвижности, созерцая секундную стрелку, если не белку в чаше. А потом они веселились в дыму арбузных благовоний, Лика писала его портреты маслом, но не сливочным, а красочным, рисовала пионы. Они ели кофе, пили кунжутную халву, говорили о красном, о полосатом и ни разу не упомянули по русскому обычаю Машмета, то есть пряником, конфетой или подгнившим яблочком, с которого надо еще срезать коричневый бок, чтобы съесть в кладбищенской тиши. А еще лучше, когда наступит праздник Пасхи, отведать красное яйцо на погосте и выпить рюмку водки да покурить за покойника. Хорошо бы еще подмести подле оградки, посадить плющ, если не гонобобель, заменить погребальный венок — ох уж эти пластмассовые лилии, ох уж эта пластиковая хвоя! А гуси-лебеди из автомобильных шин? — выйди с кладбища, пройдишь по горемычной стране, взглядишь в эти бесхитростные лица, потрогай эти мозолистые руки с толстыми пальцами: эти ладони мастерят лебедей из автомобильных покрышек и декорируют ими улочки деревень, эти руки откупоривают бутылки, работают, бьют женщин, замещают их, а потом гниют. Марсель, не ходи на кладбище, где прах Машмета осквернен соседством черни, лучше выпей еще этого желтого чая, напейся Мэн Дин Хуан Я и лети в упряжке шинных лебедей за тридцать земель, прочь отсюда. Длятся дни, тротуары нагреваются солнцем под подошвами твоих ботинок. Ты можешь пойти в любую сторону, не думая о последствиях. Кругом небывалая разруха — таковы обстоятельства твоего уже не детства, но ты крепок и свеж, потому что тебе шестнадцать, потому что ты знаешь цену своим дням, ты ненасытен, ты ешь снег горстями, ты горд. Марсель, у тебя есть женщина и трактат, твой мозг — изощренный тунец, его пузырями легко отравить стадо трезвенников, сделать из них корибантов. У тебя есть женщина в твои семнадцать, есть трактат, твой мозг — что за диво таится в его мозжечке? Какая душа там спряталась? Свет ли разума или темная небылица? Китайский чулан с разноцветными пытками. Марсель, тебе всего пятнадцать, но у тебя есть женщина, трактат подскажет тебе, что с нею делать. У тебя есть газета «Коктебель таймс», в ней сообщают, что десятого сентября в городе было официально зарегистрировано 130 804 миллиарда осенних паутинок. Из них всего две тысячи попали в глаза прохожим. Эти цифры приводятся по результатам статистического исследования. В ночь на четырнадцатое сентября в тупике имени Л. Клагеса одна паутинка, не справившись с управлением, залетела в водосток дома № 3. Вскоре к месту происшествия прибыла оперативная группа спасателей. Паутинку выдули с помощью сильной струи воздуха. Согласно официальным источникам, паутинка не пострадала и тотчас после завершения спасательной операции возобновила полет. И тебе плевать на правила, потому что ты

заранее все нарушил, ты числишься в особых списках. Твой мозг — ему только семнадцать, но у него есть женщина, есть трактат, есть небывалая разруха. Ты можешь пойти в любую сторону, свернуть, куда захочешь, ты можешь просто крутиться на каблуках, ведь тебе все простят, потому что ты слишком мало прожил. Ты сделаешь со своей женщиной что-то особенное. А потом вы наедитесь допьяна серым снегом этого города, как царской тюрем, и полетите в упряжке шинных лебедей. Не быть ли понастойчивей? Не быть ли мне настойчивей, не быть ли мне понастойчивей? Не стать ли мне решительным? Не стать ли мне порешительней, не стать ли мне понастойчивей, не быть ли мне порешительней, не порешить ли мне? Не решиться ли мне? Не отрешиться ли мне? Не обрешиться ли? Не подшиться ли? Не оскопиться ли? Марсель, у тебя есть женщина, толпа корибантов подскажет тебе, что с нею делать.

22

— Ты только о себе думаешь, хочешь, чтобы все было только по-твоему, — сказала как-то раз Гликерия. — Ты бы, верно, с радостью лишил меня всякой личной жизни, всякого общества, отделил бы меня ото всех, как отделяешь себя...

В обществе он и в самом деле чаще всего держался отчужденно, недобрым наблюдателем, втайне даже радуясь своей отчужденности, недоброжелательности, резко обострявшей его впечатлительность, зоркость, пронизательность насчет всяких людских недостатков. Зато как хотел он близости с ней и как страдал, не достигая ее!

Он часто читал ей вслух.

— Послушай, это изумительно! — восклицал Марс. — «Когда высыхает река, пустеет долина. Когда срывают холмы, заполняются пропасти».

Но Гликерия изумления не испытывала:

— Да, это очень хорошо, — говорила она, уютно лежа на кровати, подложив обе руки под щеку, глядя искоса, тихо и безразлично. — Но почему «когда срывают холмы, заполняются пропасти»? Снова китайцы? У них слишком много описаний природы.

Арсений негодовал: описаний! — и пускался доказывать, что нет никакой отдельной от нас природы, что каждое малейшее движение воздуха есть движение нашей собственной жизни. Лика смеялась:

— Это только пауки, миленький, так живут!

Марсель читал:

Пустота и покой, отсутствие образов и деяний — вот основа Неба и Земли, предел Пути и его жизненных свойств. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пустыми, они наполнены. Будучи наполненными, они держатся безупречно. Будучи пустыми, они покойны, в покое они движутся, в движении обретают непреходящее. Будучи покойными, они предавались недеянию, а тот, кто не действует, целомудрен, а тот, кто хранит целомудрие, избегнет забот и несчастий и будет жить долго.

Лика спрашивала:

— Какие еще царственные предки?

23

Текст низверг диктатуру книги, слова свергли диктатуру текста, буквы свергли диктатуру слов, пробелы свергли диктатуру букв.

Удар нанесли внезапно, Марсель был поражен: мог ли он представить, что кто-то сумеет подобрать ключ к заповедной двери, что некто проявит лучшую смекалку, большую сметливость, прыть? Она призналась как-то раз, в невеселую пятницу, когда они ели тыквенный суп с куркумой, в котором зачем-то плавал тмин (зира, зэра, римский тмин, кмин, кмин тминовый, кумин, каммун), что неприкосновенное захвачено. Это случилось чуть ли не в подъезде, но было, по словам Гликерии, восхитительно. Артур подстелил картонки. Артур? Какой еще Артур? Не Шопенгауэр ли, с которым Арсений вот уже месяц изменял Лике? Он любил Шопенгауэра больше, чем свою девушку, уделял ему больше внимания. Шопенгауэр подтвердил правоту китайцев: надо умять, усыхать, остывать, замедляться, созерцать. Он сделал все правильно — так, как она много раз представляла, этот Артур Нешопенгауэр. Он был хорош. Умел. Смел. Они познакомились в клубе, Устрица знает его, они друзья. Арсений не поперхнулся супом, он все доел, потому что события жизни никак на пищеварение не влияют — смело наедайтесь салатами на похоронах, не стыдитесь жевать на поминках, уплетайте на сорокоднев. Арсений доел суп, на это его хватило, но затем уже не мог найти предлога для действий, он глядел в пустую тарелку с охровой лужицей на дне.

Неподвижность (*largo assai*)

Если бы он решил встать, то столкнулся бы с рядом законов — непреложных, местных и повсеместных: если шагнуть с высоты вниз — разобьешься, если ударить — будет звук; не все двери следует открывать, не до всего можно дотрагиваться; одно помещение используют для еды, другое — для отходов, а третье бросили, в нем живут ласточки, существа летающие; если бы он решил подняться, встать и пойти в мир, то сразу бы заметил, что все хорошо продумано: вода не проходит сквозь кожу, улыбка не соскальзывает с лица на пол, но растворяется в серьезности, а серьезность — в грусти; собака лает на чужака, облака бывают интересной формы, деревья заняты шелестом, а женщины мажут себя кремом: для рук, словно им не разлагаться в земле, для ног, словно им не ходить на могилы к любимым, для лица, словно ему не быть обрызганным мужским семенем.

Арс мог бы встать, но не находил для этого поступка никаких оснований. Гликерия отодвинулась в пустоту, комната общежития преобразилась в темный склеп, лишь стол светился собственным светом, опустевшая скатерть не имела ни единой складки. Марсель нащупал в кармане свою гадательную монетку, ведь с недавних пор он увлекся китайской «Книгой Перемен» и частенько гадал по ней, напившись крепкого Е шена — это Линь Цзесюй привез книгу и научил Арса ворожке. Простой рубль с Белым домом вместо орла — эту деньгу Марс предпочел монеткам с квадратными дырочками, по каким обычно гадают китайцы, но рубль казался Марселю священной, потому что его дали на сдачу с того самого букета пионов, что стал свидетелем их первой близости. Марсель сохранил его, этот рубль, а цветы засушил, чтобы когда-нибудь заварить вместо чая. Вот и теперь он решил спросить китайцев, что же ему делать: карманная «И Цзин» была при нем, так что Арс мог прочитать толкование к любой из шестидесяти четырех гексаграмм. Вынув рубль из кармана, Марсель увидел, что тот перепачкан чернилами: потек стержень шариковой ручки — вот как сейчас у меня, зуб даю! Весь карман затопило синим. Он вымазал пальцы, но Марселю было плевать на это. Прямо на скатерти, уже захватанной кое-где чернильными пальцами, Арсений решил чертить линии. Решка — ян, орел — инь. Подбрасываем рубль трижды: если два или три раза выпадает решка, чертим янскую линию «—», если дважды или трижды выпадает орел, рисуем иньскую «--». Таким

образом, чтобы начертить полную гексаграмму, шесть линий, надо подбросить монетку восемнадцать раз. Восемь из восемнадцати раз монета падала ребром, катилась к пропасти, но замирала дурехой на краю стола. Остальные разы выпадал Белый дом, то есть орел. Все гадание насмарку — Марсель раздосадовался. Но потом заприметил, что ребро рубля, перепачканное, оставляет на скатерти следы, похожие на восклицательные знаки либо на иньскую, прерывистую черту. Сей гадательный кульбит озадачил Марсея: можно ли считать случай ребра иньским, если на скатерти отпечатались что-то похожее на иньскую линию? Марсель вообще ничего не знал о ребре написано в Библии: из него была создана Ева.

Сидя он дождался зари, потом направился в библиотеку, чтобы всесторонне изучить вопрос ребра.

Штудирюя вдохновенные статьи китаистов, Арсений выяснил, что древние вообще не подбрасывали монетки, но гадали по стеблю тысячелистника. В каком-то заскорюзлом тамбовском ежемесечнике нашлась работа, посвященная если не ребру, то хотя бы восклицательным знакам. Я бы не решился воспроизвести эту статью по памяти, не будь я выдающимся мастером мнемотехники.

В. А. Зув

Оккультная пунктуация В. И. Ленина. Восклицательные истоки нижней бездны

Не один, не три, но именно два восклицательных знака любил вколачивать Ильич в концы предложений, огораживая такие сочинения, как «Государство и революция», пунктуационным частоколом. Отбросив психоаналитические, лингвистические, историко-культурологические и другие профанные способы интерпретации этого факта, прибегнем к сакральной герменевтике.

«Все, что приближается к сущности, раздваивается», — утверждал Парвулеско.

Но приближался ли к сущности Ленин? Что такое сущность? Это очень сложная философская проблема. Каждая вещь, будь то предмет или природное существо, состоит из двух нераздельных, взаимообусловленных принципов: материи и формы. Мы не будем касаться сейчас причин, энергий и потенциалов, мы также оставим в покое аристотелевскую энтелехию и все его категории. Нас интересует материя и форма — два онтологических начала. На этих двух принципах строится гилеморфизм (от гиле (ἴλη) — «материя» и морфе (μορφή) — «форма») — парадигмальное учение средневековой метафизики. Материя — это пассивное, женское, рабское, зависимое начало, которое все время стремится к регрессу, к высвобождению, но и хочет быть подчиненным. Такой парадокс ей свойствен. Я думаю, что вполне допустимо применять подобный психологический анализ онтологических начал. Поэтому мы продолжим: материя бунтует, распадается, но предрасположена к оформлению. К примеру, стол: он постепенно расшатывается и в конце концов обрушивается под чьим-то весом. Тогда стол превращается в бесформенную массу, и это уже не стол, а какая-то куча материи, чреватая быть столом. Придет плотник и введет в нее форму — тогда и стол вновь станет бытийствовать. Надо заметить, что материя никогда не бывает полностью бесформенной: если стол перемолоть в щепки, все равно это будет какая-то ограниченная некими параметрами куча щепок. Первая материя не дана в чувственном опыте. Но и плотник без соответствующего материала будет метаться со своей идеей стола, не находя ей применения. Таким образом, для бытия вещи незаменимы материя и форма. Теперь неплохо бы применить это к политике. Для Аристотеля государство является такой же вещью, как стол. Если у этого стола-государства не расшатаны ножки, то, значит, установлена монархия или аристократия. Демократия, по Аристотелю, это когда ножки валяются в стороне и все жрут на

полу, на оставшейся доске. Что делает Ленин, когда хочет устранить государство? Всматривается в простую бессловесную материю, которой является народ по отношению к вещи-государству (как утверждает Аристотель, народ есть сырое дерево, а государство — это тот самый стол), — всматривается и хочет «освободить» его от любого формирующего начала. Что на это скажет сам Ильич? Он ведь читал Стагирита, и даже сохранились его комментарии к «Метафизике»: «Схоластика и поповщина взяли мертвое у Аристотеля, а не живое: запросы, искания, лабиринт, запутался человек...»

Вот что решил Владимир Ильич Ленин. Аристотель ему понравился, но без схоластической «поповщины». Хороший был человек, с Платоном спорил, но запутался в собственных построениях:

Прехарактерна и глубоко интересна (в начале «Метафизики») полемика с Платоном и «недоуменные», прелестные по наивности, вопросы насчет чепухи идеализма. И все это при самой беспомощной путанице вокруг основного понятия и отдельного.

Так, походя, Ленин решил главную проблему в истории философии. А потом и вовсе возрадовался Ильич, штудирова учителя Александра Македонского:

Прелестно! Нет сомнений в реальности внешнего мира. Путается человек именно в диалектике общего и отдельного, понятия и ощущения etc., сущности и явления etc...

Для Аристотеля такие персонажи, как Ленин, стремящиеся к наибольшей демократизации, всего-навсего предшественники тирании, потому что, как по Платону, так и по Аристотелю, тиранические режимы являются следующей стадией деградации после крайней демократии. Но не будем забывать, что Ильич тем временем все смотрит в бездну первой материи... в непостижимую бездну изначального хаоса. Стол разломан, все жрут на полу и радуются, что жизнь стала такой необычной, свободной.

Abyssus abyssum invocat, бездна взывает к бездне. С одной стороны — народ, древесина, строительный лес; а с другой стороны — творческое начало, демиург, Первочеловек из герметического текста «Поймандр»:

Природа улыбнулась от любви, узрев отражение благолепия Человека в воде и его тень на земле. И он, увидев в Природе изображение, похожее на него самого, — а это было его собственное отражение в воде, воспыал к ней любовью и возжелал поселиться здесь.

С тех пор всегда происходит одно и то же как на личном, так и на политическом уровне — просто череда грехопадений, обманчивых иллюзий. Ленин взирает в нижние воды, а народ заключает своего возлюбленного в объятия. И все рушится, всему наступает конец, пресловутые матросы отколупывают лепнину со стен барочных зданий. Просто от злобы — чтобы не было красиво, чтобы все стало ближе к земле, к алой глине творения. Нам неизвестно, чем закончится этот великий трагический космогенез, но каждый, кто вообще что-то способен знать, знает одно: все действительно важное начинается с грехопадения. Дионис видит свое отражение в зеркале, и в эту минуту титаны разрывают его на части. Есть точка невозврата, надкушенное яблоко, змий, распятый на кресте, сумрачный лес. После этого страшного опыта весь мир остается позади, неважно, Ленин ты или Аристотель, создаешь или разрушаешь, — все равно это уже другой уровень войны, теперь все серьезно. У тебя может обнаружиться золотое бедро, как у Пифагора, или, как у жреца Реи, Эпименида, бычье копыто с едой. Должно быть, и Ленин обладал множеством подобных предметов силы. Пока что мы обнаружили только одну сакральную девиацию, затаившуюся в самих текстах Владимира Ильича Ленина, — это удвоенный восклицательный знак.

Восклицательный знак на самом деле представляет собой не что иное, как женскую (прерванную) черту гексаграммы «И Цзин». Соответственно, каждые шесть восклицательных знаков в сочинениях Ильича являют собой гексаграмму «кунь» — «исполнение».

Посмотрим, что отвечает «Книга Перемен» на двоичные восклицания Ленина. При этом мы не будем брать в расчет одиночные восклицательные знаки, так как они не были спровоцированы демоническим агентом. Только двоичное восклицание, равное заиканию жреца во время чтения ритуальной молитвы (со всеми вытекающими последствиями), действительно имеет значение, свидетельствует о явной аберрации астральных токов.

В издании 1979 года работы «Государство и революция» впервые встречаем сакральный аффект двойного восклицания на странице 46:

Министры и парламентарии по профессии, изменники пролетариату и «деляческие» социалисты наших дней предоставили критику парламентаризма всецело анархистам и на этом удивительно-разумном основании объявили всякую критику парламентаризма «анархизмом»!!

Итак, у нас имеются две черты гексаграммы «И Цзин». Обратимся к древнему каноническому комментарию (1046—770 гг. до н. э.) первых черт гексаграммы «кунь»: «Выпавший иней может сразу же растаять под действием тепла, но он уже предвестник будущих морозов, когда появится крепкий лед и силы тьмы и холода проявятся в полной мере. Благородному человеку достаточно лишь намекать, чтобы понять, как ситуация будет развиваться в дальнейшем».

Силы тьмы и холода... уже выпал первый иней, но кто мог знать тогда, в 1917-м, о «будущих морозах»? Разве что Александр Блок?..

Как часто плачем — вы и я —
Над жалкой жизнью своей!
О, если б знали вы, друзья,
Холод и мрак грядущих дней!

Интересное наблюдение: непосредственно перед аффектом двойного восклицания в тексте Владимира Ильича увеличивается число слов, выделенных курсивом, а также единичных интонационных знаков; предложения все больше осложняются однородными членами.

Следующее парное восклицание находим уже на 48-й странице (что подтверждает выдвинутую выше теорию лавинообразности ленинских эксцессов):

Характерно тут только то, что, находясь в министерском обществе с кадетами, господа Черновы, Русановы, Зензиновы и прочие редакторы «Дела Народа» настолько потеряли стыд, что не стесняются публично, как о пустячке, рассказывать, не краснея, что «у них в министерствах все по-старому»!!

Недаром и мы обращаемся к «Книге Перемен». «По-старому» уже ничего никогда не будет, включая методологию науки. Что же говорит «Книга Перемен» по поводу вышеприведенного восклицания, которое соответствует третьей и четвертой линии?

По-прежнему довлеют силы тьмы. Опять требуется держаться в тени. По этому сказано: завяжи мешок, то есть скрывай свои качества. И хотя и похвалы тебе не будет, но и опасности ты избежишь.

Создается впечатление, что «И Цзин» в данном случае обращается напрямую к Ленину или к духу Ленина. Таким образом, наш герменевтический эксперимент превратился в спиритический сеанс. Воочию предстают все эти министерства, где торжествуют силы тьмы: господа Черновы, Русановы, Зензиновы. Следующее парное восклицание Ильича гласит: «Именно: эта формула истолковывалась так, будто и для партии революционного пролетариата вопрос о религии есть частное дело!!»

Дух Ленина уже вошел с нами в контакт и глаголет осмысленно, по делу. Посмотрим, что ответит «И Цзин». Комментарий к последним чертам знака «кунь»:

Любая попытка достигнуть большего приведет к переразвитию процесса. Тьма (дракон с желтой кровью) вступит в бой со Светом (дракон с черной кровью). Прольется кровь.

Интересно было бы узнать, какого цвета она была у Ленина. Предположим, что дракон с черной кровью — это «Черная сотня». А вот что говорит Ленин:

Отряды революционной армии должны тотчас же изучить, кто, где и как составляет черные сотни, а затем не ограничиваться одной проповедью (это полезно, но этого одного мало), а выступать и вооруженной силой, избивая черносотенцев, убивая их, взрывая их штаб-квартиры и т. д. и т. д.

Черный и желтый... первое, что приходит на ум, — герб семейства Гогенштауфен. Или своеобразная «цветовая азбука» Рембо, политическая: Ленин — желтый, Сталин — красный, Дуче — черный, Гитлер — коричневый, Кодряну — зеленый (зеленорубашечники Железной гвардии), а Мао Цзэдуна уже до нас растерзал Энди Уорхол. Настало время, когда во всем этом несложно запутаться, поэтому древний комментарий к гексаграмме «кунь» заканчивается следующим резыме: «Во время действий сил Тьмы благоприятна только лишь вечная стойкость».

--

--

--

--

--

--

!!! !!!

КУНЬ

24

Можно поджечь дом или разбить голову, можно стукнуть молотком по томику Платона; можно порвать страницу и выкинуть гербарий, развеять марки по ветру, чтобы никто никогда не получал писем; очистить углы от паутины, затолкать битое стекло в крысиную нору — запросто; купить бессмыслицу на распродаже, плюнуть в телефонную трубку, разрезать паспорт, постучать пальцем по столу, посмотреть вниз, вспомнить что-то...

Они сидели в кафе «Корибант и компания» на стульях с аналоговыми терморегуляторами. Гликерия все говорила что-то. Никак не могла остановиться: «Ты пассивный и нерешительный. Ты девочка, Арсик. Ты узколобый фанатик. Артур пришел и взял все сам без спроса. Артур носит хорошие ботинки. У меня будет ребенок от Артура, крепкий малыш, розовый носик, смешная пипка, агушка белобрысый. А ты инвольтировался — тыщ! У тебя харизмы нет. Что? Не так? Ты что-то возразил? Ты вздохнул? Тогда спляши на столе, если это не так!»

То чувство, когда крутишь педали, скатываясь под горку. Он прыгнул — в тот миг она еще произносила «ак!».

— Ак! — повторила Лика от удивления.

Арсений, сминая нехорошими ботинками салфетку, выделявал ногами антраша, в голове у него звучала музыка из балета «Петрушка»². Его попросили покинуть

² Павел Мамушкин, когда мы спорили, надо ли творческой личности вести себя сдержанно, заявил, что сам автор «Петрушки» однажды плясал на столе. Я решила проверить это и выяснила, что

заведение. Марс ловко спрыгнул, швырнул на стол смятые купюры и, приставив перст к ее вздорному носику, сказал: «Теперь ты пойдешь со мной, дорогуша!» Лика подала ему руку, они вышли на улицу и долго целовались под проливным дождем, вымокая слезами и каплями до тех пор, пока читатель не утонул в соплях.

— Видишь, — сказала Лика, — ты сидишь, ты уставился на салфетку, а Артур за просто бы сплясал. Все! Я пойду, прощай! Ты больше не back door man.

Спустя час, когда рыжая официантка забирала чаевые, Марсель, схватив ее за руку, сказал так: «Все существа приходят в этот мир в одиночестве. И так же его оставляют. Всю свою жизнь они одиноки в своих страданиях. В сансаре нет друзей». — «Ак!» — икнула в ответ официантка.

25

Лика болела в нем во всех падежах:
 Кто? Что? Лика
 Кого? Чего? Лики
 Кому? Чему? Лике
 Кого? Что? Лику
 Кем? Чем? Ликой
 О ком? О чем? О Лике

Через неделю он услышал ее голос в телефонной трубке: просила помочь дотащить чемоданы до поезда. Артур увозил ее в Москву. Сумок было очень много. И ведь надо же было попрощаться, наверняка Марсель хотел бы еще раз взглянуть на нее, не так ли?

Она срезала пейсы, потому что Артуру они не нравились, она вынула из глаз улыбчивые линзы, куда-то делась красная кофта с надписью «Жизнь прекрасна». Наблюдая, как Лика собирает вещи, Арсений дивился самому себе, ведь скорая и неминуемая пропажа этого хлама из его жизненного мира огорчала его ничуть не меньше, чем уход самой Лики. Она была всего лишь одной из милых безделушек, говорящая и чувствующая кукла, способная улыбаться одной стороной рта, выделять всякие штуки, плакать, обижаться, стонать от удовольствия, раскладывать и складывать хлам, возвышаясь над ним капризной марципановой принцессой. Арсений встретил ее пятнадцатилетним мальчиком, карманы которого были набиты пубертатным барахлом: пузырьками галлюциногенного сиропа и брусками лыжной смазки. А теперь, спустя два года, провожая на вокзал эту двадцатидвухлетнюю женщину и ее любовника, Арсений не понимал, почему до сих пор не посидел с горя, ведь на месте его пышной бахчевой любви валялась объединенная корка. С чем оставался Марсель? С пикой в сердце и протопланетной туманностью в голове. Он вынул из кармана состриженные пейсы, прижал к лицу и внюхался: «Полмира в твоих волосах, а другая половина заключалась в тебе самой, но вот ее срезали, как срезают

Стравинский писал о настольных плясках Жана Кокто: «Знает Бог, как неотразим был Жан, когда, например, за обязательным ужином после „премьеры“ он начинал танцевать на столе в ресторане». Тогда я предположила, что Павел, когда-то давно прочитав эту заметку Стравинского, затем перепутал танцоров и запомнил так, что выплясывал сам Стравинский. В ответ на мои аргументы Мамушкин сослался на некое интервью Владимира Мартынова, в котором тот якобы говорит о столовых танцах Игоря Федоровича. (Прим. Ветошницы)

черный отшибленный ноготь. Что осталось? — красное пятно, раздавшееся во весь оком, закат над пропастью, пульсирующая жуть», — подумал Арсений и прошелся нетвердыми ногами памяти по страницам, посвященным Лике, но тотчас упал, закружившись головой, потому что хоровод событий безвольно погибал в чем-то девственно-красном. Это была первая и последняя страница, средняя и третья с середины, а также пятая и седьмая с конца и настолько цветная, что школьники могут использовать ее на уроках изобразительного искусства.

В таксомоторе словно нарочно нашлась к случаю песенка про кондуктора, который, начитавшись Пико делла Мирандолы и других гуманистов, не спешит, не выставляет провожающих вон, ведет себя не как средневековый хам, но поступает галантно, ведь лирический герой навсегда прощается с дамой. Марсель уже давно заметил, что мир стал ехидничать с некоторых пор, словно за Арсением кто-то принялся наблюдать, порой выдавая себя шутивным шорохом. Вот и Нешопенгауэр, сидевший теперь на задних сиденьях с Ликой, оказался чертовски похож на молодого Шопенгауэра. Артур и Лика смеялись над уместностью песни: «С девушкой я прощаюсь навсегда!» — дурным голосом передразнивал Артур нытье исполнителя. Даже таксист дебилно ухмылялся.

«У вас родится мальчик, но будет похож на меня», — заявил Марсель Артуру, когда тот отдавал билеты и паспорта проводнице. В ответ Артур иронично усмехнулся и сказал: «Я не верю в телегонию». Арсений удивился, что Артур знает такие слова и сделал мимический жест, отвечающий изумлению. Заметив это, Артур возжелал полюбоваться производимым эффектом и продолжил: «Это устаревшая и опровергнутая биологическая концепция». Арсений ничего не ответил, он хотел обнять на прощание Лику, но та с улыбкой отстранилась: не надо. Слезы навернулись Арсению на глаза, когда Гликерия, быстро махнув рукой в окошко, отвернулась и деловито заговорила о чем-то с Артуром; потом она и вовсе исчезла в недрах вагона. Артур послал Марселю воздушный поцелуй сквозь стекло, поезд тронулся и вежливо удалился. Арсений минуты две глядел вслед составу. По платформе брел гражданин в желтом жилете, влача тюк с ерундой. Марсель подошел к нему и сказал, положив ему руку на плечо: «В сансаре нет друзей». Ерундист не нашелся ответить. Затем, нащупав в кармане жука-самурая с клешнею краба, Марс отломил ему голову, и тотчас в своей постели под щебет канареек умер Костыль.

Марсель пошел дальше — в город — за вермутом — за сигаретами — ибо все было кончено, ведь как только соблазн покинул его, Марс осознал никчемность своих монашеских потуг: он хочет жить, видеть, испытывать. Он понял вдруг, что сам себе лгал, что желает быть живым, живым и только, понял как раз тогда, когда жизнь уехала от него в плацкартном вагоне. Придется все начать сначала! «Жить, заблуждаться, падать, торжествовать, воссоздавать жизнь из жизни», — вспомнил Марсель фразу не прочитанного им романа, напившись уже из горла густого вермута. Грустный солнечный сентябрь, словно песенка школьника, пыльно сверкал; щеголеватые первоклашки восторженно бежали навстречу грядущему, как мыши из русского языка. «Вот кровь-то молодая!» — подумал старый, семнадцатилетний Марсель вслед девчачьему банту. словно губы в вермут, Арс окунул себя в этот проспект — вполне шизофреническую улицу с двойным названием: Большая Дворянская/проспект Революции. Навстречу Марсу двигались сумки да мешки — с Ветошницей в середине, со злобной старушенцией. Марсель подошел к ней, положил руку на ветхое плечо и сказал так: «Все существа приходят в этот мир в одиночестве. И так же его оставляют». Старуха ничего не ответила, но высунула черный язык.

26

Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить.

Мог ли знать Марсель, что я, автор этих строк, теперь сидящий здесь, в крымской степи на взморье, ехала тем же вагоном (на боковой полке возле туалета) и, более того, тем же поездом? Не мог. А ведь было именно так: я стремилась в Москву, чтобы отчекрыжить и присобачить. А беззаботная Лика читала тошнотворного Сартра и причмокивала от удовольствия, не обращая внимания на соседей. Артур напился уже пива и спал беспробудно, как мертвый. Но вскоре, отвлекшись от книжки, Гликерия заметила меня. Потому что я выглядела блестяще: на присвоенные денюжки папика я купила добротную твидовую тройку, вдобавок подстриглась под лондонского джентльмена и аккуратно подрисовала себе тонкие усики таблеткой активированного угля. Сияя лакировкой новеньких оксфордов, я распивала бутылку «Jack Daniel's» в компании щетинистого газосварщика. Лика не могла оторвать глаз от меня — все глядела и глядела, так что вскоре мне стало неловко и я предложила ей составить нам компанию. Быстро опьянев, эта *femme fatale* принялась травить такие пошлые анекдоты про своего бывшего парня, что соседствующие тетеньки смущенно попрятались в кроссворды; мне захотелось проучить чертовку. И вскоре нашлась такая возможность: ибо Лика в скором времени так набралась, что потащила меня в туалет, где стала раздевать. Я не сопротивлялась, внутренне смеясь и ликуя. Дорога появляется, если ее протаптывают люди; одна молния не делает грозы, другая не дает повода; что касается меня, то никогда раньше я не видела такого ошеломленного лица! Сидя на корточках, она глядела снизу вверх, ничего не понимая; из туалетной дырки несло сентябрьской свежестью, дождик плакал в приоткрытое окошко, бумага закончилась. Я погладила Лику по голове, не стесняясь аллитераций, и, приподняв ее личико за подбородок, тихо молвила: «Поедешь на завод Михельсона, дура ушастая!»

27

Подходит к концу время этого романа, приближается «магическая дата», когда поросенок уступит место крысенку. Но не спешите выдыхать с облегчением, не спешите отворачиваться, ведь чаще спотыкается тот, кто всегда смотрит вперед. Может быть, вы думаете, что современность — это белая комната с экраном? Или идеально гладкие поверхности? Или выбритые гениталии, увеличенные до размеров Везувия? Но ведь все эти ваши зеркальные дома, розовые пятки, идеально ровные пузырьки воздуха в трубке капельницы, точная геометрия фракталов — все это тоже потрескается и покроется мхом, пылью, плесенью, патиной, корой и коростой. Поэтому вам, гладким и четким, одномерным и выверенным, не одержать победу: вы тоже будете процветать могильным вереском, анютиными глазками погостов, вы обветшаете, обморщитесь, пойдете рябью, а кожа ваша станет гусиной. Мы — служители надреза, шва, изнанки — выбираем не сердце, но аппендикс! — и подкидываем камешки в ваши ботинки, заставляем перечитывать страницы, спотыкая героя и выморачивая героиню: они не полюбят друг друга и даже не сыграют в вист, но смастерят стеклянную игрушку из вашей дрессированной псины, а затем опрокинут елочку.

Марсель зашел в квартиру и тотчас предстал, горемычный, перед самим собой, а ведь Линь сто раз просил подальше убрать отражение от входной двери: не фен-шуй. Из маминой комнаты доносились хрипы. «Снова затеяла спектакль», — подумал Арс. Войдя в комнату, он увидел, что мама пускает изо рта алую пену, лужа слюны и рвоты скопилась возле кровати. В луже Марсель заметил кусочки непереваварившихся сарделек. Чтобы подтвердить наблюдение, Марс проверил холодильник: и впрямь — сардельки. Хрипы возобновились. Марсель вернулся в комнату. На этот раз он заметил два порожних пузырька настойки боярышника, они стояли на журнальном столике возле тома «Говорливых берегов» Владимира Владимировича. «Ты не переигрываешь ли?» — спросил Арсений, когда мама закатила глаза и стала бессмысленно перебирать в воздухе скрюченными пальцами. «Хватит уже ломать комедию!» — раздражился Марс и положил маме на лицо подушку, а другой прикрыл зловонную лужу. Вдруг стало спокойно, тихо и благообразно. Марсель решил прогуляться, тем более что погода была отличная, в розовом небе резвились неугомонные стрижи, деревья занимались фотосинтезом.

Ноги несли его на север, в сторону пустыря, по направлению Иглы. Он вошел в пыльную тишину бетонного запустения, благостного, меланхоличного. Никого здесь не было: мусорные мальчики вымерли, нацисты и сатанисты стали таксистами, бездомные старики превратились в жухлую ветошь, развеялись, ушли к чертовой бабушке, а вот и она сама, кстати говоря. Из дырки в полу сначала вылетели сумки, затем сохлые руки уцепились за края, нога в драном фиолетовом чулке вскарабкалась. И вот вся Ветошница вылезла наконец и со словами «Не просто душить, а живьем!!» бросилась на Марсея.

— Не просто душить, а живьем! — завопила старуха.

Бессмысленно улыбаясь и кивая головой, она стала приближаться к Арсению. Он попятился назад и чуть было не угодил ногой в широкую щель. Ветошница порылась в первой сумке, вытащила птицу и выпустила ее в Марсея. Из второй сумки старуха достала пригоршню песка и сдула ее с ладони в Арсения. Из третьей сумки она достала бумажный кораблик, и тот полетел самолетиком, скомкался в воздухе и разбился снежком у Марса под сердцем. Из четвертой сумки Ветошница достала зеркальце и стала лепить Арсения солнечным зайчиком, смеясь. Арс отступал. Из пятой сумки старуха достала водный пистолет и выстрелила в Марсея струей томатного сока. Она сдернула грязную косынку и махом головы распустила волосы: те стали седым дыбом, щекоча железную трубу под потолком, словно намагниченные. Марсель побежал от Ветошницы вверх, миновал десятый этаж, успев заметить, что пол здесь особенно густо занесло песком; стал спускаться по второй лестнице, но старуха опередила его и теперь стояла на пути, подбоченившись.

— Ах вот ты где, поросенок! А ну марш на блокпост! — воскликнула Ветошница.

Марсель поднял кирпич и запустил им в старуху, но тот разбился об нее, раскрошился, как пирожное «Мадлен». Ветошница усмехнулась и согнула руку, как бы в шутку демонстрируя мускул. Потом она залилась визгливым смехом, поднесла большой палец ко рту и сделала неприличный жест, одновременно давая языком в щеку, как если бы у нее что-то не помещалось во рту. Затем она еще раз взвизгнула и стала быстро дергать обвислую кожу на шее, выпятив губы трубочкой. Она дергала все быстрее, пока с губ не потекла слюна, похожая на яичный желток. Ветошница плюнула в Марсея и попала ему в глаз — тот перестал видеть. Марсель бросился бежать, но споткнулся. Ветошница порылась в сумке и достала пачку сигарет «Иакофф». Закурив, она запела грустным маминым голосом:

Ми-и-иленький ты мо-ой,
 Возьми-и меня с собо-ой,
 Там, в кра-аю да-алеком,
 Буду тебе сестрой.

Потом Ветошница закрыла рот, но мамин голос продолжал звучать — из радиоприемника: старуха уже вытащила его и поставила на ступеньку с черной свастикой. Затем вынула подушку и стала душить приемник. Марсель отвернулся и побежал прочь, но все равно услышал его хрипы.

Нина висела над пропастью: одной рукой она держалась за мост Самоубийц, а другой, опустошая карманы коротких шортиков, рассеивала маковые семена. Марсель бросился к ней, протянул руку и ухватил ее за... но сестра оскалилась тыквой Хеллоуина и превратилась в стопудовую гирию, которая повлекла Марселя в бездну. Перевернувшись в полете, он заметил огромную пасть Ветошницы и растянутый метровым дуплом зев. Арсений низвергся в кратер Иглы. Подвижные панели проходили сквозь него, поднимаясь и опускаясь, — сквозь него, как сквозь водопад, проходили призраки мусорных мальчиков и злые крысы. Нина висела над пропастью: одной рукой она держалась за мост Самоубийц, а другой, опустошая карманы коротких шортиков, рассеивала семена держидерева. Марсель подбежал к ней и ухватил ее за... но сестра оскалилась тыквой Хеллоуина и превратилась в стопудовую гирию, которая повлекла Марселя в пропасть. Арсений низвергся в кратер Иглы. «В горня! В горня!» — шептал Марсель, падая долу. «В горня! В горня! В лоно Авраамово!» — голосила Ветошница, вперив в падающего безумно выпученные глаза.

Марсель падал, а Ветошница швыряла следом рухлядь, отходы и всевозможный скарб сущего: отравленную заварку, оловянных солдатиков, пластмассовых мутантов, прессованные блины китайского чая, арбузные корки, вырванные с мясом пейсы, зеленые подтяжки, алые восьмиклинки, пузырьки сиропа, бруски лыжной смазки, расхристанный томик Джойса, изодранный альбом Босха, столетние яйца, яйца *тунцзыдань*; Ветошница бросила пригоршню прозрачных червяков, две катаракты, три стеклянных глаза, горсть ядовитых гусениц, сотню шприцевых колпачков, красное полотенце, прекрасную жизнь, пачку открыток с акварелями Волошина, пачку сигарет; Ветошница высыпала коробку запятых, коробку восклицательных и вопросительных знаков, набор кириллических шрифтов, дохлую ворону; бросила в пропасть несколько лет чей-то жизни, Ветошница потрясла нотную тетрадь, и не написанная еще «Красота» Настасьи Хрущевой осыпалась нотами вслед Марселю, восклицая на лету: «Тихо и по одному исчезаем мы во мглу. Страшно даже самому. У-у-у-у!!», за музыкальной композицией последовали чьи-то пастиши, «Говорливые берега» Набокова; VHS-кассета со «Сталкером» Тарковского размотала свою ленту, и та медленно поплыла вниз вычурным фракталом; затем Ветошница вытряхнула длинное покрывало, грамм гашиша, букет пионов, полкило сливочного масла, кирпич, крысиные кишки, кусок поребрика, дырку мусоропровода, женскую туфлю тридцать шестого размера, кровоточащий нос; десять отсеченных фаллосов, извергая семя, полетели вниз, за ними последовал похотник; полетели разномастные хрипы, стоны и коллекция зажигалок, учебники, тетради, баллоны с краской, ваджры, партитуры, мольберты, выbleванные сардельки, бейсбольные биты, беззастенчивые заимствования, жеванные жвачки, записки, красные и зеленые мячики, сотни фишек, тысячи наклеек, армия солдатиков; Ветошница вытряхнула диалоги, иллюстрации, семена держидерева, коlob на палочке, портрет Вейсгаупта, лингам, русско-украинский словарь, черепа, улыбки, пластинки, собаку Цзя, зародыш,

ВИЧ-инфекцию, усы Юденича, крест Деникина, плетку, сапожищи; следом полетели вычурность с претенциозностью, а за ними тупость читателя и его сонная одурь с пятерницей небольших грешков, как то: зевки, страничные загибы, пятна кофея, листания и забывания; старуха вывернула панегирики литературных критиков, вслед полетел пузырек со слюною злопыхателей — вот этот перечень вещей, сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, пронумерованный и заложенный в учебник логики, полетел вниз, посыпались конъюнкции, дизъюнкции, лента Мёбиуса, материя, форма, энергия, дюнамис и энтелехия; принцип индивидуации — манерный содомит — выпал изящно; априорные формы чувственного опыта, промаргиваясь спросонья, выпорхнули из сумы, а за ними — свет разума и ножка стула в обнимку с пристяжным фаллосом; в шахту низверглись: прямая кишка, рамена, ботфорты, улыбочивые контактные линзы; полился чай, выплеснулся чифирь, выбрызнулись все три логоса; затем полетела раздробленная пятка, буханка, иероглифический «Капитал», Мартышкины груди, груди красавицы Ли, сумерки, ведро, красная фольга, нарисованная улитка; синий попугайчик, выпорхнув изо рта Ветошницы, устремился вниз. Что полетело за ним?

Сорок за ним кораблей, под дружиною, черных примчалось.
В Аргиссе живших мужей и кругом населявших Гиртону,
Орфу, широкий Элон, белокаменный град Олооссон, —
Сих предводил Полипет, воеватель бесстрашнейший в битвах,
Ветвь Пирифоя, исшедшего в мир от бессмертного Зевса,
Сын, Пирифою рожденный, женой Ипподамией славной,
В самый тот день, как герой покарал чудовищ косматых:
Сбил с Пелиона кентавров и гнал до народов эфиков.

Сандалия с раздавленной гусеницей на подошве упала на лицо Марселю тяжелым кирпичом, проломила переносицу и череп, красным цветком пронзила мозг. Исхудали сумки Ветошницы, ничего там не осталось, но старуха достала из-за пазухи потайной узелок, развязала и потрясла: в шахту полетела тень дельтапланериста — приближаясь к земле, тень чернеет, сужается, и вот Марсель Арсений Марсик Арсик Марс и вся ветошь мира повергают автора, когда тот, Аким-Простота, заканчивает роман.

К О Н Е Ц

**О семантическом пантеизме:
символ веры вместо послесловия**

Текст есмь Альфа и Омега, он творец всего видимого и невидимого, им же вся быша. Нельзя взглянуть на слово родного языка так, чтобы тотчас не прочитать его: слово само зазвучит в сознании, сопротивляться этому невозможно. В здравом уме не получится смотреть на слово как на китайский иероглиф. Более того, такие части семиотического океана, как, например, созданный природой в скале профиль Максимилиана Волошина, немногим отличаются от письменной речи.

И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой —

судьба, ветер или вулканическая лава, выплюнутая из недр в мезозойскую эру юрского периода, равно причастились единому тексту-творцу, вне которого всего этого просто не существует. Только язык делает ветер ветром, судьбу судьбой, а научные открытия научными. И если Деррида, Кант и все иудеи утверждают, что нельзя спастись бегством из семиотической = мировой = категориальной тюрьмы, то буддисты и гностики призывают к этому бегству и пытаются радикально деконструировать Текст и его архонтов. Наивный ум задается вопросом, есть ли здесь мистика и что первично, скала или поэт Волошин, но семиотический гностик-пантеист знает, что все это досужие разговоры. Суть не в том, чтобы познать первичное, но в том, чтобы осознать все как текст, а потом выйти за его пределы — к сиянию иного Бога, стоящего за пределами Текста. Удивительно, что смерть не дает нам такой возможности: смерть — только лишь часть текста. Вспомним последнюю сцену «Безумного Пьеро» Годара: смерть — это ряд цветовых эффектов, ряд жестов, и в конце концов смерть становится частью настроения, которое всегда есть только тень какого-то текста. Ведь настроения не принадлежат кому-то, они переживают сами себя в безмерном пространстве космического текста. Нам не поможет и тишина, 4:33 нам не поможет, потому что тишина — это только пробел между знаками. Бог есть заглавие, Адам — буква, боль — восклицательный знак, судьба — вопросительный, душа — это разлинованная белая страница с чернильной кляксой в форме гусеницы, опьянение — ряд скользящих аллитераций, а секс — всего лишь ритмизация повседневной прозы.

Анастасия ЛУКОМСКАЯ

ВЕСНА

Весна не может просто, без депрессий
И эйфорий, срывающихся в слезы,
Сто раз на дню ты пьян, печален, весел,
Потом — в отключке, словно под наркозом.

В ней полнота эмоций настоящих,
Озноб и вечно мокрые ботинки,
Сегодня — плющит, послезавтра — тащит,
Потом — капец, и таешь ты, как льдинка.

И снова радость, свежая, как воздух,
По-петербуржски влажный и холодный,
И запахло сейчас об этом прозой
Изящной, бренной, да какой угодно.

Такой ништяк, что хочется влюбляться,
По тротуарам прыгать, как девчонка,
Нырять в потоки звуковых вибраций,
Галлюцинаций, но иного толка.

Но это вряд ли. Дважды не бывает
Той настоящей, чистой эйфории.
Весна же в курсе, вот и накрывает
Нас самой грустной, сладкой ностальгией.

О ВСЕЛЕННОЙ

Бесконечность равна нулю.
Бесконечность равна нулю.
В пустоте миллион вселенных.
Все — как наша, обитель пленных.
Не люблю.

В пустоте мириады нас.
В пустоте мириады нас.
Полузвезд или полупыли.
Нас зажгли, а потом забыли.
Свет погас.

Анастасия Ильинична Лукомская родилась в 1989 году в Москве. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар Сергея Арутюнова). Публиковалась в альманахах и сборниках. Автор сборника стихотворений «Стихосоматика». Лауреат фестиваля «Мцыри». Победитель конкурса на лучший перевод стихотворений Федерико Гарсиа Лорки. Живет в Москве.

Ноль и вечность — всегда одно.
Ноль и вечность — всегда одно.
В сколько раз ее не умножишь,
Но ни меньше она, ни больше.
Все одно.

Подскажи, как тебя найти.
Подскажи, как тебя найти.
Для галактики мы — только точки.
Между нами — ее оболочка.
Нет пути.

Если вечность равна нулю,
Если вечность равна нулю,
Сделать шаг — и почти с тобою,
Запрокинув глаза в земное,
Я люблю!

* * *

Бьется жизнь и велит тебе биться,
Рушить стены в своей голове,
Выходить за сознанья границы,
Каждый раз выбирать бытие.
Жизнь стремится на свет вылупляться,
Вырастать из себя вновь и вновь,
Ощущать миллионы вибраций
И рождаться, как мысли из слов.

Есть и смерть, что велит тебе сдаться,
Поджидает она за спиной,
И как только начнешь замедляться,
Заслонит она взор пеленой.
Шепчет смерть, словно капает ядом:
«Ты не справишься, это провал!
Не пытайся, не делай, не надо!» —
И неслышно встает за штурвал.

Этот выбор, такой субъективный,
Происходит в тебе каждый миг,
То ли смерти отдаться пассивно,
То ли жизни изведать родник.
Каждый раз ты решаешь вернуться,
Потому что не знаешь пути,
Или в новую жизнь окунуться
И с улыбкой себя превзойти.

* * *

Сколько задач конфликтует
В бедной моей голове,
Дай мне таблетку от сует,
Я не привыкну к Москве!
В панике скорого краха
Я не хочу ничего,
Дай мне таблетку от страха,
Дай мне забыть про него!
Чтобы не спрятали в клетку,
Легче всего быть одной,
Дай мне такую таблетку,
Чтобы любить все равно!
Кто-то хотел бы полцарства,
Мне же они ни к чему,
Дай мне такое лекарство,
Чтобы не кануть во тьму!
Тянет совсем запереться,
Пусть не узнают друзья,
Дай мне волшебное средство,
Чтоб не бежать от себя!
Сверху наложено вето
На нелегальные сны,
Дай мне таблетку от этой
Неизлечимой весны!

* * *

Моя печаль безвыходно светла,
Привет-привет, еще одна весна,
Сквозь оболочку мутного стекла
Я поднимаю мир к себе со дна,

И он в ответ мне говорит: привет,
Неизменный, чистый и родной,
Он узнает во мне знакомый свет,
А я с его сливаюсь глубиной.

Привет-привет, еще одна весна,
Что ты покажешь мне на этот раз?
Я снова здесь, проснувшись ото сна,
В твою вживаюсь теплое сейчас.

Я не боюсь, не любит — ну и пусть,
Открой мне двери в детское хочу,
Чтоб было да, я точно не боюсь,
Как будто что-то мне не по плечу.

Открой мне свет, что лечит изнутри,
Я пронесу, я выправлю миры,
Ведь наверху просили — повтори,
И мы изменим правила игры!

* * *

От усталости бред ностальгический,
Сверху музыки капает ритм.
Улыбаюсь почти механически
И пускаю струящийся дым.

Бармен смотрит спокойно-приветливо,
Я смотрю, как сквозь пленку стекла.
Мне уютно и все фиолетово,
Мини-отпуск от слова «дела».

Я теку в рок-н-ролл, как амфибия,
Он несет меня в прошлое грез.
Не считается, сколько я выпила,
Чтобы рай вспоминался до слез.

Монолог из потока сознания —
Так течет безобидный планктон.
Мне сегодня не надо внимания,
Я хочу вспоминать сладкий сон,

Дежавю, как котенка, подкармливать
Вкусом виски, таким, как тогда,
И во рту холодочек рассасывать
Нерастаявших кубиков льда.

Константин КОМАРОВ

* * *

Завершившие дело часы
прячут стрелки, как ствол в кобуру.
Дни скулят, как побитые псы,
и хромают в свою конуру,

где их ждет невесомая кость,
«Педигри» и другая фигня.
Сновидений серебряный гвоздь
ночь по шляпку вбивает в меня.

Прячет тайны сознания тайга,
как кладовка — печальных детей.
А проснешься — сплошные снега
и ячейки воздушных сетей.

И опять гиблой жизни не скрыть,
словно скатерть — за край со стола.
Так перо псевдоангельских крыл
с голубиноного льется крыла.

Так за князем шатается казнь
и резиною пахнет резня.
Боже мой, только смертью не крась
этот утренний новый сквозняк...

* * *

Подняв свое измученное тело,
как из капкана вылезшая мышь,

Константин Маркович Комаров родился в 1988 году в Свердловске. Поэт, литературный критик, литературовед. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук (тема диссертации «Текстуализация телесности в послереволюционных поэмах В. В. Маяковского»). Автор литературно-критических статей в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Лонг-листер (2010, 2015) и финалист (2013, 2014) премии «Дебют» в номинации «эссеистика». Лонг-листер поэтических премий «Белла» (2014, 2015), «Новый звук» (2014), призер поэтических конкурсов «Критерии свободы» (2014), «Мыслящий тростник» (2014). Участник Форума молодых писателей России и стран СНГ в Липках (2010, 2011, 2012, 2014, 2015). Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Бельские просторы», «День и ночь», различных сборниках и альманахах, на сетевом портале «Мегалит», в антологии «Современная уральская поэзия» и др. Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живет и работает в Екатеринбурге.

по Малышева шляясь ошалело,
ты думаешь: все кончено, малыш...

Не поняли тебя, не оценили,
прогнав метафизическим пинком...
В унынье ты заходишь в пиццу мию,
заказываешь крылышки с пивком...

И ешь, и пьешь, и пожинаешь лавры
беспечного похода напролом,
и веришь в то, что не ошибся в главном,
и брошенному Богу бьешь челом...

Но на пустой стакан нахмутив брови,
себя одернешь в нужном падеже:
ты столько лет по Малышева бродишь,
свернул бы на Восточную уже...

* * *

Они такие люди,
полно таких людей,
они девичьи груди
кольшут без затей.

Ты к ним придешь с бутылкой
и станешь танцевать,
истопчешь все ботинки
и свалишься в кровать.

Проснешься, ополоскан,
как стайей мотыльков,
почти что вавилонским
смешеньем языков.

И, выгнанный наутро,
ты выгонишь нутро
в заплеванную урну
у ближнего метро.

Пойдешь своей дорогой,
она пойдет тобой —
насмешливой, убогой,
беспочвенной судьбой.

И будет то, что будет —
не воля, не покой.
Они — другие люди.
А ты им кто такой?..

* * *

Хотелось мне во все вселяться,
любую ипостась трясти,
но эта дикая всеядность —
не есть высокий артистизм.

Так много масок в мире оном,
и на любой из них — хитин,
но просто быть хамелеоном,
когда ты сам — невоплотим

в свою возможную, немую,
неодинаковую плоть,
как строчка — в линию прямую,
которую не побороть.

Но я от этого — оттерся,
чужие звуки — бью под дых
и удовлетворен — актерством
на гиблых сценах проходных,

где реплики воняют кровью
и монолог висит соплей;
и если я себе не ровня, —
то поравняюсь хоть с землей —

бугристой, мокрой и неровной,
следящей пристально за мной.

ЯСОН УСНУВШИЙ

Бывает благодатный сон —
измученному духу яство —
подобным сном уснул Ясон,
ему уже все было ясно.

Он сделал все. И ничего
не предъявлял судеб сплетенью,
сам, как родной его «Арго»,
став только остовом и тенью.

Свет златорунный годы тьмы
закрыли. Этой тьмой влекомый,
Ясон уснул в тени кормы,
до каждой трещинки знакомой.

День раскалялся добела,
но не колхидские метели,

а только детские тела
у неподвижных ног Медеи

истмляли мозг. И тишина
накрыла Истм с головою.
Смерть деревянная одна
пришла воздать свое герою.

И вниз низринулось бревно,
понять ли — въяве или снится...
Душа же умерла давно
под той проклятой колесницей...

* * *

Так воет один в поле воин
на лунных лучей вермишель,
так в тире тире пулевое
связует стрелка и мишень.

Но ты продолжаешь смерть — тайно —
впускать в свои гулкие сны,
что будут потоком сметанным
дневным навсегда сметены.

Лежит за оврагом коврига,
стоит за ковригой овраг,
и неперечтенную книгу
ласкают ворсинки ковра.

Струится ночная аллея,
метет ледяная пурга,
и путник целует оленя
в его золотые рога.

И тянет, как пьяниц к спиртному,
как самоубийцу в окно,
вещать, что по мозгу спинному
идет нефтяное пятно

нечаянной вечности вздорной
и непогрешимой любви —
в дыханье расплавленным вздохом
ты их, если можешь, лови —

в потоке раскаяний мутных,
в печальной и дикой мольбе,
и Бога смотри, словно мультяшник,
приснившийся в детстве тебе.

Александр РЫБИН

В ПОИСКАХ ОСТРОВА ДИЛЬМУН

Повесть

Дед Мороз стоял в спортивном зале школы перед окном. У стены на скамейке его мешок с подарками и волшебный посох, обклеенный блестящей мишурой. За окном густо сыпал снег. Пейзаж от этого размыт, оттенки бледны.

По краям центральной площади поселка глубокие сугробы, через них протоптаны узкие тропинки, в центре ее — живая, украшенная пластмассовыми разноцветными шарами и гирляндами ель. За площадью крашенные в бледно-голубой (очень давно крашенные) панельные пятиэтажки под остроконечными крышами. Выше них пологая, затянутая тайгой сопка. Выше сопки только серое, сыплющее снегом небо.

Дед Мороз был в спортзале один. Длинная седая борода, красная шапка, из-под которой выбивались седые кудри, красная длиннополая шуба, обитая по краям белым мехом, на ногах серые валенки на литой резиновой подошве. Руки он заложил за спину. Тихонечко свистел сквозняк в верхней части окна, под потолком. Через середину зала натянута волейбольная сетка.

В открытую дверь вбежал школьник, шестиклассник, обряженный в костюм обезьяны — позади вяло болтался коричневый хвост, — и, запыхавшись, протараторил: «Александр Сергеевич, пора, вам выходить». Дед Мороз быстро развернулся, взял посох и мешок и тяжело (литая подошва по деревянному полу) зашагал вслед за шестиклассником.

В актовом зале вокруг искусственной елки водили хоровод перво- и второклассники. У мальчиков костюмы пиратов и разбойников, у девочек — принцесс и золушек. Вдоль стен на стульях сидели родители. С микрофоном Снегурочка-старшеклассница в голубом блестящем наряде до колен, черных ажурных колготках и красных туфлях на высоком каблучке. «Ребята, а вот и Дедушка Мороз! — сказала она. — Давайте попросим его зажечь нашу елочку». На каждый шаг Дед Мороз отстукивал посохом по полу. «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки! С Новым годом, с Новым годом поздравляю всех детей. Поздравляю всех детей, поздравляю всех гостей», — он обходил елку вокруг. «Дедушка, посмотри, — обращалась к нему Снегурочка нарочито обиженным тоном, — праздник у нас не получается. Огоньки на елочке не горят. Ты же волшебник, наколдуй так, чтобы ярко засветилась она,

Александр Сергеевич Рыбин родился в 1983 году в г. Кимры Калининской области. Окончил филологический факультет Тверского университета. Работает фриланс-журналистом. Первая публикация — в журнале «День и ночь» в 2008 году. Лонг-листер премии «Неформат», Бунинской премии и премии имени В. П. Астафьева (2008). В 2012 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» с повестью «Современный кочевник». До отъезда в ЛНР жил во Владивостоке. Публиковался в различных литературных изданиях.

НЕВА 7'2016

чтобы радовать детишек». — «А хорошо ли они учились в завершающемся году?» — Дед Мороз строгим тоном, внимательно смотрел на детей. «Очень хорошо. Хочешь, проверь их». — «Сейчас проверю. Есть у меня для вас испытания. Да не простые, а задорные-смешные. Готовы вы к испытаниям?» — «Да-а-а», — вразнобой отвечали дети. Родители фотографировали происходящее на мобильные телефоны — мигали вспышки. Один из второклассников отбежал к маме — та поправляла ему костюм пирата, одергивала сбившуюся в складки безрукавку и съехавшую назад саблю. «Сейчас проверим, хорошо ли вы умеете считать», — продолжал Дед Мороз.

Александр Сергеевич сидел в кабинете директора школы. На ногах все те же валенки. Шуба Деда Мороза расстегнута. В руках седой парик и борода. Директор — женщина около пятидесяти лет, в бледно-синем платье. Александр Сергеевич смотрел на свои валенки. «Вы подумайте все-таки, — обращалась к нему директор, осторожно улыбалась, руки, сцепленные в замок, на столе, под ними различные бумаги с отпечатанными текстами. — Дети к вам очень привыкли. Ваше увольнение сейчас у всех вызовет затруднения. Подумайте, может получится дотянуть до конца учебного года». На стенах кабинета дешевые репродукции морских и горных летних пейзажей. Единственный шкаф со стеклянными дверцами, на его полках подарочные сервизы. Александр Сергеевич — ему чуть за тридцать, впалые щеки, чисто выбрит, волосы средней длины зачесаны на пробор, через весь лоб три глубокие горизонтальные морщины — перевел взгляд на один из сервизов. Читал дарственную надпись: «Средней школе поселка Янталь за активное участие в культурной жизни Усть-Кутского района». Вздыхнул и посмотрел на директора: «Вы поймите, Елена Михайловна, если бы получалось дотянуть до конца учебного года, я бы даже разговоров про увольнение не заводил. Не получается. Сейчас надо. Таковы обстоятельства». Елена Михайловна опустила глаза к бумагам: «Как знаете. Но я прошу все-таки подумать».

Вечером Александр Сергеевич гулял с сыном Арсением. Они шли по утопанной дорожке к деревянной лестнице.

Поселок целиком умещался на склоне одной сопки — панельные и кирпичные пяти- и трехэтажки, кирпичные здания школы и детского сада, парикмахерская, дом культуры и администрация стояли короткими рядами друг над другом. Деревянные лестницы вели от одного ряда к другому — от одной улицы к другой. Александр Сергеевич спускался с сыном по лестнице к детскому саду — за ним, ниже, главная горка поселка: школьники и детсадовские дети с родителями, визги, крики, санки, лежанки, надувные круги-«плюшки» и самокаты. Снег, начавшись рано утром, продолжал идти.

Внизу склона, «под поселком», автомобильная и железная дороги, за ними изгибающаяся полоса замерзшей реки Куты, а за ней чернели сопки. Автомобили изредка проезжали по неосвещенной дороге, отмеченные желтоватыми или красными огнями фар.

Чуть в стороне от поселка — в ложбине между двумя сопками — леспромхоз, обильно освещенный прожекторами. Котельная с круглой, непрестанно дымящей трубой (самая высокая постройка поселка), штабеля спиленного леса, вагоны, бульдозеры, подъемные краны, трелёвочные тракторы — металлический и деревянный круглосуточный стук.

Построенный в советские годы рабочий поселок, захиревший в девяностые годы, обезлюдевший больше чем наполовину из-за экономических и инфраструктурных

проблем, Янталь стоял среди густой восточносибирской тайги. До ближайшего города сорок пять километров на восток. На север и юг сотни километров тайги, прореженные работой леспромхоза. Ради этой глухомани и заброшенности Александр Сергеевич приехал сюда с сыном и женой полгода назад, устроился учителем английского в школу.

«Правда, что вы собираетесь уезжать, Александр Сергеевич?» — подошел к нему семиклассник. «Много будешь знать, скоро состаришься. Ты же не хочешь быть старым и противным, Стас?» — ответил учитель. «Ну, скажите». — «Я тебе уже сказал». Арсения уселся на ледянку и требовательно закричал: «Папа, подтолкни меня!» Дети скатывались с горки вперемешку. Врезались друг в друга, но не конфликтовали. Старшие помогали младшим подняться по скользкому склону.

Стас стоял вместе с еще несколькими семиклассниками — исключительно мальчишки — в стороне от поселка, в стороне от фонарей. Подростки курили одну сигарету на всех. Передавали друг другу красный огонек. Разговаривали вполголоса. «Машка — дура. Я говорю ей: дай списать, от тебя не убудет, — а она: сам думай. А че думать? Дура ты, и всех делов». — «Лизка такая же... Э-э-э, ты все не скуривай, слышь, оставь еще по затяжке». — «На держи. А по мне, что Лизка, что Машка, что все остальные бабы — тупые».

Поселок светился редкими фонарями и горящими окнами. Во многих окнах мигали гирлянды ядовитых оттенков синего, зеленого и красного. На главной площади разгорались и гасли гирлянды на ели.

«Сергеич и вправду уезжает, — заговорил Стас. — Я его сегодня на горке спросил. Он не ответил, но понятно, что уедет». — «Че ему, он же не учитель вообще-то, — подхватил один из подростков, один из темных силуэтов. — Он — журналист. Он зарабатывать может гораздо больше, чем в нашей школе». Окурочок отлетел в сторону, в сугроб. «Пошли», — темные силуэты двинулись в сторону домов.

Вернувшись домой, Стас играл в своей комнате на компьютере в танки. Зеленый советский Т-34 полз через плохо прорисованную черно-коричневую деревню — ломал заборы, давил кур, сносил столбы электропередач. В нижней части экрана появлялись сообщения других игроков. Игроки много ругались. Стас, направляя танк, кратко отвлекался, стучал по клавиатуре и резким ударом по клавише «Ввод» отправлял сообщение. Вспышка пламени сбоку от танка. «Тридцатьчетверка» задним ходом стала уходить за ближайшую постройку. Другой разрыв — впереди. «О, вовремя ушел», — пробормотал Стас. Настроил сообщение. Продолжил маневрировать. «Стася, ложись спать», — голос мамы из другой комнаты. «Мам, еще полчаса, и буду спать».

Мама сидела в гостиной и красила ногти. Обрюзгая неухоженная женщина около сорока лет, волосы взъерошены, расплылась в мягком кресле. Махровый халат, мягкие тапки малиновой расцветки с белыми помпонами. На столике перед ней набор лаков и чашка с кофе. Женщина дула на только что покрашенный ноготь. «Леша, — крикнула она, — давай доедай скорее и приходи подуть мне на ногти».

Леша — вытянутая грязно-белая майка, тренировочные однотонно-черные штаны с оттопыренными коленками, такие же, как у жены, малиновые тапки с помпонами — сидел на кухне и ел картошку с салом. Смотрел телевизор, стоящий на холодильнике. «Сейчас», — ответил жене. «Задолбает со своими ногтями-шмагтями», — пробурчал гораздо тише.

Поздно ночью снег прекратился. Небо над поселком прояснилось. В чернильной тьме матово перемигивались крошки звезд. Стало значительно морознее. Гулким эхом откатывались в тайгу шумы леспромхоза. По пустым холодным распадкам и ущельям повторялись металлические и деревянные перестуки. Порыв ветра качнул высокую ель. С ее верхней ветки скользнула снежная шапка. Падая, сбивала снег на других ветвях. Глухие шлепки в сугроб: уп-уп-уп. Услышав их, замер заяц, настороженно двигал ушами, вертел головой. Опасности нет. Запрыгал дальше. Выскочил на берег замерзшей реки. На другом берегу по склону огни поселка. Заяц замер на несколько мгновений, дернул головой и скрылся в густых плетениях тайги.

Александр Сергеевич не спал. Сидел в кресле перед ноутбуком. Свет в комнате выключен. Смотрел англоязычный сюжет. Некая африканская армия двигалась на бронетранспортерах и пикапах через разоренную деревню. Обгоревшие хижины, каменные постройки разгромлены, трупы и сожженные автомобили на обочинах. Белый журналист, ехавший среди чернокожих солдат, рассказывал, что это последствия захвата деревни повстанцами. Следующая сцена: гаубицы долбят в небо, офицер-негр комментирует, что артиллерия работает по позициям повстанцев на расстоянии шести километров. Рыкая и взбивая рыжую пыль, двигаются через саванну танки Т-72. Чернокожие солдаты что-то кричат и размахивают автоматами, пританцовывают. Очередная деревня — снова уничтоженные жилища, трупы и сгоревшие автомобили. «Наступление правительственных сил продолжается», — подвел итог журналист.

Утро. Еще темно. На небе звезды. Безветренно, поэтому дым с котельной застрял длинным и широким волнистым пластом между двух сопок, зацепился за их вершины. Снизу дымное облако ярко подсвечено огнями поселка и леспромхоза. По дороге под поселком проезжала колонна из пяти фур: широкие полосы дальнего света фар и тарахтение моторов. Продолжала мигать гирлянда на ели на центральной площади. Мигали гирлянды в некоторых окнах. Все больше окон загоралось в домах. Во дворах заводились автомобили.

Александр Сергеевич недавно проснулся — умывался в ванной, тугой струей била из крана вода. Вошла жена Эмма, недовольное от пробуждения лицо: «Ты Сению отведешь в садик?» — «Отведи ты. Мне в школу надо по делам», — он отвечал, не поворачиваясь к ней, шевелил пальцами под струей воды. «А мне в Усть-Кут собираться. Отведи ты». — Эмма, словно защищаясь, сложила руки на груди. «Ладно, не порти настроение с утра. Покорми его тогда и одень». Она вышла. Он выключил воду.

Арсеня с папой спускались по деревянной лестнице от своего дома к детскому саду. Ступеньки чищены плохо — в плотно спрессовавшихся налипах снега. Надутый, как медвежонок, от плотной теплой одежды ребенок шагал медленно и осторожно, держась одной ручкой за перила. В другой ручке маленькая машинка — красная модель «Жигули». Александр Сергеевич шел впереди. «Папа, только жди меня». — «Спустишь и буду ждать». Хлопали двери подъездов, выходили другие родители с детьми, направлялись к детскому саду.

«Папа, дай мне ручку». Под ногами скрипел снег. «Интересно, кто сегодня придет в детский сад?» — спрашивал Арсеня, рдели замерзшие щечки в бледном свете фонаря. «Не знаю, тебе лучше знать». — «Почему ты не знаешь?» — «Потому что это ты ходишь в детский сад. Там твои друзья, а не мои». — «Хочешь, пойдем со мной. Мы будем вместе рисовать и катать машинки». — «Спасибо, малыш. Но мне надо на работу». — «Тогда я маму позову в детский сад ко мне». — «Хорошо». В детском саду зажглась пока еще малая часть окон.

Кабинет английского. Заиндевшие окна — толстый слой наледи подтаивал, струйки воды собирались в лужицы на широком бетонном, покрашенном белой краской подоконнике. Коричневая доска в мутных белесых разводах. На боковых стенах несколько плакатов с неправильными глаголами, таблицами времен и английским алфавитом. Александр Сергеевич за своим столом. Низко склонил голову. Перед ним несколько классных журналов. Один из них раскрыт. Учитель переписывал в него оценки и темы уроков из своей записной книжки. Тихо. Слышно, как пишет ручка по тонкой бумаге журнала. Короткий стук, и дверь в кабинет открылась. «Александр Сергеевич, можно?» — за ней несколько старшеклассников. Учитель обернулся и улыбнулся: «Да, ребята, конечно, заходите».

Десятиклассники: две девушки, в них уже вовсю цвела женственность, и трое юношей, неказистые, еще формирующиеся черты и движения. «Александр Сергеевич, вы уже не передумаете? Вы все-таки уезжаете?» — спросила девушка с большими, будто удивленными и испуганными одновременно, глазами, самая высокая из вошедших, это она играла роль Снегурочки на новогоднем представлении для перво- и второклашек. «Уезжаю. Не передумую, Вика. Таковы обстоятельства», — учитель не смотрел в глаза учеников, смотрел в пространство выше их голов. «Жаль, — снова говорила Вика. — С кем же мы теперь будем изучать историю Месопотамии и искать остров Дильмун?» — «Ну, ни история Месопотамии, ни остров Дильмун из-за моего отъезда не исчезнут. Если вам действительно это интересно...» — «Интересно, интересно, вы же знаете», — вразнобой торопились сказать ученики. «Я знаю, да, интересно. Вы можете сами изучать. Своими силами продолжайте. Вы достаточно взрослые и разумные — сможете, — он посмотрел наконец в глаза ребят. — Интернет есть. Если я буду находить какие-то интересные материалы, то обязательно буду отправлять вам, а вы мне будете сообщать свои мнения. Хорошо?» — «Но нам не с кем больше будет мечтать, что мы когда-нибудь организуем экспедицию и найдем Дильмун», — сказала Вика, в ее больших глазах вязкая и, казалось, неизбывная тоска. Учитель снова улыбнулся — ясно, что через силу, вынужденно.

Солнце уже закатилось за сопку на противоположной стороне Куты. Над гребнем сопки изумрудная закатная полоса — на ее фоне острыми черными силуэтами отчетливо выделялись ели на гребне. Вика скучающе смотрела в сторону заката, ждала подругу возле подъезда пятиэтажки. На крыше над входом в подъезд из сугроба торчали тонкие черные ветки кустарника. Края крыши — железобетон — разрушившиеся, будто подгрызенные невидимым чудовищем с очень сильными челюстями. Перед подъездом утоптаный и укатанный снег. Из открытого окна подвала валили клубы пара, ползли вдоль стены дома, остывая и оставляя полосы инея.

Заскрипела открываемая металлическая дверь — вышла подруга. «Долго ты», — Вика ей безразличным тоном. «Да там...» — подруга не закончила и просто махнула рукой.

Девушки шли по почти безлюдному поселку (навстречу изредка попадались школьники-младшеклассники и старички). Панельные многоэтажки, черные деревянные сараи, сбитые из досок мусорные баки, лестницы с одной улицы на другую, меркнувший свет заканчивающегося дня. Ни птиц, ни собак. Скрип снега под ногами и вечные перестуки леспромхоза. Они вышли к бывшей столовой, теперь — заброшенное здание с разбитыми окнами, местами провалившаяся крыша и окружение из глубоких сугробов. Девушки шли молча, глядя то перед собой, то под ноги.

Издали донесся протяжный гудок поезда. Девушки, не сговариваясь, остановились и стали смотреть на поворот железной дороги. Из-за сопки к западу от Янтая

вытягивалась змея пассажирского поезда: за красно-синим тепловозом серо-красные вагоны (меркнувший свет добавлял густоты цветам).

Максим глядел в окно плацкартного вагона. Какой-то поселок из многоэтажек и высокая, густо дымящая труба перед ним. Максим разглядел двух девушек, стоявших перед заброшенным одноэтажным зданием вблизи железной дороги: на них красные пуховики, теплые горнолыжные штаны (у одной желтые, у другой черные), унты из оленьего меха и теплые вязаные шапки (у одной с помпоном, у другой — без).

Весь поселок промелькнул за полминуты, не дольше. За окном снова потянулась тайга. Ели, сосны, облетевшие, по-сказочному корявые лиственницы, непролазные кустарники. Черно-зеленые, черные и белые оттенки, плавные спуски и подъемы сопки. В стороны от поезда разлеталась снежная пыль. Максим взял со столика стакан, отсыпал туда черной, мелко нарубленной заварки из пачки и пошел за кипятком.

На станции Лена из вагона выходило большинство пассажиров. Вагон пустел от людей, их зимних нарядов и сумок; оставались затянутые коричневым дерматином полки-койки и мелкий мусор на столиках. «Сколько тут стоим?» — спросил Максим проводницу. «Тридцать две минуты». — «Далеко тут до магазинов?» — «Все рядом, за здание вокзала зайдете, там магазины и рынок, если не свернулись. Вроде рано еще сворачиваться, — проводница посмотрела на наручные часы. — Должны пока торговать».

Вокзал — светло-зеленое с белым зданием в неуместных каменных кружевах и с еще более неуместным шпилем; крупная лепная надпись — «Лена», над ней дата — 1951. За ним бульварно широкая улица, через сотню метров упиравшаяся в высокое белое здание с надписью «Осетрово» под самым карнизом. Вдоль улицы в свете фонарей торговые ряды. Редкие из них действовали — на прилавках лежал товар, продавцы переминались с ноги на ногу от холода. Максим подошел к первому продавцу. «Извините, где тут готовую еду можно купить, котлеты или чего такого?» — «А вон на речном вокзале должна быть столовая». — «Это где?» — «Видишь, здание, похожее на амбар, и надпись „Осетрово“? Вот в нем. Как зайдешь, сразу направо». — «Спасибо».

Максим бежал к речному вокзалу, ежась, — пуховик он накинул прямо на футболку, а на ногах легкие кроссовки. Подергал дверь главного входа — закрыто. Оббежал здание вокруг. С другой стороны мигала гирляндой искусственная ель, с деревянной сборной горки катались дети. Позади ели и горки ограждение из толстых якорных цепей, подвешенных между каменными тумбами, за ними крутой обрыв и некая замерзшая, не слишком широкая река. Через реку были протоптаны тропинки, вдоль них, отмечая их, в снег воткнуты сосновые или еловые ветки. На другой стороне горели огни в немногочисленных избах.

Когда Максим вернулся на свое место, на койке напротив сидела пожилая женщина. «Здравствуйте. Я — Максим». — «Здравствуйте, а я — Евгения Ефимовна. Куда едете?» — «До конца, в Северобайкальск». — «И я туда же». Максим стянул куртку и повесил ее на крючок. Вместо кроссовок надел шлепанцы. Пожилая женщина сидела в расстегнутом пальто, на голове мохнатая шапка, на ногах унты, возле нее на койке клетчатая, плотно набитая хозяйственная сумка. Когда поезд тронулся, она сняла и пальто, и шапку — сложила их на пустую верхнюю койку-полку, —

достала из сумки тапочки и передела унты. Сумку затолкала под свою койку. Максим с абсолютным безразличием наблюдал ее действия, а когда она снова села, спросил: «Вы местная?» — «Да, здешняя». — «Что там за река за зданием „Осетрово“?» — «За речным вокзалом? Это Лена, да, Лена». — «Ясно. Скоро будем ее переезжать». — «А вы в наших краях первый раз?» — «Да. Еду на вахту — сейсмологом на станцию возле Северобайкальска». — «Эко вас под самый Новый год отправили». — «Правила у нас такие, ничего не поделаешь».

Минут через двадцать поезд загрохотал по железным фермам моста над замерзшей, заснеженной Леной. Река выделялась в темноте бледно-белой полосой. По обоим берегам таежная монолитная тьма. Маленький, спичечно-муравьиный поезд пересекал мост и терялся в гигантской, молчаливой и каменно-неподвижной тайге.

В Северобайкальск поезд прибывал днем. Безоблачно, очень яркий от лежащего вокруг снега и широких открытых пространств свет. Здание вокзала похоже на космический корабль или космическую станцию. Стены его большей частью прозрачные, из стеклопакетов: свет насквозь проходил через зал ожидания (второй этаж), кассовый и торговый залы (первый этаж). Формы, линии и их сочетания проектировщики, без сомнения, позаимствовали из чертежей аппаратов, предназначенных для межпланетных сообщений. При разнообразии форм и линий в них не было ни одной лишней, каждая составляла часть общей геометрической гармонии, необходимую часть. Пока Максим стоял в очереди выходящих из вагона, он в подробностях рассмотрел вокзал — через окна и из тамбура. На улице морозный бодрящий воздух. Откуда-то сбоку появился улыбающийся загорелый, с обветренным морщинистым лицом человек среднего возраста. «Здравствуйте, вы Максим?» — спросил он. «Точно». — «А я — Анатолий, замначальника сейсмостанции, — пожал Максиму руку. — У нас машина сломалась. Поехала в ремонт. Придется подождать». — «Хорошо». — «Можем на вокзале посидеть, можем прогуляться». — «Лучше прогуляться, я тут в первый раз».

Свой туристический рюкзак Максим сдал в камеру хранения, и они вышли на проспект. «Это у нас центральный проспект. Называется Ленинградский, — рассказывал Анатолий. — Его застраивали ленинградские архитекторы». Проспект был достаточно широкий, четыре полосы движения, с аллеей посередине. Широкие тротуары. Жилые дома максимум в пять этажей. Они имели необычную, будто утекающую или змеящуюся планировку. «Дома видишь какие? — продолжал Анатолий. — Тут же сейсмически очень нестабильная зона. До двух сотен толчков разной силы каждый день фиксируем. Ленинградцы делали дома блоками. Один блок из пяти этажей, к нему под определенным углом и на расстоянии в полметра следующий блок пристраивали, а швы закрывали алюминиевыми листами». Действительно между отдельными блоками блестели полосы металла. «И балкона ни одного нет. Заметил? Город без балконов. Тоже из-за сейсмоактивности. Подземный толчок, и балкон может не выдержать: треснул, посыпался. Поэтому от них вообще отказались». Максим смотрел на дома с одной стороны проспекта, с другой — ни одного балкона, никаких дополнительных выпуклых деталей. «В целом городок маленький, приятный, туристический — туристы обычно летом приезжают. Всего, по-моему, около сорока зданий в городе. Каменных. Чисто, народ интеллигентный. Думаю, тебе понравится. А мы в трех километрах, на вершине сопки сидим. Работы хватает — вокруг Байкала за сутки до тысячи толчков фиксируем». Максим согласно покивал и спросил: «А Байкал-то где? Мы этим путем к нему придем?» — «Байкал? Байкал — в другую сторону. Пойдем, если хочешь».

Озеро появилось из-за роши лиственниц как-то буднично и просто: деревья остались позади, дальше крутой обрыв и белое, заснеженное, замерзшее озеро, далеко, в нескольких десятках километров заснеженные вершины сопки на противоположном берегу. Величайшее пресноводное озеро на Земле — к нему не вели ни грандиозные ворота, не было разноцветных, в кричащих оттенках вывесок, не было толп ошарашенно замерших людей. Тем не менее озеро было великолепно своей просторной молчащей красотой. У берега вздыбленные, ошетилившиеся торосы. Далее начались ровные поля льда. И километров через пять виднелась черная полоса — открытая, пока «не вставшая» вода. Ослепительное бельмо солнца, окруженное нимбом гало, над озером. Максим и Анатолий шурились от яркого света.

Ночь. Вся пять сейсмологов вышли на веранду станции. Вершина сопки. В долине под ними Северобайкальск — его гроздь разноцветных огней: неподвижных, мигающих и плывущих. За городом абсолютная тьма Байкала. «Две минуты осталось!» — крикнул Анатолий, он чуть заметно покачивался от выпитого алкоголя. «Тогда давайте проводим старый», — предложил начальник станции, поднял руку с граненым стаканом вина, налитого до половины. Все чокнулись, звон стекла. Кто-то крикнул «ура». Порывистый ветер толкал уже подвыпивших людей. За станцией от ветра шевелилась тайга. Над городом взорвалась ракета салюта — разбрасывала в стороны мгновенные полосы красного, зеленого и синего света. Второй салют. Третий. В другом месте над городом начал взрываться такой же салют. Очередной салют разбрасывал белые мигающие точки света — будто вспыхивала сфера или громадный елочный шар. Новые и новые салюты. Над городом почти на одинаковой высоте появлялись на мгновение и гасли разноцветные шары, гроздь, снопы и просто одинокие огненные точки. С опозданием доходил звук — похожие на ружейные или пистолетные выстрелы хлопки. «Пора! С Новым годом, коллеги! Ура!» — закричал начальник. «Ура-а-а!» — закричали остальные и чокались оставшимся вином. Кто-то зашпешил на станцию — за бутылкой. Анатолий подошел к Максиму и толкнул его плечом: «Вот какой должна быть жизнь, понимаешь?» — над городом, перекрывая друг друга, сыпались в ночное небо огни салютов. «Какой?» — не понял захмелевший Максим. «Как яркая вспышка, ослепительная, чтобы другие надолго запомнили, а потом тьма снова». — «В смысле смерть?» — «Ну да, смерть, тьма, небытие». — «После смерти другая жизнь — загробная. Или ты в Бога не веришь?» — ни Максим, ни Анатолий не смотрели друг на друга; разговаривая, они не прекращали смотреть на салюты над городом, на их лицах слабо бликовали далекие вспышки. «Какой Бог? Именем которого оправдывают убийства слабых и невинных, грабеж и унижение незащитных детей, для которого строят дворцы, когда миллионы бездомных умирают или мучаются от холода, дождей и грязи?.. Короче, если Бог позволяет, чтобы его использовали, как проститутку, то он нам не нужен», — и Анатолий повернулся к Максиму, тот продолжал смотреть на город. «Понял?» — злобно и напористо спросил Анатолий. «Понял».

Тьма меркла. Ее сменял серый свет, смутно обрисовывавший невидимые до того предметы. Вздыбившиеся, ошетилившиеся торосы вдоль байкальского берега нисколько не изменились от наступившего у людей нового года. Над грядой сопки на противоположном берегу проступила и стала наливаться красновато-желтым цветом рассветная полоса. Серый свет медленно отступал вслед за ушедшей ночью. Пушистый белый снег лежал на льду озера. Иногда глухо и протяжно звучали подледные гулы — будто стоны циклопических невидимых животных, или их шепот,

или... Небо все больше наливалось голубым цветом. Из-за сопки показалась багровая макушка солнца. Оно быстро поднималось. Чем выше, тем больше менялся его цвет: переходил сначала в желтый, позже в белый. Первый день нового года начался.

Прибрежный город выглядел молчаливым и пустым — ни машин, ни людей. Только мигали гирлянды. Ближе к полудню стали появляться первые люди, автомобили и автобусы. Задымились трубы вагонов пассажирского состава, стоявшего несколько в стороне от железнодорожного вокзала — на запасном пути. Проводники топили углем — черный дым пачкал морозный воздух. Задвигались маневровые тепловозы — таскали с линии на линию грузовые вагоны, пустые и груженные. Подходили путейцы в оранжевых жилетках поверх телогреек, в валенках и мохнатых шапках с опущенными ушами — прицепляли или отцепляли вагоны, подставляли «башмаки» на рельсы. Из динамиков, развешанных на столбах вдоль путей, хриплый женский голос сообщал, какому составу на какой путь следовать.

Солнце сползло к закату, тени уродливо вытягивались, когда зеленый округлый локомотив подтянул пассажирский состав к вокзалу. В него грузились немногочисленные пассажиры. В вагоны залезали вахтовики в поношенной одежде и со спортивными сумками, туго набитыми. Молодые пары, как правило, выряженные в яркие горнолыжные костюмы, — они тянули за собой чемоданчики на колесах. Семьи с детьми целовались и обнимались с родственниками. Проводники проверяли билеты и паспорта. Равнодушно смотрели на провожающих.

Гудок локомотива, провожающие махали руками, состав лязгнул сцепкой вагонов — тронулся. Удалялось белое озеро, удалялся аккуратный и компактный город, поезд втягивался в узкое ущелье между высокими обрывистыми сопками.

Поздно ночью прибыл на станцию Янталь. Остановка на две минуты. Александр Сергеевич закинул в тамбур мешок, за ним чемодан на колесиках, за ним туристический рюкзак. Затем поднялся за ручку с Арсенией. После них зашла Эмма. «Проходите скорее, я замерзла и хочу быстрее согреться», — раздраженно проговорила она. Проводница помахала из тамбура машинисту фонариком. Гудок локомотива, поезд снова тронулся.

Поезд шел через равнину, нарушаемую клочками леса. Снежно и солнечно. Александр Сергеевич читал свою, взрослую, книжку Арсене — они оба лежали на нижней полке. Эмма сидела за столиком на заправленной полке и намазывала себе бутерброд. На столике многочисленные пакеты с едой. Два стакана в фирменных железнодорожных подстаканниках. В одном горячий очень темный чай, второй — пустой. Эмма домазала бутерброд желтым сливочным маслом и равнодушно посмотрела в окно: «Тут, конечно, природа мелковата по сравнению с Янталем. Куца. А там — мощная, грандиозная», — сказала она без особых чувств, будто это являлось ее вынужденным обязательством. Александр Сергеевич не отреагировал, Арсения тоже. «Сань, ты слышишь?» — спросила она. «Слышу, слышу, не мешай». — «Я тебе не мешаю, я с тобой делюсь своими соображениями». — «Хорошо, — и он продолжил читать: — Сцена — на черных пластмассовых подставках два полотна. Одно — три метра на три. Другое — полтора метра на три. Первое, — я немного в живописи разбираюсь, — явная копия картины Климента Редько „Восстание“ 1925 года. Редько участвовал в революционных событиях в Петрограде в 1917-м, был искренне очарован личностью Ленина. Когда Ленин умер, в тот же день, узнав о смерти Ленина, он начал писать „Восстание“. Ему не давало приказов партийное руководство, ему не обещали денег, квартиры, государственных наград

за работу. — За окном плацкарта продолжала скользить заснеженная равнина, нарушаемая клочьями черных деревьев, над ними голубое пустое небо и холодное солнце. Жена продолжала жевать. Арсения внимательно слушал, застыл от внимания, задумчивы зелено-карие глазенки. — Редько взялся за картину на эмоциональном порыве, душевные переживания дали ему идеи. Поэтому „Восстание“ — одна из лучших русских картин». Саня замолк, задумался. «Папа, читай, читай. Папа, дальше», — торопливо просил его сын, замахал в воздухе ножками, обряженными в синие колготки. «А хочешь порисовать?» — повернулся к нему Саня и пощекотал его указательным пальцем под мышкой. Арсения засмеялся, извивался, чтобы отодвинуться от отцовского пальца. «Не балуйтесь, а то Арсений свалится», — говорила Эмма недовольным тоном, у нее постное выражение лица, в руке надкушенный несколько раз бутерброд, в другой — стакан с чаем. Саня посмотрел на нее неприязненно — сощурились его глаза, в уголках собрались морщинки, — но промолчал.

Спальный район. Типичный спальный район большого города. девяти-, десяти-, тринадцатизэтажки. Во дворах столпотворение тесно припаркованных автомобилей. Крошечные детские площадки, вмещающие по одной горке, «домику» и карусели. Метель — в воздухе металась снежная крупа, прохожие торопились, закрывая лица руками, поднимая выше шарфы. Сумрачный свет.

Саня на кухне — какой-то из «последних» этажей. Жарил картошку, шипела на плите сковорода. Кухня узкая — почти все пространство занимали стол (под него задвинуты два табурета), плита, холодильник, раковина и шкаф с посудой. В раковине беспорядочно свалена грязная посуда. Открыта форточка — в нее заносило снежную крупу. Крупа мгновенно таяла, оставалась капельками на подоконнике и полу, застеленном линолеумом.

Зашла Эмма. Первым делом захлопнула форточку: «Пораскрыл тут. И без того холодина. Хочешь попрохладнее, иди на улицу». Саня промолчал, размешивал картошку на сковороде. Жена открыла холодильник. Две верхние полки в двери занимали различные лекарства. Внутри кастрюли, тарелки с недоеденной гречневой кашей, салатом, подвявшего вида овощи, жестяные банки с консервами. Эмма достала пачку молока. Налила себе стакан и ушла. Саня резким движением открыл форточку. Мельком посмотрел за окно. Внизу проезжала тентованная грузовая «газель».

Михаил крутил руль, маневрируя между стоявшими заметенными машинами и ругая не очищенную от снега дорогу. Его «газель» дергалась, выбрасывала из-под колес комья спрессованного грязного снега. Навстречу в узкий проезд въезжала легковая серебристого цвета. «Ну, куда ты?» — вслух спросил Михаил. Легковая стала сдавать назад. «Газель» замерла. Перед ней торопливо пробежала пожилая женщина с полиэтиленовыми, набитыми чем-то пакетами в обеих руках. «Вот еще курица бежит. Дома ей не сидится в такую погоду. Старая, пора дома сидеть, о вечном думать, а не по улицам бегать. Тем более в метель», — рассуждал Михаил.

«Понаставили своих машин, не пройдешь», — бурчала Гульнара Мансуровна, протискиваясь между припаркованными машинами. Тяжелые пакеты в руках не давали закрывать лицо от метели — колючий снег в глаза. Ветер дергал края ее пальто. Дошла до подъезда, поставила пакеты, прислонила их к стене. Под пальто — некрасиво задрала его — в кармане кофты ключи. Приставила электронный ключ к замку — затренькала примитивная неприятная мелодия. Гульнара Мансуровна с трудом открывала туго поддающуюся металлическую дверь. Подперла ее ногой и подхватила пакеты. Дверь с лязгом захлопнулась за пожилой женщиной.

Открыла дверь в квартиру и сразу позвала: «Нюси, Нюси» — приторный, сюсюкающий тон. В прихожую вбежала собачка — такса, вокруг шеи подвязан розовый бант. «Нюсечка моя, лапочка. Как ты без меня, девочка моя? Не хулиганила?» — продолжала сюсюкать Гульнара Мансуровна, раздеваясь. Чтобы снять сапоги, присела на облезлый табурет. В прихожей пожелтевшие обои. На вешалке плащи, пальто, куртки, шуба, ватники. Под ними сваленные друг на друга пары различной обуви — от галош до дырявых валенок. Гостиная — аккуратно убрано, но тесно от шкафов, стола, стульев, телевизора, тумбочек, книжных полок (книги все старые, советских времен) и кресел. «Нюсечка, идем на кухню, я тебе вкусенького принесла, идем, моя девочка» — такса следовала за старушкой, резво махая хвостом. В кухне тоже прибрано, но тесно от мебели, плиты, холодильника (на нем стоял маленький телевизор), стола, табуретов, раковины и посудомоечной машины. На почетном месте — между холодильником (сбоку от него) и столом пластмассовая кормушка для собаки: три отделения — в одной вода, в другой насыпан сухой корм, третья чистая. Гульнара Мансуровна отрезала «Докторской» колбасы — полный круглый кусок — и положила в третье отделение.

Металлическая дверь подъезда. Затренькала примитивная неприятная мелодия. Дверь открывалась изнутри. Гульнара Мансуровна со своей таксой на поводке. Безветренно, тихо, ясное небо. Двор — проезжую часть — чистил трактор. На тротуаре скреб деревянной лопатой дворник — мужик неопределенного возраста и неопределенной национальности (щетина и очень коричневое лицо особенно подчеркивали эти неопределенности) с испитым лицом. Старушка неспешно зашагала по тротуару — впереди нее, натягивая поводок, собака. Поздоровалась с дворником. Тот приветливо ответил. Прекратил работать, стоял, уперев подбородок в древко лопаты.

Дворник чистил тротуар не торопясь. Времени у него было — до конца рабочего дня. Периодически, чтобы согреться, из-за пазухи доставал армейскую флягу, делал из нее маленький глоток, морщился, занюхивал рукавицу и отдыхал некоторое время. Отдыхал стоя или, если поблизости оказывалась лавочка, присаживался на нее, предварительно подстелив картонку. Он здоровался со всеми прохожими. Даже с теми, которые делали вид, что не замечают его (или действительно не замечали). Дворник сидел на лавке, когда мимо проходил Саня с санками — на санках, вцепившись в них, его сын Арсения. «Добрый день», — дворник. «Добрый. Арсень, поздоровайся с дядей». — «Здрасьте».

Санки хорошо ехали по плохо расчищенным тротуарам. Арсения смотрел по сторонам и время от времени поправлял шапку, съезжавшую на лоб. Папа вез его мимо автостоянки. «О, какие гонки. Вот это — гонка вообще класс. Пап, смотри, какая тачка, гонка класс», — ребенок старательно изображал низкий голос. «Да, замечательная машина», — равнодушно откликнулся папа.

Вдоль по оживленной улице — машины, прохожие, по обеим сторонам яркие вывески. Кое-где надписи или вывески: «С Новым годом!» или «С Новым 2016-м!». На витринах магазинов наклеены снежинки или блестящая мишура. «Пап, смотри, какая ангирлянда висит! Один ангирлянда, два ангирлянда, три ангирлянда. Три ангирлянда! Ура. Посчитал!» — снова поправил шапку со лба.

«Пап, почему мы остановились?» — «Потому что светофор горит красный». — «Когда он загорится зеленый, то мы поедem, да?» — «Именно». Голос у Сани равнодушный, сухой. У Арсени живой, звонкий, постоянно меняющий свою тональность в зависимости от эмоций. Мимо ребенка, навстречу ему шагали высоченные неулыбающиеся люди. Проезжавшие машины были гораздо интереснее — потому что они разноцветные, ярких оттенков — Арсения больше смотрел на них.

Сбоку появился сугроб. Арсеня сунул в него варежку, пока не видел папа, — черпал снег. Затем оббивал снег об свою надутую теплую куртку. «Папа, когда мы вернемся в наш Янталь? Я хочу уже играть с Трофимом и Ангелиной». — «Не знаю, малыш, не знаю».

Арсеня сидел на своей кровати. Один в спальне. Через незанавешенное окно в спальню уличный свет багровых оттенков. Арсеня сидел, скрестив ножки. Маечка с вытянутыми лямками, худенькие ручки, ножки, дергал свои пальчики на ножках. Похож на маленького Будду. На примятой подушке лежала игрушечная машинка — модель «Жигули». Слышны крики родителей в соседней комнате. Ребенок не понимал многих слов, но по тембру криков — отрывистые, злые, резкие — понимал, что родители ругаются. Огромные испуганные детские глазенки.

Саня сидел на кухне один. На нем выцветшая и вытянутая армейская майка, спортивные шорты, на ногах ни носок, ни тапок. Напряженное лицо — сильнее проступали морщины на лбу. Включен свет. На улице ночь. Он пил чай из металлической пол-литровой кружки и смотрел куда-то в пространство. В то пространство, которого на кухне не было. Тарахтел холодильник. Работала в ванной стиральная машина. Тикали настенные часы. «Что я тут делаю, а?» — спросил Саня сам себя вслух и отхлебнул из кружки.

Сидячий вагон поезда. Сиденья металлические, неудобные, обитые бледно-коричневым дерматином, подлокотники обиты черным. Пассажиров пока было немного — замызганного увядшего вида мужчины и женщины, на багажных полках над ними их спортивные сумки — это работающие вахтами в других городах. Кто-то из вахтовиков выпивал — водка с квашеной капустой и хлебом или другой нехитрой закуской. Саня сидел возле окна. Он постригся налысо. На нем вязаная черная кофта с белым геометрическим узором, военные однотонные брюки и кроссовки, лопнувшие на сгибах.

Поезд шел через поволжские степи. Мимо деревень, где избы выкрашены в желтый, зеленый и синий, а наличники — в белый. Обязательно в каждой деревне возле железной дороги старинная водонапорная башня, напоминающая крепостную, оборонительную. Руины бывших колхозов: заржавевшие до мертвой черноты погрузочные краны, коровники и ангары с провалившимися крышами, полуразобранные брошенные трактора и грузовики, раскрошившийся камень и выбитые окна зернохранилищ. А между ними и вокруг них белое волнистое раздолье степей. Редкими вкраплениями роши голых берез, ив и осин. Макушки деревьев в накладках инея. Речки в степях не замерзшие — стеклянно-черная медленная вода. Небо затянуто облачной бесцветной пленкой — как будто его и нет.

Бетонно-кирпичный низкорослый городок. Станция — эшелоны грузовых вагонов, огороженная тонкими перилами платформа, одноэтажное здание с высокими и широкими окнами — вокзал. Поезд дернулся и остановился.

Грузилась новая партия вахтовиков. Некоторые уже пьяны. С трудом впихивались на кресла, оставляя в проходе свои сумки, вяло ругались с проводницей. Толстые женщины охали, что не хватает места для их вещей. Раздевшись, доставали еду. Поезд тронулся, вагон в запахах домашней еды женщин, бормотание пьяных, стук колес.

Прозрачный — под дневным светом, как под рентгеном, — опутанный сетями металлических перекрытий терминал аэропорта. Табло с расписаниями рейсов — прилета и вылета. Ряды со стойками регистраций — как ряды лотков на рынке. Голос откуда-то сверху и сбоку: «Пассажиры рейса номер двести пятнадцать, вылетаю».

щего во Владикавказ, ваш рейс задерживается до семнадцати часов пяти минут. Авиакомпания приносит вам свои извинения». Второй этаж терминала — столики и стулья фастфудов, диванчики и глухие ограждения ресторанов. Железные скамейки в зале ожидания. Пассажиры вперемешку со своим багажом, персонал с удостоверениями личности, нацепленными за синие шнуры на шею. Саня на этом фоне в зале ожидания. Нога закинута на ногу. В руках тонкая книжка с оранжевой обложкой и непонятным из-за маленького размера и кучного расположения шрифта названием. На соседнем месте скамьи его синий туристический рюкзак. Боковой карман рюкзака расстегнут, Саня достал оттуда маленькую бутылочку коньяка, отхлебнул и убрал обратно. Напротив семейная пара в возрасте около пятидесяти лет — они брезгливо посмотрели, как он пьет коньяк. Саня им в ответ издевательски улыбнулся.

Галина Викторовна сделала вид, что не заметила неуместной улыбки сидящего напротив молодого человека, стриженного налысо. Она отвернулась к мужу и на ухо сказала ему: «Самир, ты есть не хочешь?» — «Да нет еще», — громко ответил тот. У Галины Викторовны серое пальто, расстегнуто, под ним красная вязаная кофта, руки ее сцеплены в замок на выпирающем животе. Под скамьей две спортивные сумки багажа, сбоку от скамьи чемодан на колесиках — там тоже ее и мужа багаж. «Покурю пойду», — сказал муж. «Давай, только недолго. Слышишь, Самир?» — он согласно отмахнулся рукой.

Галина Викторовна поерзала на скамье и стала разглядывать, как работает персонал ресторана напротив. Молодые официантки дежурно улыбались немногочисленным клиентам, опраивали иссиня-черные фартуки, разносили заказы на подносах. Бармен, расставив локти на стойке, скучал. Галина Викторовна покосилась на молодого человека напротив — он опять выпил коньяк из бутылочки. Покрутила головой — не идет ли муж. Достала из спортивной сумки бутерброд в целлофановом пакете, пошуршала пакетом и принялась есть.

Очередь на посадку в самолет. По трапу в брюхо «Боинга -737». Пассажиры спешили зайти с холода в тепло салона. Трап грохал под тяжелыми шагами, каблуками и литыми подошвами. Галина Викторовна держала на локте пухлую безвкусную сумку — женщина, привыкшая носить авоську, умеет найти авоську среди дорогих кожаных сумок. Подталкивала вперед мужа. Заметила, что вместе с ними в этот же самолет заходит тот стриженный налысо парень, который пил коньяк в аэропорту. На входе улыбались две молоденькие стюардессы, в голубых жилетках и юбках до колен, в белых блузках, говорили каждому: «Здравствуйте», не зная, куда деть руки, или оттого, что замерзли, держали их возле груди, потирая одну о другую.

Самолет взлетел, набирал высоту сквозь сплошную пелену облаков. Его потряхивало от перемены плотности. Вырвался из белесого тумана — выше ночное небо, в его глубинах мерцали звезды, внизу через облачный ковер багровыми лишаями отмечались города и поселки. Багровые лишайи растягивались, сужались, совсем пропадали — тогда небо и облачный ковер казались очень холодными и абсолютно безразличными, действительно вечными.

Город германской архитектуры — здания такие же строгие и вытянутые, как само это слово — германские. Высокие черепичные крыши, болезненных оттенков стены, но улицы достаточно широкие, чтобы ни стены, ни крыши не давили на прохожих. Во дворах чайки отгоняли от мусорных баков голубей и ворон. Автомобили преимущественно черного или серого цветов. Саня шагал по тротуару вместе с поджарым, загорелым и обветренным сверстником (у него рыжеватая легкая бородка, усики

и прокуренные желтые зубы). Сверстник нес Санин рюкзак. «Ты чем сейчас занимаешься, немец?» — спросил Саня. «Не суетись, брат, расскажу, ты пока наслаждайся — смотри, какой город вокруг. Такого другого в России нет. Кёниг — это уникальный город для России». — «Кёниг?» — «Это мы, местные, Калининград так называем». — «А, от Кёнигсберг?» — «Точно». Саня отставал на полшага, чтобы вовремя сворачивать за Немцем. Они переходили брусчатую улицу по пешеходному переходу. Автомобили остановились, пропускали их. «Видишь, — говорил Немец, — какие у нас тут культурные люди. У нас самые культурные водители. Я тебе говорю, Кёниг — это самое культурное место в России». На другой стороне улицы лютеранская кирха из бурого кирпича со стрельчатой часовой башней. Вывеска над входом в кирху: «Кукольный театр». А под ногами грязный, раскисший, разъезжающийся снег. Костлявые черные деревья — дубы и каштаны. Старый неиспользуемый гидрант, крашенный в красный цвет. Немец показал на него: «Тоже сделано Германией. Красили еще до войны последний раз. Больше семидесяти лет, представь, качество» — и, не задерживаясь, шагнул дальше. Четырехэтажный дом с остроконечными башенками над крайними подъездами. Немец и Саня зашли во второй подъезд. Деревянные пролеты, деревянные перила — старые, но по-прежнему крепкие. Второй этаж — Немец открыл дверь и пропустил Саню вперед.

Один из следующих дней. Только начинался. Сизый свет. День вроде обещал быть ясным — легкая прерывистая облачность, птицы летали высоко, морозный воздух. Саня — съезжившийся, на голове шапка, поверх капюшон куртки — топтал ногами от холода. Пустой двор — ни детских площадок, ни гаражей, ни сараев — только яблони, высаженные по-садовому, чтобы не мешали друг другу. Из «черного хода» подъезда вышел Немец: «Давай, погнались» — хлопнула закрывшаяся дверь. С торца дома припаркован черный старенький «мерседес». Немец открыл его. На заднем сиденье то ли мусор, то ли давно позабытые мелкие вещи. Поехали.

«Дороги у нас в области почти все планировались и изначально строились немцами, — рассказывал Немец, автомобиль вел одной рукой, другой, локтем, опираясь на бардачок между сиденьями, шапка его оттянута на затылок, чтобы не натирала лоб. Периодически отвлекался, чтобы написать сообщения в айфоне. — Смотри, а?» — дорога в две полосы, по обочинам старые буки ровными рядами. «Деревья сажали, чтобы они своей корневой системой держали дорожные насыпи». За буками ровные, слабо заснеженные поля в высоких бурьянах. Поселки, где кирпичные особняки с высокими крышами, крытыми черепицей, — германские или «в германском стиле». Лютеранские кирхи, увенчанные православными крестами. Старинные казармы и пороховые склады, используемые в качестве гаражей, продуктовых магазинов или кафе. Буковый лес — в его глубине виден замшелый серый бетон. «Немецкий дот. Если хочешь, можем выйти и посмотреть. Его до сих пор можно использовать по назначению». Снова аллея по обочине и за ней заброшенные поля.

Черный старенький «мерседес» подрулил к причалу. У причала сине-белый паром — крупными буквами название на бортах и под рубкой: «Нида». У соседних причалов катера разных служб, еще один паром, военный сторожевой катер. Немец вылез из машины и направился к кассе, покупать билет на паром. В воздухе тягучий запах моря. Чуть в стороне от причалов красно-белый маяк. Крики чаек. По стеклянно-гладкой воде гавани плавали утки и лебеди. Под навесом сбоку от кассы, поставив сумки на скамейку, стояли несколько пенсионеров.

Петр Аркадьевич разглядывал незнакомый «мерседес» и вышедшего незнакомого водителя. Придерживал за ручку свою хозяйственную сумку, стоявшую на скамье.

«Туристы», — уверенно прокомментировал он для других пенсионеров под навесом. «Тоже ангары Люфтваффе поедут смотреть, — продолжал Петр Аркадьевич. — А куда еще? Зимой куда у нас еще поедешь? Только смотреть ангары». Кто-то из пенсионеров утвердительно кивал. Пенсионеры походили на нахохлившихся серых городских голубей.

За пару минут до отправления пешие пассажиры кучно стали заходить на паром. За ними по одной, повинаясь знакам моряка-регулировщика, заезжали автомобили. Затем зацокали цепи, поднимающие аппарат. Под кормой забурлила вода, вдоль бортов пыхнули облака от сгорающей в двигателях солярки — паром отчаливал. Бугры коротких волн расползались в стороны.

Паром пересекал узкий пролив, отделяющий городок военных моряков от Балтийской косы. К востоку от пролива залив, где дальние берега таяли в кольшущемся мареве, к западу — открытое море, где на рейде стояли контейнеровозы, а между ними сновали рыбацкие сейнеры, катера и яхты.

На Балтийской косе возвышались непонятного назначения размашистые конструкции, похожие на останки китов, — черные ребра каркасов, обтянутые лоскутами стен. Несколько в стороне от них — домики, а дальше глухая стена леса.

Прямо по центру пролива, на самом фарватере, плавали стаи уток и лебедей. Они взлетали под носом парома. Могло показаться, что птиц уже смяла железная туша, но они появлялись, хлопали по воздуху крыльями и снова садились на воду в нескольких метрах в стороне. Петр Аркадьевич равнодушно наблюдал эту привычную картину.

Перед причалом косы кучковалась ледяная шуга. Паром подрагивал, наползая на льдины, они трескались и расходились в стороны. Опять зацокали цепи — теперь они спускали аппарат. Первыми выходили пешие пассажиры, за ними выезжали машины.

Направляясь в сторону своего дома, Петр Аркадьевич оглянулся на неизвестный «мерседес» — тот заезжал на парковку перед причалом.

Немец и Саня шагали от парковки в сторону размашистых конструкций непонятного назначения. Прошли мимо германских домиков и свернули к ближайшей конструкции, тропинки не было, они оставляли следы в неглубоком снегу. Немец начал рассказывать: «В 1934-м немцы-нацисты решили построить тут аэропорт для своих военных летчиков, для Люфтваффе. Пять лет строили. Выровняли берег бухты, построили взлетно-посадочную полосу, пять ангаров для самолетов и гидропланов — с бухты у них гидропланы взлетали. Считаю, отсюда нацисты летали бомбить наши города и советскую армию. В начале апреля сорок пятого наши взяли Кёниг, в конце апреля наш десант взял эту авиабазу. Ангары и взлетка почти не пострадали, вся техника работала, представь. Взлетка вообще имела подогрев (сейчас-то такое мало где увидишь, а немцы восемьдесят лет назад умели делать). Поэтому наши сразу организовали тут свою военно-воздушную базу. До девяностых тут была база. Потом ее закрыли. Много, конечно, вывезли и сдали в металл. Что осталось — почти все немецкое. Бетону и кирпичам не меньше восьмидесяти лет — а выглядят как новенькие». Они подошли к первому ангару — куполообразная крыша, между полос металлического каркаса железобетонные плиты, частично сохранившиеся стены, выложенные мелкой мозаикой из красного, бурого и черного кирпича. Ворота ангара отсутствовали. Пол полностью был занесен снежной пудрой. С торца здания — четырехугольная строгая пристройка, напоминающая готическую башню. Позади нее старые сосны, выросшие на переменчивых и буйных морских ветрах, словно замершие в мгновения замысловатых танцев. Длинные утренние тени

оказались внутри ангара впереди Немца и Сани. На одной из стен под самой крышей сохранились поистершиеся казенные буквы «RN. O. B», а гораздо ниже, на уровне человеческого роста, советский трафаретный шрифт: «Стоянка тележек» — в этой же стене дверной проем в пристройку. «На войну обратно не тянет?» — неожиданно спросил Саня, не оглядываясь на своего товарища, — его голос эхом отзвучивался в углах и в пристройке. Немец остановился и смотрел на железобетонный потолок — там на крючьях свисали ржавые плафоны без ламп: «Плафоны тоже немецкие. Смотри, дизайн один в один, как у модных сейчас осветителей „Икея“. Ничего нового не придумали... Сань, — он оглянулся на товарища, они смотрели друг другу в глаза, — хочешь верь, хочешь нет: не тянет. — Он держал руки в карманах брюк, Саня — сложив на груди. — Я свое от войны получил. Адреналин, кровь, пот. Ты знаешь, зачем я тогда поехал воевать? Честно, ведь не из-за революции, не для того, чтобы бороться с русофобией, не за свободу и справедливость эти. Ты же видел, нам в Кёниге всем всего хватает. Мы живем своим российским анклавом среди Европейского союза. Пользуемся их благами, при этом от них независимы. Плохо разве? У нас умно построенный немецкий город, немецкие машины, есть море и достаток, в то же время нас не заставят проводить европейские гей-парады, заводить европейских учителей-педофилов в школах. Не та ситуация, когда хочется воевать за свободу и справедливость. Я тогда поехал воевать, чтобы себя проверить. По-моему, каждый мужик должен хотя бы разок в жизни повоевать, чтобы понять, чего он стоит. Я свое получил». — «Но состояние войны — я сейчас не про идеологии, не про романтические оправдания войны, — сама обстановка войны затягивает...» — «Затягивает. Кто ж спорит. Первые пару месяцев, когда обратно прилетел в Кёниг, очень хотелось вернуться на войну. Война затягивает, спору нет. Но два месяца, и меня стало отпускать. Я, что называется, нормально адаптировался к мирной жизни. У меня опять свой бизнес, по выходным то в Гданьск, то в Краков, то в Берлин, клубы, девочки, пиво, тусовки до утра. В понедельник, как штык, на работе. И чувствую себя абсолютно на своем месте. Адаптировался на сто процентов». — «Молодец. У меня не получается». — «А как же твоя школа? Ты же писал, что где-то в сибирской глуши учительствуешь». — «Бросил. Уехал. И с Эммой, думаю, тоже скандалим, потому что не могу вернуться к мирной жизни. Обратно на войну тянет. Уже неважно — за какую идею, почему, кто хороший, кто плохой — хочу снова воевать». — «Ясно. Ты с Тунгусом не виделся?» — «Нет». — «Ты же через Москву сюда ехал...» — «Через Москву. Не догадался его навестить». — «Навести. У него те же проблемы, что и у тебя. Он мне то же, что и ты сейчас, говорил».

Они вышли из ангара и шагали к следующему вдоль затянутого льдом берега бухты. В лед вморожены длинные деревянные лодки, завалившийся на бок катер и бакен в облупившейся краске.

Отчалив от Балтийской косы, через пролив плыл паром. Стася смотрела в сторону удаляющихся немецких ангаров. Были различимы две точки — две человеческие крошки — двигавшиеся от одного ангара к другому. Скоро их заслонил катер, вмороженный в лед возле косы.

На приближающемся причале стояли встречающие. Стася попыталась разглядеть среди них знакомых. Никого не было. Равнодушное выражение ее лица несколько от этого не изменилось. Когда она сошла по опустившейся аппарели на берег, сразу достала из сумочки на локте мобильный телефон. В трубке раздались три раза длинные гудки, потом ответил женский нервный голос: «Да». — «Мам, привет. Я в Кёниг часа через три приеду». — «Хорошо. Я сегодня работаю. — Быстрые отрывистые фразы. — Дома буду не раньше девяти». — «Ладно, давай».

Елизавета Арнольдовна — женщина около сорока с худым усталым лицом — отключила телефон и убрала его в нагрудный карман оранжевого жилета. Она управляла трамваем. Остановка. Елизавета Арнольдовна нажала красную кнопку на приборной панели и сказала в ребристый микрофон: «Кирова. Следующая остановка — Генерала Яналова». Наблюдала в зеркало заднего вида, как несколько пассажиров выходят. Пару человек зашли. Снова отжала красную кнопку: «Двери закрываются». Дернувшись, трамвай тронулся. Мимо него поплыли пешеходы, стоящие автомобили, киоски, магазины, дома... Автоинспектор-регулировщик стоял на перекрестке, скучающе смотрел то ли себе под ноги, то ли на ожидающих перед светофором пешеходов. Две молодые продавщицы, одетые в легкие наряды — без теплой одежды, — стояли возле входа в магазин и курили длинные тонкие сигареты. Водитель счищал снег со своего автомобиля. Излишне толстый мужчина шел за беспородной собакой, которая тянула его за поводок. Многоэтажное здание с ленточным остеклением — за окнами стеллажи с книгами, между стеллажами то ли студенты, то ли профессора рассматривали корешки книг. Площадь в окружении имперских, с толстыми колоннами и классическими портиками зданий. В центре новогодняя елка — искусственная. Ее разбирал рабочий, стоящий в поднятой люльке. Снимал слои мохнатой зеленой опушки — оголялся решетчатый остов елки. Слои опушки летели вниз, их подбирал другой рабочий и складывал в кузов красного микроавтобуса «мерседес». Ряды однотипных пятиэтажных панельных домов — как одна сплошная стена. Стеклопластиковое современное здание, в котором отражалась улица, ее движения. Серый мост через узкую реку. Крохотный островок со стреловидными башнями кирпичи и редкими черными деревьями парка — по дорожкам мамочки и бабушки гуляли с колясками. Спуск с моста. Слева похожее на московский Мавзолей ступенчатое монументальное желтоватое здание — часть его фундамента выпирала в реку. На углу здания стоял мужчина с пакетом и разговаривал с маленьким, не старше пяти лет, ребенком, что-то гневно ему выговаривал. Ребенок жалобно смотрел на взрослого, задрав голову, в одной ручке — желтая поломанная лопатка. Снова безликие панельные многоэтажки сплошной стеной. На одном из балконов курил мужчина в пуховике, облокотившись на перила. Перекресток — поперечный поток автомобилей. Проехал самосвал, груженный снегом. Красный глаз светофора погас, загорелся на несколько секунд оранжевый, затем — зеленый.

Трамвай снова ехал.

Перед киоском с крупной надписью «Пончики по 10 руб.» кучковались школьники. Перед входом в книжный магазин девушка и юноша — девушка отстранялась от его поцелуя, прогибалась назад, смеялась. Пенсионерка с клюкой ковыряла снег под ногами, кажется, что-то выискивала. Папаша с разноцветной яркой коляской. Серое коробочное здание театра с памятником Маяковскому перед ним. Начались ряды германских пятиэтажек — болезненный цвет, черепичные крыши и пустые дворы с редкими корявыми деревьями. Прямо посреди проезжей части красные средневековые ворота — заостренные копы башенок, две стреловидные арки. Трамвай проезжал под одной из арок — его грохот по рельсам зазвучал громче. Кто-то из пассажиров недовольно сморщился. Железнодорожный вокзал. Сине-красный локомотив распускал черные клубы дыма, за ним полтора десятка зеленых вагонов. Объявление из динамиков: «Поезд номер сто двадцать три Калининград–Москва отправляется со второго пути через пять минут».

Высоченный полупрозрачный навес над перронами. Поверху его надпись «Москва». К одному из перронов прибывал длинный пассажирский состав. По перрону шла ухоженная длинноволосая девушка с ярко-красно накрашенными губами. Ей вслед внимательно смотрел грузчик, опирающийся на поручень тележки. Двое

полицейских — толстые, сытые лица — держали руки за спинами, помахивали металлоискателями. Ковыляли старушки, везли за собой тележки на колесиках. Двое мальчишек детсадовского возраста дрались — их словесно пыталась уговорить мама. Голуби клевали кусок хлеба. Над ними стояла некрасивая и неопрятная девушка — батон белого хлеба в руке, она отламывала от него кусочки и бросала птицам. Таксист Амир стоял в начале перрона и ждал, когда навстречу ему пойдет поток прибывших пассажиров — одна рука в кармане черной кожаной куртки, в другой ключи от автомобиля. Амир крутил ключи и жевал толстыми губами.

Желтое такси ехало в потоке автомобилей по Садовому кольцу. Амир за рулем. Позади него две женщины зрелого возраста, казалось, одновременно негромко болтали между собой. Наконец одна замолкла и согласно закивала головой. Посмотрела в зеркало заднего вида — там глаза Амира, она дежурно ему улыбнулась.

Аскетичные, будто вклеенные в пространство всеми своими плоскостями, раннесоветские дома и здания, сталинские дворцы, современные витрины и жилые «свечки». Яуза и Москва-река похожи на канализационные стоки — мутная медленная жижа. Поворот с Садового. Троллейбус у тротуара — «рога» его сорвались с проводов и теперь раскачивались, задрывшись вверх. Люди на остановке как восковые фигуры, как экспонаты в зале музея. Серый свет то ли утра, то ли вечера подсвечен агрессивно-багровыми огнями.

Амир посмотрел в зеркало заднего вида. На заднем сиденье сидел бородатый, коротко стриженный молодой человек в желтой куртке и крупных очках. Между его коленей был зажат чехол с гитарой.

Третье транспортное кольцо. Пробка. Нервно сигналили со всех сторон. Самосвал со снегом слева раздувал клубы вонючих непроглядных выхлопных газов. Впереди черный внедорожник перекрывал весь обзор: что там впереди, долго стоять — непонятно.

Амир выкручивал руль вправо-влево, маневрировал в узких старых улочках — старинные невысокие дома, напоминающие торты, пирожные — улочки-кондитерские. «Такие дома как пирожные в кондитерской, да?» — спросил Амир задорно и посмотрел в зеркало заднего вида. Молодая девушка в однотонном красном платье, рыжей меховой жилетке и черных очках, закрывавших половину лица: «Извините, что вы сказали?» — «Говорю, дома шикарные, хотя и неудобно тут ездить», — он улыбнулся шире. Она кивнула и отвернулась к окну.

Площадь перед Киевским вокзалом. Суэта, толкотня. Троллейбусы, автобусы, автомобили. Амир стоял перед палаткой с шаурмой. «Брат, здравствуй!» — поздоровался он с молодым кавказцем за прилавком по-русски. «Как дела, брат? — продолжал Амир. — Мне, как обычно, и кофе дай. Не хочу чай». Он отсчитал деньги. Смотрел неторопливо по сторонам, ожидая своего заказа. Мимо проходил коренастый парень азиатской внешности, держал мобильный телефон у уха.

Парень азиатской внешности мельком оглянулся на палатку с шаурмой, на стоявшего возле нее толстого кавказца, одетого в унылую кожаную куртку, черную кепку и синие спортивные штаны с белыми лампасами, шагал дальше, торопился. Наконец ему ответили по телефону: «Да, здорово-здорово. Извини. Не слышал, что ты звонил, в метро был». — «Тунгус, там три поддона надо будет забрать, — голос из трубки, — и отвезешь, как обычно». — «Понял-понял, давай». Тунгус убрал телефон в карман. Под ногами чавкала грязная жижа. Серый свет то ли утра, то ли вечера.

Помещение с приглушенным светом. Деревянные массивные столы, сверху на них поставлены перевернутые стулья. Барная стойка — за ней пусто. За одним из столов — единственном, на котором не стояли стулья, — сидел Тунгус: ел суп, пе-

ред ним поднос с жареным мясом, салат, куски аккуратно нарезанного хлеба. Он сидел один, в помещении тихо. Только слышно, как откуда-то с кухни доносится то звяканье посуды, то бьющая тугой струей вода. «Анфис, — позвал Тунгус, — включи, пожалуйста, телевизор. Футбол посмотрю». Под потолком на стене загорелся экран, плавно нарастали звук и яркость — по зеленому полю бегали люди в желтых и синих майках, гудели колышающиеся студни трибун.

В зал зашла крупная миловидная девушка — черноволосая, черноглазая, широкие бедра, волновались обильные груди — вероятно, украинка, одета в красно-черные форменные блузку, кружевную юбку и фартук. Она улыбалась Тунгусу. Тот: «Как сегодня? Устала?» — «Устала, даже нет сил разговаривать, — она села напротив него и положила голову на стол, — домой хочу поскорее». — «Сейчас поедем. Дом. Не оставаться же голодным». — «Доедай», — она закрыла глаза.

Открылась дверь в прихожую — желтый прямоугольник с лестничной площадкой в темноте. Щелкнул выключатель, прихожая осветилась — она узкая, на крючках несколько курток-унисекс, на полу на газетных листах аккуратно расставлены женская и мужская обувь для разных сезонов. Тунгус и Анфиса. Он помог ей раздеться. Она сразу ушла в туалет — хлопнула дверь. Тунгус раздевался неспешно — черный пуховик, черная шапка, расстегнул вязаную коричневую кофту — под ней тельняшка, армейские однотонные зеленые штаны с накладными карманами. Надел тапочки, шаркая, пошел в единственную комнату. В комнате широкая старая кровать, платяной шкаф, стол, три стула, на столе ноутбук и кипа деловых бумаг, единственное окно закрыто темно-синей шторой — очень тесно. Тунгус упал, не раздеваясь, на кровать, поперек ее, и подтянул под голову подушку. Крикнул: «Анфиса, жду тебя. Выходи, я уже по тебе соскучился», посмотрел на потолок, там желто-ржавые разводы от случившихся протеканий воды.

Чебуречная. Стульев нет. Посетители стояли за высокими столами. Народу полно. Шумно. На столах пластиковые тарелочки с тонкими чебуреками, стаканчики с чаем или кофе, бутылки и банки с пивом, «мерзавчики» с водкой. Студенты, рабочие, пенсионеры, мужчины, женщины, славяне, кавказцы, азиаты, даже пара негров, жестикулирующих вполне по-славянски — резко и размашисто. Тунгус разливал из «мерзавчика» водку в пластиковые стаканчики. Напротив него Саня. Между ними на столике тарелка с чебуреками и две стеклянные бутылки с пивом, открыты. Тунгус передал один стаканчик Сане: «Ну, давай. За встречу» — они чокнулись и залпом выпили, запивали пивом. Тунгус свернул один чебурек трубочкой и целиком засунул в рот, кивал и улыбался довольно. Когда дожевал, заговорил: «Значит, ты уехал из Сибири. А как же школа твоя?» — «Никак. Просто без меня. Другого учителя найдут». — «Ты, помню, писал, что какой-то остров со своими учениками ищешь... Тибун... Табун... Как он называется?» — «Дильмун». — «Нашли вы? — Тунгус снова разливал водку. — Где он? В Сибири?» — «Нет. Это в мифологии шумеров был такой остров — Дильмун, — грустные глаза Сани немного прояснились, появился задор. — Они считали, что это их историческая родина, что в Месопотамию они попали с Дильмуна. Одни историки считают, что он действительно существовал. Другие — что это только миф, просто символ потерянного рая. Позже этот образ потерянного рая попал во многие религии. Потерянный рай в Библии, например, считается, списан именно из шумерской мифологии». — «Так он был, — Тунгус передал Сане стаканчик с водкой, — или не был?» — «Вот я и копался с учениками в книжках по истории Месопотамии, новости из Интернета по археологии на английском выуживал... Я им сказал, что этот остров был — без сомнений. Когда-то действительно было место, которые люди считали раем на Земле. Во времена шуме-

ров. И шумеры туда плавали. Есть записи на клинописных табличках, рассказывающие, что шумеры плавали на Дильмун торговать, в гости, просто ради любопытства. Но неизвестно, где именно находился Дильмун, его местоположение». — «И ты с учениками пытался найти его местоположение?» — «Точно. Мы с ними решили, что в будущем обязательно организуем экспедицию и найдем его. Но для этого нужна теоретическая база: где должно быть его местоположение? Я им искал новости по археологическим исследованиям шумеров на английском, а они мне переводили, искали информацию, зацепки о Дильмуне». — «Здорово. Давай выпьем за твоих школьников. Молодцы они». Чокнулись, влили в себя водку, запили пивом, взялись за чебуреки. Тунгус прожевал и кивнул: «Значит, говоришь, потерянный рай там был?» — «Представь, найти место, которое люди пять тысяч лет назад считали раем. Круто?» — «Еще бы». — «Понятно, что учеников такое дело увлекло. Они мне десятки страниц с английского каждую неделю переводили». Третий тост они пили не чокаясь. «За тех, кто не вернулся».

Тунгус сходил на раздачу за новой порцией чебурек. Посетители за соседними столиками сменялись: уходили, приходили другие. Между спин протискивалась женщина в форменном халате и фартуке с тележкой, собирала мусор со столиков.

«Скучаешь по войне? — после очередного тоста спросил Саня. — Тянет туда обратно?» — «Вот. Хотел тебе сказать. Хотя и цинично, да... Наш потерянный рай — это война. Наш... вот остров, как ты его называешь, он на войне. Прав я?» — «Верно. Меня обратно тянет так, что сил нет. Из-за этого из школы ушел, не мое это. Не хватает войны. Кажется, от всего готов отказаться, чтобы на войну вернуться». — «Понимаю. Я тоже много об этом думаю. Знаешь, чего скажу? Там была такая искренность и... и близость, что ли, отношений между людьми, которая в мирной жизни не возможна. Опасно — да. Риск — конечно. Зато каждое мгновение проживаешь, чувствуешь его, действительно им дорожишь. Потому что, когда бой, — не знаешь. Кто вернется из боя — неизвестно. Рискуешь самым ценным, что есть, — своей жизнью. И поэтому ценишь ее. И ценишь тех, от кого она зависит. Всем с ними делишься, помогаешь, тебе помогают. А в мирной жизни что? Растрачиваешься по мелочам, по каким-то пустякам — глядишь, день прошел, неделя прошла, год... Ужас. Ты даже не замечаешь, что живешь. — Саня слушал его очень внимательно, не шелохнувшись, положив сжатые кулаки на стол. — Я не философ, да. Но я, Сань, очень много над всем этим думал. Пытался проанализировать. Ты умный мужик, поэтому с тобой делюсь. Со своей Анфисой мне без толку говорить. Она не понимает». — «Да и моя не понимает. Скандалим с ней. Надоело. Извини, что перебил». — «Нормально все. — Выпивки они больше не касались. — Война дала нам понять, что такое настоящие человеческие отношения. И оказалось, что мы по-другому жить не хотим». — «Именно так. Мы научились ценить другого человека по-настоящему. Научились действительно нести ответственность, а не на словах. В мирной, смотри, столько болтают, суетятся, а жизни у них нет, нет ценности человеческих отношений». — «Верно. Ты меня понимаешь. Как я рад тебя видеть, Сань». Они обнялись через стол.

Теперь с раздачи вернулся Саня — тарелка с чебуреками, два новых «мерзавчика». Расставил на столике. У Тунгуса зазвонил телефон. Он спешно вытирал салфеткой замасленные руки. Вытащил телефон двумя пальцами из внутреннего кармана куртки — посмотрел на монитор и поднял указательный палец вверх: «Моя звонит».

Отключив связь, Анфиса задумчиво вытянула губы по-утиному. Она стояла в гардеробе перед зеркалом — на ней форменные красно-черные блузка, кружевная юбка и фартук, вытянутые геометрические рисунки ажурных колготок. Повер-

нулась к зеркалу боком и сфотографировала себя на телефон. Посмотрела снимок: «Да, я хорошенькая. Миленькая даже», — заулыбалась удовлетворенно и убрала телефон в карман фартука. Вышла в зал — здесь за столиками сидели посетители ресторана, негромко разговаривали, ненавязчиво играла спокойная музыка. Проходившая мимо официантка с пустым подносом отрывисто сообщила: «За седьмым попросили счет». — «Хорошо, сейчас».

Анфиса стояла перед столиком — в руках блокнот, записывала заказ. За столиком трое мужчин в деловых костюмах и галстуках — в возрасте тридцати пяти-сорока лет. Один за другим они сообщали свои заказы, закрывали и откладывали меню. «Больше ничего не желаете?» — финально спросила Анфиса, улыбаясь. Один из мужчин — ухоженный, со спокойным, уверенным выражением кирпичного лица — закинул ногу на ногу и спросил: «Вас можно в нашу компанию пригласить?» — «Извините, — кокетливым тоном отвечала девушка, — у нас не принято персонал приглашать... В рабочее время». — «То есть в нерабочее можно?» — «Но сотрудник вправе отказать». — «Мы ласково пригласим, чтобы сотруднику... то есть сотруднице — мы, знаете ли, гораздо больше сотрудницами интересуемся, — чтобы сотруднице приятно стало, таким образом сделаем приглашение». — «Посмотрим», — Анфиса развернулась и, подчеркнуто виляя бедрами, удалилась. Говоривший с ней мужчина удовлетворенно смотрел ей вслед.

Кожаный салон внедорожника. Снаружи ночь и электрические огни. Внутри — трое, делавшие заказы в ресторане, Анфиса и громкая англоязычная музыка. Двое с ней на заднем сиденье. Один за рулем — управлял машиной одной рукой, в другой стеклянная бутылка с пивом. Девушка порядком пьяна — форменная блузка растегнута на пару пуговиц больше, чем требует строгость этикета, видны белый бюстгальтер и не уместающиеся в нем груди. Юбка задралась. Колготок на ногах уже нет. В руках бутылка с шампанским. Анфиса звонко смеялась. Ее обнимали сразу двое мужчин. «Вы только не подумайте, что я какая-нибудь развратница, мальчики, — говорила она, глядя на них поочередно. — Мне правда с вами очень нравится. Вы такие хорошие. Вы — очень классные». — «Да, девочка, мы очень классные. Мы умеем ценить девочек, которые знают толк в классных мужчинах», — слово «классный» он произносил с издевкой.

Поднимались по лестнице. Один мужчина впереди с ключами. За ним щебечущая Анфиса, обнимая-опираясь на двоих других, — один из них сунул руку под ее юбку. Лестничная площадка. Ключ громко шелкал в замке.

Иосиф Львович смотрел в замочную скважину, как в соседнюю квартиру заходили трое мужчин с пьяной девушкой. Иосиф Львович — маленький сморщенный старичок в поношенной розовой женской пижаме и мягких тапочках. Дверь соседней квартиры закрылась. Старичок еще подождал некоторое время и пошел в гостиную. Смотрел на вход в подъезд под своим окном. Заставленный автомобилями двор пуст и молчалив. Мигали синие огоньки сигнализаций за лобовыми окнами автомобилей. В нависших низко облаках отражалось багровое зарево города.

Зал исторического музея. Среди экспонатов, спрятанных под стеклянными колпаками, прохаживался Иосиф Львович — руки заложены за спину, на нем поношенный

пиджак, такого же фасона брюки, белая рубашка, ржавого оттенка галстук и начищенные до блеска старые туфли. Мимо прошла галдящая группа школьников. Старичок обратил внимание на высокую старшеклассницу с большими, будто удивленными и испуганными одновременно, глазами, повернулся ей вслед.

Янтальская старшеклассница Вика вместе с другими школьниками — она единственная старшеклассница, остальные из пятого, шестого и седьмого классов — бродила по залам с предметами месопотамской древности. Группой руководила низкорослая полная учительница. «Ничего не трогаем», — назидательно повторяла учительница.

Под стеклами на бархатных подстилках алебастровые статуэтки: сидящие на тронах бородатые и безбородые, налысо бритые мужчины с выпученными глазами в форме то ли заходящего, то ли восходящего солнца — с типично месопотамскими глазами. На них длинные юбки то ли из перьев, то ли из длинных и узких листьев. «Во, смотри, Вика, они глазастые, как ты!» — прогомонил стоявший рядом семиклассник. Старшеклассница недовольно посмотрела на него. Он продолжал: «В одних юбках ходили, и не холодно им было?» Из-за его спины заговорила семиклассница с брезгливым лицом: «Ты, Ефимов, че, совсем? У них же там круглый год жара была».

Древний Шумер. Один из его городов. Яркое солнце — ослепительное белое бельмо. Ступенчатый зиккурат красноватого оттенка в окружении пальм и тростниковых хижин. Помещение на его первом уровне. Вход занавешен плетеной занавеской. Внутри в сумрачном свете расплывшиеся сценами из местной жизни стены (человеческие фигурки между горизонтальными линиями друг над другом шли в военный поход, пировали, сеяли и собирали урожай, женились, приносили жертвы богам, поклонялись царям) и каменные столы — перед ними на деревянных табуретах бородатые светлокожие мужчины в длиннополых юбках, копии алебастровых статуэток. На столах лежали подсыхающие таблички — исписанные клиньями и еще пустые — с одной стороны, с другой ветхие, надломившиеся по краям, потертые таблички с текстами и запасные палочки для письма. Мужчины переписывали тексты с ветхих на подсыхающие. Тонкая палочка, заточенная на конце в форме треугольника, неглубоко и быстро входила в податливую глину. Раз другой, третий... оставались десятки, сотни тесно составленных клиньев, будто следы крохотных суетливых птиц на песке после дождя. Мужчины разговаривали между собой: «...И неделю тому назад приплыл с Дильмуна». — «Как ему Дильмун?» — «Говорит, что ничего необычного. Никакой особой красоты — ни в природе, ни в женщинах, ни в зданиях. Все то же, что у нас. Даже победнее у них будет». — «Победнее? На Дильмуне? Да у них же все есть?» — «Мой брат говорит, что это только рассказывают. Нет там особой роскоши». — «А почему же тогда говорят, что там — лучшее место во всем человеческом мире?» — «Он рассудил это потому, что жители Дильмуна по-прежнему дарят родным и гостям то, что им необходимо. Платы не просят. Даром — бери и благодари, принеси затем обязательно жертву богам во имя подарившего». — «Даром? — спрашивавший поднял голову от своей работы. Возмущение на его лице. — Известное дело, что торговля разумнее дарения. У них, получается, ты зависишь от дарящего: когда он решит подарить тебе то, что необходимо. При торговле — ты сам выбираешь время и место, чтобы приобрести необходимое». — «Получается, что Дильмун называют лучшим местом, потому что они сохраняют старые, у нас уже отжившие свое традиции. Так рассудил мой брат. Ему виднее, он туда плавал. Я лишь пересказываю его рассказ». Упала одна из ветхих табличек — раз-

билась о пол, выложенный необожженными кирпичами. Переписчик, с чьего стола она упала, равнодушно поднял ее. Вышел на улицу. Мимо брели двое мужчин в таких же длиннополых юбках из листьев, головы прикрывали тонкими плетеными треугольниками. Переписчик швырнул разбившуюся табличку в кучу других разбившихся табличек.

Солдаты с темно-коричневыми потными лицами и жесткими кучерявыми волосами. На них оливковая форма с яркими красно-черными шевронами: скрещенные сабли, орел, смотрящий вбок, толкотня надписей на арабской вязи. За спинами у каждого АК-47, перевернутый вниз стволом. Солдаты торопились — устанавливали гаубицу Д-30 на позиции. Другие — парами — перетаскивали деревянные ящики с боеприпасами из грузовой тентованной машины песчаного цвета. В нескольких метрах от них оплывшая возвышенность — отчетливо заметна ее кирпичная кладка — останки одного из шумерских зиккуратов. В стороне маневрировал бежевый броневик «хамви». Позади него артиллеристы устанавливали на позиции еще три гаубицы. Солдаты разворачивали станины лафета, чиркая по песку. Грохали выставляемые друг на друга ящики со снарядами. Офицер — поджарый низкорослый паренек лет двадцати пяти, аккуратно выбритый, впалые щеки, блестящие черные глаза, пальцы тонкие и длинные, как у художника или писателя, — присел на руины зиккурата и переговаривался по рации, ковырял носком ботинка песок. Вдруг его нога наткнулась на что-то твердое — он с силой ударил: вылетел кусок глиняной таблички. Офицер пристегнул рацию к карману на груди и подошел к табличке. Поднял ее — мелкая частая клинопись. Равнодушно отшвырнул в сторону и отряхнул руки.

Подъехал еще один песчаный «хамви». Из него выгрузился толстый офицер в чистенькой форме и звездах, выпирающих с погон. За ним выгрузилась съемочная группа тележурналистов: двое сухощавых мужчин — оба в черных бронжилетах и касках с наклейками «Press», у одного профессиональная видеокамера, у другого микрофон с болтающимся шнуром. Толстый офицер важно махал рукой (в другой рация), показывая, что и как снимать.

Ночь. Свет в комнате выключен. Саня сидел перед работающим ноутбуком — голубоватый свет на его лице: напряженном, заросшем клиновидной бородкой и усами, внимательные глаза. На мониторе репортаж некоего арабского канала: в небо падали Д-30, крики артиллеристов, глухо стучались закидываемые в ствол снаряды, черно-серые столбы разрывов вскидывались над серыми бетонными зданиями, трепыхались пальмы, облетали их листья, танцующие солдаты-пехотинцы падали в воздух из автоматов...

Марина НЕМАРСКАЯ

* * *

Только сорок восемь часов в году
ты идешь, и я за тобой иду.

Все равно, что прошлое, что потом,
пробуй радость ртом.

Только сорок восемь часов в году
на объятья, смех, хмельную езду,

затемненный номер средней руки
и расширенные зрачки.

Только сорок восемь часов в году
положись на падающую звезду,

и такая тишь воцарит кругом,
хоть в постель с врагом.

* * *

Зимний день. И зло забылось вроде.
Только под Христово Рождество
взвоят на беззвездном небосводе
вечность человека одного.

Вечность, развеселая попутка,
героин, с которого не слезть,
легким помутнением рассудка
запрягает нервную болезнь.

Словно из-под ног канатоходца
вырвали серебряную нить.
Падай же. Ведь все равно придется.
Вечности землей не заменить.

Марина Андреевна Немарская — поэт, литературовед, преподаватель. Периодика: «Вечерний Петербург», «Зарубежные задворки», «Урал-Транзит», «Молодой Петербург», «Литературная газета», «Дети Ра», «Зинзивер», «Нева», и др. Лауреат международного конкурса искусств «Новые имена» (2002). Лауреат Открытого Международного чемпионата Балтии по русской поэзии (2013, 2014). Приз литературного портала «Русский переплет» (2014). Финалист Международного литературного конкурса имени М. А. Волошина (2014). Финалист Международного литературного конкурса имени Ф. И. Тютчева (2014). Лауреат литературной газеты «Поэтоград» (2014, номинация «Поэзия»). Критические отклики: «Зарубежные задворки», «Дети Ра». Живет в Санкт-Петербурге.

СКАЗКА

Здравствуй, мой груз двести,
позади все напасти.

Вот тебе в путь крестик,
погребальные снасти.

Вот тебе суть мести,
переворот власти.

«Сказка о злой невесте
и безмозглом фантасте».

Вот тебе честь по чести,
светотени в контрасте.

Танцы на Эвересте.
Вечное сияние страсти.

ПЕСНЯ ГОРДОСТИ

Он говорит с одной моей Мариной,
Мариною одною занят он...

А. Пушкин

Храм. С кремлевских даров, —
причитай да глазей:

голубая, мол, кровь,
дочь польских князей,

с кем свенчалась, каков?
Хоть попа не мерзей?

Молод, щедр, здоров?
От врагов, из друзей?

Впрямь опрятнее поп.
Да на что ж тебе, мать,

этот пьяный холоп?
Разве руки чесать

об тебя. От стыдоб
будешь вянуть-линять.

Что не по лбу, то в лоб,
что ни ласка, то ...ь.

Что дрожишь от свечи,
взор уткнула в алтарь?

С подвенечной парчи
жемчуга, киноварь...

Говорят. Горячит.
Голосит пономарь

за спиной. И молчит
рядом Дмитрий мой, царь.

* * *

Святой отец, чудны твои дела,
когда ты повторяешь все сначала.
Мне кажется, что я уже была
его женой и я не замечала

других людей, как небо над собой
не видишь по пути домой из храма,
покуда взор иссиня-голубой
блуждает по окрестным панорамам.

Мне кажется, сменились времена,
миры померкли и взошли из праха,
а я опять вздыхаю у окна:
Родной, ты скоро? Не забудь про сахар.

* * *

Одиночество-одиночество,
без тебя ничего не хочется.

Без тебя ни во что не верится,
будто вера тобой и меряется.

Будто благодать какая кроется...
Ты и зверь, и святая троица.

Третьим кругом ведешь, не мешкая,
за собой через тьму кромешную.

И хохочешь, когда я падаю
в трех шагах от преддверья ада.

Чтобы там, за хмельными тризнами,
превратился в золу мой избранный.

* * *

Там, где Ириновский проспект
впадает в улицу Коммуны,
метель листает, как конспект,
деревьев ветреные руны.

И небо в воздухе скитов
слезливей, чем чернильный стержень.
Сквозь монастырь идешь, никто
среди живых уже не держит.

Здесь напрямик от суеты
в слепую даль ведет дорога,
в твой мир иной, ведь только ты
здесь говоришь с собой и Богом.

И слышишь свет и видишь смех
родного первенца, и, словно
прощаясь, ты прощаешь всех.
За все. Посмертно. Поголовно.

Ованес АЗНАУРЯН

SITUS INVERSUS

Повесть

А где же время года наше?
То, пятое... Неужто не придет?
«Письмо» Паруйр Севак¹

Situs inversus

* * *

Сентябрьским летом, когда утреннее солнце упрямо и нахально хотело проскользнуть сквозь шторы и подсмотреть их наготу, когда все еще невозможно было дышать, все еще сердце молотком отзывалось в ушах и все еще ничего не было понятно, как и всегда в жизни:

- Доброе утро, милый...
- Привет... Что с нами произошло?!
- Непонятно. А ты знаешь?

* * *

Они уже знали, что времени нет — дни растаяли, как сосульки, все уменьшаясь и уменьшаясь, пока не кончились совсем. И тогда, понимали они, закончится это сентябрьское лето. Сентябрьское лето — это не бабье лето, как многие, вероятно, думают. Ведь бабье лето в Ереване, например, наступает в октябре, когда после трехдневных дождей выглядывает солнце, и тогда ты вдруг понимаешь, что за эти три дня листья на деревьях покрылись позолотой... Сентябрьское лето — это просто продолжение августа. Разница лишь в том, что с какой-то еле уловимой тоской ты чувствуешь (именно чувствуешь!), что начинает вечереть раньше да виноград становится на вкус слаще обычного, августовского винограда...

Ованес Грачикович Азнаурян родился в 1974 году. Окончил Ереванский педагогический институт, факультет истории и основ права. Публиковался в изданиях: «Литературная Армения», «Кольцо А», «Эмигрантская лира», «Дружба народов», «Нева», «Гвидеон» (издательский проект «Русский Гулливер»), «Дарьял» и т. д. Автор книг «Симфония одиночества» (повести и рассказы, Ереван, 2010), «Симфония ожидания» (сочинения, Ереван, 2014). Дипломант I этапа международного конкурса малой прозы «Белая скрижаль — 2012», участник Литературного фестиваля молодых писателей в Цахкадзоре (2012, 2013, 2014), участник международного фестиваля «Литературный Ковчег» (Армения, 2013, 2014), VII Форума переводчиков и издателей стран СНГ и Балтии (Ереван, 2013), финалист литературной премии «Русский Гулливер». Член Клуба писателей Кавказа (2014). Живет в Ереване.

¹ Перевод В. Чембарцевой.

* * *

— Знаешь, — сказал Аво, — я подумал, что несчастье можно пережить. Счастье же почти никогда пережить невозможно. Это слишком огромно!

— Милый... — Она его поцеловала.

* * *

— Ты псих! Ненормальный какой-то! Неугомонный!

— Я псих! — с радостью согласился Аво. Аделька лежала на боку, подперев ладонью щеку, и смотрела, как он зашагал воодушевленно по номеру. — Джанс!! Да, я ненормальный. И дело совсем не в том, что я могу сам себе плоскогубцами вырвать ноющий зуб или, оставшись один дома, попытаться укоротить юбку жены, испортив ее навсегда (хоть и все делал правильно, но с расчетами ошибся!); или же дело не в том, что я однажды в детстве, насмотревшись мультиков, открыл большой дедушкин зонт и сиганул в окно, с третьего этажа вниз (но ведь почти ничего не случилось! Лишь лодыжку сломал! Значит, все делал правильно, лишь в расчетах ошибся...); дело не в том, что на даче в лесу я построил плот с большим белым парусом и честно отстаивал вахты у штурвала... Дело совсем не в том, что ты называешь меня психом — что мне, не скрою, очень приятно!.. Я действительно ненормальный, не такой, как все. У меня *Situs Inversus*². О, мне нравится, какие круглые глаза ты сделала сейчас. Да-да! У меня все наоборот. Даже сердце справа! Причем обнаружилось это совсем случайно, на медосмотре в военкомате. До того, когда школьные врачи профилактически «слушали» допотопным стетоскопом всех подряд, ничего не обнаружили и лишь говорили, что, мол, удары сердца приглушенные (конечно! Ведь его искали слева, а оно у меня не там!), посоветовав когда-нибудь, если побеспокоит, обратиться к врачу. Сердце меня не беспокоило. Совсем, до недавних пор... В военкомате же спохватились. «Невероятно!» — сказали военврачи. Правда, добавили, что проблемы с сердцем у меня все же есть, хоть это никак не связано с *Situs Inversus*. У меня какой-то желудочек сердца расширен из-за недостаточного поступления воздуха. Так что в армию меня не взяли, чему я рад (и дело тут совсем не в отсутствии патриотизма). Именно с тех пор у меня и появилось хобби. Записывался на прием в поликлинику, придумывая какое-то недомогание, требующее общего осмотра, и ждал, когда врачи поймут, что у меня все наоборот. Порой до смешного доходило! Ведь не сразу догадывались, а иногда и вовсе не понимали, в чем дело, пока не делали МРТ... Вот! Теперь ты понимаешь, джанс, почему, когда я тебя обнимаю и прижимаю к себе, наши сердца оказываются рядом, стараясь перестучать друг друга? Теперь понимаешь, почему, если прислушаться, они вместе выдают музыкальный размер в $\frac{3}{4}$? Так что, когда я обнимаю тебя, всегда получается вальс... Это когда я тебя обнимаю вот так!.. Хочешь кофе? Это твой маккофе, правда, без пенки и без узора, как ты любишь, потому что это не капучино.

* * *

— У нас четыре летних месяца, ты не знала? И пять времен года.

² Транспозиция внутренних органов (*situs inversus*) (также называемая зеркальным (обратным) расположением внутренних органов) — редкое врожденное состояние, в котором основные внутренние органы имеют зеркальное расположение по сравнению с их нормальным положением: верхушка сердца обращена вправо (сердце находится с правой стороны), печень расположена слева, желудок справа (Википедия).

* * *

- Почему ты меня нюхаешь?
 - Хочу определить, как ты пахнешь.
 - Ты этого не сделал еще до сих пор? За всю ночь?.. Определил?
 - Да.
 - И?
 - Ты пахнешь луной. И еще ванильными печеньями.
 - Я пахну луной, — повторила почему-то Аделька. — А чем пахнешь ты, Аво?
- Он подумал и ответил:
- Я пахну небом. И красками.

* * *

Они ничего не поели в тот день, только конфеты и плитку шоколада, что были почему-то у Адельки в сумочке, которыми и закусывали коньяк, который Аво принес с собой вчера вечером к ней в номер и... остался до утра. Они в тот день так и не вышли из номера. Много разговаривали, прерываясь лишь на то, чтоб заняться любовью. Говорили взахлеб, перебивая друг друга, дополняя, понимая и схватывая на лету, словно старались успеть дорассказать то, что не имели возможности рассказать до этих пор, потому что еще не были знакомы. Хотя... Теперь им казалось, что они были знакомы всю жизнь. Так ведь всем влюбленным кажется, что ли...

* * *

— ...Я ушла от него. Просто так взяла подушку, которую мне мама подарила, и ушла. Ночью. Наверное, как-то странновато это выглядело: молодая, легко, не по погоде одетая женщина быстро шагает по ночным улицам с подушкой в руке... Потому что мне все надоело. И он надоел мне. И я устала жить. Я вообще не хотела жить. И просто ушла... Я две ночи провела в аэропорту. Нет, мне никого не хотелось видеть — ни подруг, ни знакомых. Было что-то успокаивающее в многочисленных пассажирах, ожидающих свои рейсы, в вечных уборщицах. Мне нравилось смотреть на встречающих, провожающих. Мне нравилось, глядя на них, придумывать их биографии, истории... Поскольку я решила, что моя жизнь закончилась, я стала жить жизнью этих незнакомых мне людей. А потом... Потом я позвонила другу отца, и он забрал меня. И сдал за полцены свою квартиру, которая пустовала...

* * *

Просто однажды сентябрьским летом, вечером, у гранитного парапета над Разданским ущельем во дворе церкви Святого Саргиса в Ереване случилось это:

- Привет! Меня зовут Аветис. Авик. Аво. Я... художник.
- Привет! А меня Ада. Аделя. Фотохудожник. Очень приятно...

* * *

Накануне вечером, специально заехав в бар «Сезанн», где работал Аво, Товмá сказал своему другу:

— Приходи! Хорошо? Отдохнешь от своей барной стойки. Хоть немного отдохнешь. Ведь ты художник, а не бармен.

— Уже не уверен насчет последнего, — вздохнул Аво, но обещал прийти.

Товма был в своей неизменной бейсболке и небритый. «Щетина у него совсем седая, — подумал Аво в которой раз. — А ведь когда Том бритый, совсем и не поймешь, что он поседел. И дело совсем не в лысом черепе — идеально круглом, как, впрочем, у нас у всех (как говорил футер? „Мы брахиоцефалы, мой мальчик, круглоголовые“). Товма просто не меняется. Уже несколько лет я его знаю, и он совсем не изменился...“. Странно было познакомиться с Томом и всеми остальными. Странно было, потому что они все были намного старше его — Том, Рубик, Арам. Но они познакомились и подружились. И самым младшим из них был Аво.

— Рубик тоже будет? — спросил он Товма.

— Конечно, будет. Как же мы без Рубика?

— А Арам? Что есть от Арама? У тебя есть сведения об Араме?

— Ничего. Как уехал в свой Капан, так и пропал. Знаешь. Это все же похоже на добровольную ссылку. Причем непонятно, за что он себя наказывает. Недавно в Капане был один мой знакомый. Общий знакомый. Говорит, Арам поступил работать учителем в одной из тамошних школ. Дурак!

— Но почему? — пожал плечами Аво. — Может, он нашел свой покой, и он счастлив? Кстати, а как Ашхен?

— Как может быть Ашхен? Как жена, которую с двумя детьми бросил муж. То есть паршиво. Дурак наш Арам.

— Не знаю...

— Вы, капанские, такие непредсказуемые и непонятные, — съязвил Том.

* * *

Молодая, очень красивая женщина сидела вполоборота на гранитном парапете над ущельем на виду церкви Святого Саргиса и смотрела на гору. На ней были терракотовое платье, туфли на каблуках, шелковый синий платок на шее, поднятые на голову солнечные очки. Остальные гости Товма, как понял Аво, были в церкви.

— Привет! Меня зовут Аветис. Авик. Аво. Я... художник.

— Привет! А меня Ада. Аделя. Фотохудожник. Очень приятно.

— Вы не хотите зайти в церковь? — спросил он.

— Я уже вышла оттуда, — сказала молодая женщина. — Не хочется пропустить вот это. — И она показала на розовый от заходящего солнца, словно смущенный чем-то, Арарат и акварельные облака на западе. — А у вас совсем лето еще.

— Да, лето, — кивнул Аво. — Но ведь скоро и ему придет конец. Так всегда бывает.

— А это не важно, — улыбнулась Аделя. — Никогда не важно, что будет потом. Важно то, что есть теперь.

— Интересно... — Аво внимательно посмотрел на нее. — Что же есть теперь?

Аделька снова рукой показала на гору:

— Вот это и есть.

— Интересно. — Аво закурил.

* * *

— Барев, Аво-джан.

— Барев, Рубо-джан.

— Ты с нами?

— Да. Том позвал.

— Это очень хорошо. Апрес.

Если Товма был вне времени, то Рубик постоянно путешествовал в этом времени — ему было то двадцать шесть, то шестьдесят шесть, а то и вовсе все девяносто. А потом что-то случилось, и Рубик в мгновение ока превращался в двадцатилетнего юношу. Рубик был в своем неизменном жилете с многочисленными карманами, словно позаимствованном у какого-то путешественника. И, по обыкновению, молчал больше, чем говорил.

* * *

На ужине сели рядом. Просто так получилось. И это развеселило их. К ним подошел Товма. Длинный. И родной. Аво всегда было уютно в доме у своего друга.

— Вы познакомились? По-настоящему? — сказал он Аделе и Аво. — Я думал, что вас надо как-то свести обязательно. Что вы можете оказаться интересны друг другу... — и мило улыбнулся.

— Спасибо, Том. Мы сами, как видите, познакомились, — ответила Аделя, весело улыбнувшись. — Сядете с нами? Присоединяйтесь! Аветис как раз проводит урок всемирной истории.

— Нет, спасибо. Я пойду к остальным гостям. Погода меняется — что-то давление скачет... — А потом Авику, уже на армянском: — Хорошо, что пришел, Аво. Апрес! Рад!

* * *

А потом случилось это. Сентябрьским летом, когда утреннее солнце упрямо и нахально хотело проскользнуть сквозь шторы и подсмотреть их наготу, когда все еще невозможно было дышать, все еще сердце молотком отзывалось в ушах и все еще ничего не было понятно, как и всегда в жизни:

- Доброе утро, милый...
- Привет... Что с нами произошло?!
- Непонятно. А ты знаешь?

* * *

— Так вот, милый. Если ты начнешь помогать мне со сборами чемодана, мы Армению сегодня не посмотрим, и я не сфотографирую в итоге ничего. Иди погуляй немного. Поздоровайся с Енгибаровым³. Пококетничай с девушкой из ресепшна.

- Ты меня прогоняешь?!
- Тебя, видимо, еще долго не получится прогнать, — вздохнула, улыбаясь, Аделяка. — Просто иди погуляй. Дай мне собрать вещи.

* * *

Эджмиацин, Звартноц, Гарни, Гехард, Ошакан, Севан, Норатус, Нораванк...

— Как вы можете жить в окружении стольких церквей?! Вы должны быть все святыми! Как вы можете жить с осознанием того, что первые церкви на Земле построены именно у вас?!

И дальше — дорогой вверх, вверх, под самое поднебесье, совсем близко к облакам, совсем чуть-чуть не достигая Бога...

³ В Цахкадзоре находится памятник Л. Енгибарову (скульптор Д. Минасян).

* * *

Когда пешком поднимались на лысое плато, утыканное камнями, как зубами дракона — Зорац Карер⁴, — Аво показал на высоковольтные столбы и сказал, что от них умирают медведи.

— В смысле? — удивилась Аделя, щелкнув пару раз из своей камеры далекие столбы.

— Слышишь, как жужжат провода?

— Да.

— Оказывается, частота этого жужжания точь-в-точь совпадает с частотой жужжания пчел. И медведи вон с тех лесов думают, что на столбах мед. Они поднимаются, и их бьет током.

— Ты заливаешь, Гуланянчик! Не может быть такого!

— Вовсе нет, — сказал Аво. — Все взаправду. Глупые они — мишки!

— Они просто доверчивые, — сказала Аделька грустно.

— Вот вороны умные, — почему-то сказал Аво. — Они смекалистые. Не то что медведи, которые лезут на высоковольтные столбы и умирают.

— Перестань!

Дойдя до плато, стали смотреть камни. Аво рассказывал Адельке, что у ученых разное мнение об этих камнях. Вероятнее всего, эти камни были храмом главного бога древних армян Ар-а (Солнца) и Тира, «секретаря» его — покровителя наук и письменности. Что эти камни были точнейшей обсерваторией, позволяющей производить измерения с точностью до двух секунд. Что памятник этот построен более 7500 лет тому назад, то есть за 3500 лет до Стоунхенджа.

— Как ты все это запоминаешь? — удивилась Аделя.

— То, что люблю, запоминаю, чтоб не забыть, — был ответ.

— Знаешь, я была в Стоунхендже. Но там не было дырок в камнях.

— А здесь есть, — почему-то упрямо сказал Авик. — Чтоб на звезды смотреть через эти дырки, как в телескоп. Понятно? И еще тут медведи поднимаются на столбы и погибают...

— Тебя заклинило на этих медведях? — уже рассердилась Аделька.

— Иногда мне кажется, что ты высоковольтный столб. А я медведь... И ты убьешь меня...

— Вот уж спасибо!! — обиделась Аделька. Но потом сказала: — Да, ты прав, я тебя убью. Но я обязательно тебя воскрешу потом. Как Изиды Осириса.

— Или как Шамирам Ара Прекрасного.

* * *

Низко пролетали облака, и казалось, вот-вот зацепятся за те деревья в низине; солнце же обдавало тебя фиолетом, и ты кожей чувствовал, как загорают лицо, плечи, руки.

— Почему в армянском в конце слова добавляют «с»? Режет слух.

— Это и должно резать слух. Смотри, — сказал Аво, улыбнувшись. — «С» в конце слова заменяет притяжательное местоимение «мой/моя» первого лица. Скажем, «джанс» — «моя джан». Понимаешь?

— Понимаю, — кивнула Аделя. — Как будет по-армянски солнце?

— Арев.

— Можно будет сказать «аревс»?

⁴ Зорац-Карер (*арм.* — камни воинов, каменное войско) — древний мегалитический комплекс (Википедия). Переводится название также как «камни силы».

— Да...

— Аревс, — повторила Аделя. — Сердце?

— Сирт.

— Сиртс. Душа?

— Хоги.

— Хогис. Жизнь?

— Кянк.

— Кянкс...

— Ты записываешь слова в блокнот? Зачем?

— Чтоб сказать тебе: джанс, аревс, сиртс, хогис, кянкс!

У Авика сделались круглые глаза.

— Есть еще одно слово. Сер⁵.

— Что оно означает?

— Пока неважно. Запиши в свой блокнот и скажи.

Аделька записала слово и произнесла:

— Серс.

— У тебя премилое произношение, Аделя. Пойдем. Солнце скроется скоро за облаками, и станет холодно. Мы же очень высоко. А жакет ты не взяла.

* * *

— «Авос» — это будет означать «мой Аво»? — спросила Аделя. — Так можно сказать?

— Да. Это тоже запишешь в блокнот?

— Твое имя я еще не забыла.

— Спасибо!

Аделя рассмеялась и взяла его под руку.

— Ты чего такой злой сегодня? Потому что я прогнала тебя утром?

— Да нет... Наверное, вспышки на солнце...

— Авос, серс! — сказала Аделька.

— Ты же не знаешь еще, что это слово означает! — сказал Авик, пожав плечами.

Аделя улыбнулась, как улыбаются трудным, капризным детям, и сказала:

— Знаю, что означает. Я поняла. Я догадалась! Авос! Серс! И ты очень хороший!

— Я трудный, — сказал Авик и поцеловал ее в висок. — Армения тоже трудная. — И вспомнил: «Армения — потусторонняя страна». Это придумала Аделя.

* * *

Снова поехали. Снова были небо и облака, снова были горы. А потом пейзаж вокруг стал меняться. Стало больше лесов, и облака поднялись выше. Над ущельем справа парил орел, делая большие круги, и казалось, сопровождал машину и оберегал ее.

— Там внизу река? — спросила Аделька.

— Да. Воротан называется. «Ворот» — гром, «воротан» — громыхающая. И мы едем в Татев. Кстати, у тебя нет боязни высоты?

— Нет. А у тебя?

— Есть, — вздохнул Аво. — Но это ничего. Рубик научил меня, как с ней справляться.

⁵ Сер (арм.) — любовь.

* * *

Дедушка однажды забыл меня одного на даче, и я чуть было не сорвался с обрыва. Понимаешь, дедушка взял меня с собой на дачу — полить яблони в саду, огород, собрать лоби. С утра еще. Мне было десять лет, и я помогал дедушке, как мог, хотя больше играл, но слушал его внимательно (так что я, например, знаю, как правильно поливать клубнику). А потом к нам в гости зашел сосед по даче, Гарник-даи, односельчанин деда, приблизительно одного с ним возраста. И принес с собой тутовку. И они стали выпивать. Я продолжал возиться в огороде, потом что-то подустал, лег отдохнуть под яблоней и заснул... Когда проснулся, была уже ночь. И дедушки с соседом-односельчанином нигде не было. Не найдя деда и в доме, я понял, что он просто меня забыл и уехал из дачного поселка... Сначала я очень испугался и заплакал. Чего больше всего боится ребенок? Да, что его забудут... Но потом упрямство взяло вверх. Я благодаря лампочке, горевшей на веранде дома и карманному фонарю, стал собирать лоби! И тогда взорвалась гроза, и стало очень холодно, но я не прекращал собирать лоби. Все собирал, собирал и вдруг, споткнувшись о камень, покатился по мокрой траве к обрыву — именно со стороны обрыва забор-то и упал, еще зимой, а деду все никак охоты не было починить. В последнюю секунду мне удалось зацепиться за какой-то крюк, и я повис над обрывом, с ужасом смотря на реку, чернеющую внизу... Я спасся... Лоби я все-таки собрал весь — получился целый мешок! И, заперев ворота дачи, пошел по шоссе, с мешком на плече. Вскоре меня подобрал грузовик. Я сказал водителю, что моему деду стало плохо, и он на машине друга срочно уехал в село, в Арцваник — я точно знал, что дедушка не вернулся в город, в Капан: ведь бабушка НАПОМНИЛА бы ему, что он потерял внука! И он бы уже давно забрал меня.

- Моего дедушку зовут Ашот Смбатич. Знаете?
- Конечно, знаю, — пожал плечами водитель грузовика.
- Он поехал с Гарником-даи. Знаете его?
- Конечно, знаю. — Водитель снова пожал плечами.
- Мой дедушка у Гарника-даи дома, в Арцванике.
- Ну, поедem, посмотрим.

Я тебе точно могу сказать, что я знаю, как это бывает, когда говорят: «Ужас был написан на его лице». И именно абсолютный, тотальный ужас я прочел на лице деда, когда он увидел меня, промокшего насквозь, с тяжелым мешком на плече, поднимающегося по деревянным лестницам сельского дома Гарника-даи на веранду, где он сидел за столом с шашлыком и туговой водкой.

— Ашот-папи! Я все лоби собрал! — закричал я и подумал: «Бабушка его убьет, если узнает».

Я бабушке так никогда ничего и не рассказал

* * *

Слушай! Бабушка плохо видела, а дедушка плохо слышал. Помню, как они смотрели «Адъютант его превосходительства». Бабушка громко пересказывала диалоги, а дед объяснял, кто есть кто (ведь там все в формах, и не различишь). В итоге они ругались, потому что дедушке казалось, что бабушка не все диалоги ему в ухо орет, а бабушка не соглашалась с тем, что она, мол, не различает актеров и что дед сам всех путает. В конце концов они вырубали телевизор и всячески начинали демонстрировать друг другу полнейший игнор (дед утыкался в газету, а бабу принималась вязать, сердито сдвинув брови и бормоча под носом проклятия, которые порой могли

быть адресованы родственникам деда, живущим еще в начале прошлого, XX века). Наконец дед не выдерживал и, голосом, хоть и просящим, но ни в коем случае не теряющим достоинство, произносил:

— Елен, а дай-ка мне чаю.

Бабушка фыркала:

— Ашот! Сам встанешь и нальешь себе чай! — и продолжала тише: — У вашей семьи не было даже денег, чтоб кошку держать, не то чтобы корову, хоть одну!

Неизвестно, слышал все это дед, или нет, но он начинал смеяться.

— Ну, давай выпьем чаю, и ты мне расскажешь, что сказал этот айдутант своему начальнику.

— Это был не айдутант! Это был сам начальник!! И чая ты не получишь!

И дед снова начинал смеяться. И мы тоже смеялись над тем, как дед с бабу ссорятся. Это было детство... Наверное, детство было самым счастливым временем года.

* * *

— Ты потрясающий рассказчик! Ты потрясающий любовник! Откуда ты взялся на мою голову?

— Ты же знаешь. С неба...

— Скажите, пожалуйста! Что же ты хочешь от меня, такой небесный? Ты похож на несносного ребенка!

— Я хочу остаться в тебе!

— Остаться нельзя, милый. Будут маленькие гулянячки...

* * *

— Привет! Меня зовут Аветис. Авик. Аво. Я... художник.

— Привет! А меня Ада. Аделя. Фотохудожник. Очень приятно.

* * *

На банкете, который давал Товма в честь гостей, Аво выпил. Не так чтобы очень, но выпил. От этого казалось, что он стал еще более худым и упрямым. И прозрачным. Невесомым. Не пропустил ни одного танца, причем танцевал исключительно с дамами старше пятидесяти лет. Со стороны это выглядело очень потешно: молодой, тридцатилетний, худой, хрупкий Аво и дамы, мягко говоря, преклонного возраста. Аво выпендривался, изображая страстную любовь ко всем партнершам. Все смеялись. А он краешком глаза смотрел в сторону Адельки. Та смеялась, как и остальные. Вернее, не как остальные. Она смеялась понимающе. Когда банкет все же стал иссякать, и гости начали расходиться, Аделька подошла к выдохшемуся Авику, поцеловала его в щеку и сказала:

— Это было здорово! Молодец! Я тронута.

Она ушла. Авик хлопнул еще рюмку. Откуда-то вырос над головой Товма.

— Вот и все, братик. Завтра уже гости уедут. А Ада Максимова останется фотографировать для своего журнала Армению. — У Товма были страшные красные глаза, и сам он тоже весь был красный.

«Давление у него опять, что ли?» — подумал Аво, но ничего не сказал. Посидел еще минут десять с подошедшим Рубиком, который говорил о том, что Арам, мол, дезертир, уехав в свой Капан, что нужно бороться в самой гуще событий. Правда, Аво не совсем понял, против кого именно надо бороться, и Рубик разъяснил:

— В конце концов надо будет сделать выбор: ты путинист, или антипутинист. Вот что я тебе скажу, Аво-джан.

— Зачем? Это как-то изменит мои картины? Мою жизнь?

Авик ушел. По дороге домой он то и дело заглядывал в свой телефон. Аделька была онлайн — манящим и дразнящим зеленым значком, рядом с именем.

* * *

— Доброе утро, милый...

— Привет... Что с нами произошло?!

— Непонятно. А ты знаешь?

— Да... Мы идиоты. Но мне понравилось...

* * *

Орел по-прежнему кружил над ущельем. И внизу по-прежнему гроыхал Воротан. Слышно было, как свистит ветер, и видны были далеко внизу развалины древней крепости. А потом Аделька ахнула, увидев впереди, еще сверху, с канатки Татевский монастырь. Аво стал рассказывать про монастырь. Когда они уже позже сели на траве, рядом с качающимся столбом, Аво продолжил:

— Столб этот воздвигли в самом начале десятого века. Смотри: он восьмигранный, верхушка увенчана хачкаром, и опирается он на восьмигранный же пьедестал. Это ж надо было так ювелирно все просчитать в те далекие времена, чтоб найти точное соответствие между тяжестью и объемом! Это соответствие и позволяет столбу находиться в вертикальном положении. Да еще и столб этот расположен на шарнире, что позволяет ему раскачиваться. Поэтому колонна эта и называется живым посохом, гавазаном. При малейшем землетрясении она приходила в движение, и тогда монахи предупреждали жителей соседних деревень, что земля «неспокойна». Также столб этот начинал вибрировать при приближении вражеской конницы.

— Мы были в стольких местах. Столько видели. Но нет, не было ничего светлее и прекраснее Татевского монастыря! — сказала Аделька. — Это нереально, Аво! Все нереально. И это все чудо. Все, что мы видели, чудо!

— Это правда, — согласился Аво. — Как ты сказала? «Армения — потусторонняя страна»? Это тоже правда.

— Вот именно! И мне кажется, я попала в какой-то параллельный мир. Где-то есть остальной мир, а вот тут — Армения. И она ни на что другое не похожа в этом мире. И это завораживает. И это иногда пугает. Сейчас объясню. У тебя мобильный? Так вот: он тут кажется нелепым! Ты прав, Авикс: времени нет. Потому что в этом вашем зазеркалье времени не бывает и не может быть никогда. Тут стрелки часов показывали и показывают всегда на «вечность»...

— С тобой, — сказал Аво, — у меня такое же чувство.

— В смысле?

— Ты — для меня как Армения. Потусторонняя. Нереальная. И все эти дни для меня были не такими, как остальные. Не так расположенные. Ты уедешь, и я вернусь в серые будни за стойкой бара — моей тюрьмы. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Аделька. — Ведь я уже знаю, что такое *situs inversus* — зеркальное расположение. И «не такое, как у всех».

— Ты это... переборщила...

— Вовсе нет!

Когда на канатной дороге («самая длинная в мире!») ехали обратно к машине, Аделька опять увидела парящего над ушельем орла. «Запомни, — приказала она себе. — Времени нет. Оно не существует. Если не веришь, спроси у своего любовника еще раз. Спроси у этого невозмутимого и мудрого, как эти горы, орла, который, вероятно, посылает тебе знак о чем-то важном. Если не веришь, спроси сердце свое!»

— Сердце мое... — сказала она вслух.

— Ты все-таки боишься высоты? — забеспокоился ее любовник. — Хочешь, расскажу, как Рубик научил меня не бояться высоты?

— Нет, Аво. Я это говорила тебе: сердце мое, сиртс!

— Тогда все в порядке?

— Конечно!

* * *

На обратной дороге в Ереван Аделя заснула. И не видела, как после поворота, на спуске после Зангакатуна, когда синие сумерки только-только опустились над равниной, там, за Араксом, вдруг появилась вершина Горы.

* * *

— Умирать не надо, — сказала Аделька. — Надо жить. Другой альтернативы у нас нет. Смерть — не альтернатива. Смерть — это дезертирство. Видишь ли, милый, боги не могут совершить самоубийство. Они бессмертны. Стань богом! Пожалуйста...

— Земфирно у тебя как-то получилось, — улыбнулся Аво. — Стать богом после того, как ты меня убьешь? Помнишь медведей? А помнишь Изиду и Осириса?

Аделька рассмеялась:

— Шамирам и Ара Прекрасного тоже помню. Затнись, пожалуйста! — и поцеловала, укусив его губу. — Укусила — хорошо сделала! Трам-пам-пам!

* * *

Когда Аделя села в такси и уехала в аэропорт, заморосил дождь. Первый осенний дождь. И Аво понял, что теперь с этим ему придется жить — все время говорить с ней в уме, отчаянно ждать, когда она появится в сети, и ждать снова, потом ждать еще... Мучение — ждать вообще, а особенно ждать неизвестности.

Моросил дождь. И был еще этот соленый вкус крови во рту. И он вспомнил:

— Привет! Меня зовут Аветис. Авик. Аво. Я... художник.

— Привет! А меня Ада. Аделя. Фотохудожник. Очень приятно...

Situs Solitus⁶

* * *

И уже через месяц пошли дожди, и по-настоящему наступила осень. Теперь сентябрьское лето казалось и вовсе чем-то далеким, нереальным и «не бывшим никогда на самом деле». Вообще время настолько относительно, что даже глупо о нем говорить. Что же говорить о воспоминаниях, которые это время переламывает, искажает,

⁶ Нормальное расположение внутренних органов называется *situs solitus* (Википедия).

а порой и вовсе растворяет! Таким образом, прошлое становится чем-то потусторонним, а понятия «раньше и потом» видоизменяются на столько, что можно сойти с ума.

Раньше было ни хорошо, ни плохо. Раньше было просто раньше. И «раньше» не имеет ничего общего с тем, что есть «теперь». Это как с прошлыми жизнями. Мало что помнишь. А если и вспомнишь что-то, то обязательно удивись в душе: «Неужели это был я?!»

* * *

«А до того, как побывал во мне, как ты это представлял? По-другому?»

«Уже не знаю, уже не представляю, как это было, что я не бывал в тебе. Это была какая-то прошлая жизнь, но я ее плохо помню; обычно ведь не помнишь свои прошлые жизни...» (Отправлено: 5/10, 9:30. Доставлено: 5/10, 9:31)

* * *

Художник Аветис Гуланян (или, как большинство знало его, бармен кафе «Сезанн» Аво) теперь сидел в сквере перед консерваторией. На мокрой скамейке. Под морозящим дождем. Катастрофически быстро — казалось, что прямо на глазах — желтели листья на платанах и падали на зеленую траву лужаек. Комитас⁷ не казался сумасшедшим — впрочем, он никогда не казался таковым в его восприятиях, — а просто еще более грустным, вернее, от дождя мрачным, что ли, *разочаровавшимся в чем-то*. Батарейка в телефоне неумолимо садилась, но он то и дело заглядывал в него, чтоб удостовериться, пришла ли Аделя. На ветках деревьев сидели вороны, но не каркали и, казалось, тоже чего-то ожидали. Как и он, как и Комитас, как и мокрый город.

Аво смотрел в телефон, потом на Комитаса, потом на ворон и думал о том, какие вороны умные. Вороны с высоты бросают орех или желудь на землю, разбивая таким образом свой трофей, ибо разгрызть не имеют возможности. А однажды Аво увидел интересную вещь. Ворона билась, билась и никак не могла разбить орех. Она бросала его все с большей высоты на площадку перед входом в здание, снова и снова, но ничего не получалось. Каждый раз ворона разочарованно каркала, но упрямо «подбирала» орех и опять вылетала на «бомбардировку». Ничего не добившись, она, подустав, села на фонарный столб и стала смотреть на проезжающие автомобили. На перекресток. И вот тут-то ее, осенило. Держа в клюве орех, она слетела с фонаря и, «положив» (не бросив, а именно положив) орех на проезжую часть, вернулась на фонарный столб и стала ждать. Первая же маршрутка расплющила орех. Победно каркнув, ворона подождала, когда на светофоре зажжется красный свет и машины остановятся, быстро склевала осколки-кусочки-пыль ореха и улетела. «Вороны умные, — подумал он, вспомнив тот случай, — а медведи — нет!» И снова посмотрел в телефон. Ее по-прежнему не было. И сообщение его не было «прочтено».

⁷ Комитас (настоящее имя Согомон Геворк Согомонян; 26 сентября 1869, Кютахья, Османская империя — 22 октября 1935, Вильжюиф, Франция) — армянский композитор, музыковед, фольклорист, певец и хоровой дирижер... В апреле 1915 года в Турции вместе с целым рядом выдающихся армянских писателей, публицистов, врачей, юристов был арестован и Комитас. Пережитый кошмар оставил глубокий, неизгладимый отпечаток в его душе. Комитас уединился от внешнего мира, укрылся в своих мрачных и тяжелых думах — сломленный и печальный. Гений армянской музыки нашел свое последнее пристанище под Парижем, в лечебнице городка Вильжюиф, проведя там почти 20 лет (Википедия). Памятник Комитасу установлен в Ереване, в сквере перед консерваторией, носящей его имя.

А потом пошел настоящий дождь. «Капли дождя похожи на всхлип», — подумал Авик. Он понял, что она уже не придет. Как и каждый раз. Что-то случилось, и он понимал, что она не придет. Он это определял по каким-то особым, только ему понятным знакам. И она не приходила. Но он очень ждал ее, и каждый раз приходил в сквер перед консерваторией, и садился на скамейку. Ждал в телефоне. И вот теперь, когда пошел настоящий дождь, он встал, поднял воротник плаща и ушел. Кстати, сквер перед консерваторией, на площади Франции, был единственным, где они с Аделькой не были. Почти во всех скверах и парках были, а вот в скверике перед консерваторией — нет. Теперь, уходя, Аво подумал, что когда-нибудь он «познакомит» ее с Комитасом (когда?!). И у него снова забьется сердце.

* * *

«Сердце осталось в твоём чемодане. Ты увезла его, и у меня осталась лишь душа, которая пахнет тобой. Моя душа пахнет тобой! А я остался без сердца. Но я не против: сердце должно всегда где-то быть или у кого-нибудь. Иначе зачем оно?» (Отправлено: 10/10 23:55. Доставлено: 10/10 23:56)

* * *

«Меня распирает, и мне хочется кричать о своей любви на площади!» (Отправлено: 17/10 14:52. Доставлено: 17/10 14:53)

«Мне тоже хочется кричать, милый. Но... я бы не хотела, чтоб поползли сплетни».

«Конечно! Мы будем вести себя ниже травы, тише воды. Мы будем тихими любownikами». (Отправлено: 17/10 14:56. Доставлено: 17/10 14:57)

* * *

Она, конечно, предполагала, что подруги будут ее пытаться, приглашая в «Две палочки» — побаловать себя суши, роллами и всем таким прочим, — но такой нездоровый интерес Аделька не предвидела, видит Бог!

— Так, стало быть, у нас теперь появился армянин. Он что, особенный? Не могла армянина найти тут? Их же полно здесь! Больше, чем в Армении! — сказала одна из подруг, замужняя.

— Он особенный! — Аделька сделала круглые глаза. — У него э... situs inversus! Вот!

— Венерическое?! — взвизгнула вторая подруга, незамужняя. — Не смей прикасаться ко мне! Прикоснешься, голову проломаю!

— Да угомонитесь вы! — охнула Аделька, скрывая то обстоятельство, что сама еще совсем недавно ничего не слышала о людях с зеркальным расположением органов. — Нормальный парень. Художник. Просто чокнутый немного.

— Это ничего, — сказала замужняя. — Нам не привыкать. Мы ж тебя терпим, нашу чокнутую. Потерпим и его. Он приедет?

— Нет.

— А ты к нему?

— Нет... Пока нет.

— Что же будете делать?

— Не знаю. Вообще, ничего не знаю.

— Как все это грустно! — наполнила глаза слезами незамужняя. — Все любви грустные.

А Аделька ничего не сказала. Только вот несносным чертом в голове закружилась мысль: «В следующем году тебе будет тридцать пять. Будет тридцать пять. Тридцать пять! И скоро ты не сможешь рожать! Ох, Авикс! Время есть! Оно существует! От времени стареешь...»

* * *

17 октября выпал первый снег. Была пятница. И ужасно не хотелось выползти из дома, тем более ходить на работу. Она всегда хотела быть свободным фотохудожником, но вот приходилось работать на журнал для денег. И снимать всякую «х-ю»...

Встала с постели, подошла к окну. Босиком. Шел снег. Действительно, шел снег. Мелкий, мокрый. Холодно, наверное, подумала она, мерзко. Поежилась. Посмотрела на телефон, который валялся в постели, рядом с подушкой. Знала, что там эсэмэс от Авика, но не захотела взять. Подумала, выключить вообще к черту мобильник, но смекнула, что выключить, не прочитав сообщение во всплывающем окне, не получится, и отказалась от этой затеи. Стало тоскливее. Ей в последнее время часто бывало тоскливо. Она тосковала по Авику. Она с удивлением обнаруживала в себе тоску по Армении. «А ведь предупреждал черт — Арменией заболеваешь!» — вспомнила она. И потом в голове стали всплывать рассказы Авика. Персонажи, ситуации обволакивали душу, словно теплые стебли винограда, и накрывали ее. Аделя даже сердилась: «Зачем я все это запомнила? Ведь я не знаю никого из тех людей. И несмотря на это, они кажутся родными. Вот спросит меня кто-нибудь, кем была бабушка Нино, сразу отвечу: сестрой бабушки Авика! Поразительно! Зачем?!» Она теперь так и слышала чуть замедленный, чуть дрожащий Авикин голос.

* * *

Слушай! У бабушки были двоюродные сестры-близняшки — Нино-баджи⁸ и Араксик-баджи, внешне очень некрасивые и абсолютно идентичные. Однажды Нино-баджи приезжает в Ереван из Капана и, естественно, не упускает случая сходить в «Детский мир» («Детский мир» находился в конце улицы Абовяна, там, где теперь «Марко Поло» и «Square One». Помнишь? У площади). Между первым и вторым этажами этого самого «Детского мира» было огромное во всю стену зеркало. И вот близорукая Нино-баджи поднимается по широким мраморным лестницам «Детского мира» и, увидев свое отражение в зеркале, восклицает:

— Пуй! Араксик!! Ты что здесь делаешь? Ты ж в Капане осталась!

* * *

Мальчик, наигравшись машинками, загнав их в «гаражи», бежит к бабушке в кухню:

— Татик⁹! А папик¹⁰ принесет мне в подарок цыпленка?

— Конечно, твой папик же дрехтор птицефабрики!

— Я хочу цыпленка. Очень!

— Ты ему напомни. Он, может, и забыл. Он же дрехтор. У него много дел.

Мальчик бежит в комнату, где сидит в кресле дед, недавно вернувшийся с работы, уже, однако, поужинавший и мирно дремлющий над газетой, перед телевизором.

⁸ Баджи (*турк.*) — сестра.

⁹ Татик (*арм.*) — бабушка.

¹⁰ Папик (*арм.*) — дедушка.

— Папик!! Ты принесешь мне в подарок цыпленка? Когда? Ты ж обещал!

Дед вздрагивает, просыпается, роняет с колен газету, которую он «читал», потом улыбается:

— Надо же, совсем забыл! В машине осталась коробка!

— Какая коробка, папик?!

— От торта, — отвечает дед и смеется загадочно.

Через пять минут раздается звонок в дверь, и шофер деда, подмигивая золотым зубом, приносит маленькую коробочку. Коробочка действительно как из-под торта, да к тому же перевязана красной ленточкой с бантиком. Но мальчик почему-то уверен, что внутри коробочки вовсе не торт, когда с замиранием сердца берет ее в руки.

* * *

Дедушку их звали Ашот Смбагич, которому было девяносто девять лет, когда он умер, не дожив до столетия три месяца. Когда дедушке Ашоту было еще девяносто восемь лет, рассказывал двоюродный брат Авика, Марат, он много и упорно что-то писал. Дрожащим, но понятным красивым почерком. Исписал страниц десять-пятнадцать. Страницы аккуратно вложил в конверт, заклеил.

— Это нужно отдать марзпету¹¹, — сказал он внуку Марату, у которого тоже уже были внуки — тот пришел навестить старика.

— Хорошо. Через час вернусь, отвезу.

Когда Марат, выпив чаю, ушел, дедушка оделся и сам вышел из дома. Спустя час Марат, не застав деда дома, поехал к резиденции губернатора на своем стареньком «опеле». Старик сидел на скамейке в парке, говорил с другими стариками.

Внук, у которого тоже уже были внуки, рассердился на старика:

— Ашот-папи! Не дождался меня? Где же конверт?

Старик ответил, смеясь:

— Я отдал одному из молодых, они и отнесли марзпету от меня. Да вот — Сурен и сбегал...

Двоюродный брат Авика, у которого тоже уже были внуки, посмотрел на Сурена. «Молодому» Сурену было семьдесят пять лет. «Молодой! — подумал Марат. — Ну, конечно, по сравнению с девяностовосьмилетним дедушкой, Сурен, конечно, молодой!»

* * *

Когда Аделя уже готова была выйти из дома, представляя уличную слякоть, душный метрополитен, неожиданно зазвонил мобильник. «Сумасшедший все же позвонил!» — подумала Аделька и полезла в карман. Она была несколько разочарована, увидев на дисплее имя «Сергей».

— Привет, — услышала она далекий во всех смыслах голос. — Я как раз в ваших краях. И еду в другие ваши края. Тебя подбросить?

И не хотелось, и хотелось. В итоге, посмотрев еще раз в окно — мерзко-то как! — Аделя согласилась:

— Я сейчас уже выхожу. Ты скоро будешь?

— Да я уже на твоей улице.

Заходя в лифт, Аделька удивилась тому, что Сережа все еще не забыл ее адреса. Почувствовала некоторый дискомфорт — как будто шла на встречу с призраком из прошлого.

¹¹ Марзпет (арм.) — губернатор.

— Привет, Сереж! Ты очень кстати! Мерзость, а не погода! — сказала Аделя, садясь в машину.

— А хочешь, я каждое утро буду за тобой заезжать? — воодушевился Сергей и поцеловал ее.

— Нет, не стоит, — был дан ответ. — Я не смогу это объяснить маме.

— Слушай! — начал было жестикулировать Сергей. — Ты уже не маленькая!

— И все же... Давай поедем.

Поехали. Сережа все время что-то горячо говорил, размахивал то одной, то другой рукой, а то и обеими руками, совершенно забыв про руль, но Аделя не слушала его. Смотрела все в окно и ничего не видела. Зафиксировала лишь Армянский переулочек... Вдруг, неожиданно очнувшись, «вернувшись», Аделя произнесла:

— Высади меня, пожалуйста, у метро. Оттуда я уже пешком.

— Но почему? — удивился Сергей. — Какие проблемы вообще?

— Не хочу, чтоб из редакции кто-то засек, что ты меня подвозил. Мы ж с тобой люди известные. Зачем нам сплетни?

— Ты больная, Аделя! Лечись! — рассвирепел Сергей, хоть и испугался своих слов. И вообще он боялся Адельки, и она это знала.

— Просто выпусти меня, Сереж. Спасибо...

Аделя зашла в редакцию журнала, стала снимать куртку, и тут, конечно, шеф — сразу, с ходу, наотмашь, блеснув стеклышками круглых, старомодных очков:

— Сергей за вами опять ухаживает? Интересненько!

— Ничего он не ухаживает! — огрызнулась Аделя сердито. — Он просто подбросил меня.

— Подбросил. Поймал. Забросил. Бросил, — пробурчал шеф и снова уткнулся в свою газету.

«Старый черт! — подумала Аделя. — Увидел-таки!»

— Ада, — шеф опять оторвался от своей газеты и снова блеснул очками, — а мы так и не поняли: вы путинист или антипутинист?

— Это что? Сегодня моя очередь быть в центре внимания? — Аделя уже по-настоящему сердилась. — Я не путинист и не антипутинист. Я фотожурналист! И еще я не трахаюсь с Сергеем, у меня никогда не было любовной связи с Мариной, и с вами я никогда не «перепихнусь», как бы вы ни намекали. Вы толстый и старый. И еще плохой журналист. Теперь все?

Шеф круглыми глазами смотрел на нее и ничего не смог ответить, а Ада вышла приготовить себе кофе. Тогда она и прочла эсэмэс от Авика: «Закончил вторую картину. Я понял, почему я пишу картины. Я таким образом «вспоминаю» нас. Когда сердце совсем уже исходит тоской по тебе, когда дергается внутри меня, готовое взорваться. Тогда я пишу картины... Вспоминаю даже то, чего не было на самом деле». (Отправлено: 6/11 15:22. Доставлено: 6/11, 15:22)

* * *

«Закончил вторую картину. Я понял, почему я пишу картины. Я таким образом „вспоминаю“ нас. Когда сердце совсем уже исходит тоской по тебе, когда дергается внутри меня, готовое взорваться. Тогда я пишу картины... Вспоминаю даже то, чего не было на самом деле». (Отправлено: 6/11 15:22. Доставлено: 6/11, 15:22)

* * *

— Привет, Аво. Налей-ка мне пиво.

— Привет, Рубо-джан. Уже.

Рубик был в коричневой, основательно износившейся кожаной куртке, с неизменной сигаретой в зубах, и лицо у него было довольное, и сорокавосьмилетний «Рубо-джан» выглядел двадцатипятилетним юнцом.

— Поздравь меня, я сегодня окончательно сдал книгу!

— Наконец-то!

— И не говори! В издательстве тоже сказали «наконец-то!»

И Рубик рассказал, как он долго и основательно «имел» редактора, корректора, дизайнера, автора предисловия и всех, кто под руку попадался.

«Поэтому и бодр!» — подумал Аво.

— Ну, слава богу!

Кафе «Сезанн», которое находилось рядом с вернисажем, на виду памятника Сарьяну, у оперы, было переполнено. Нашелся только один стул в конце барной стойки, на который и уселся Рубик.

— В этом году рано похолодало. Наверное, пойдет снег, — сказал он.

— Да, — согласился Аво. — В Москве вон уже пошел. Погода у нас бывает такая же, как в Москве, с разницей в две недели.

— Это точно! Вот войдем в ТС, будет у нас не только погода одинаковая, но и все остальное. Сегодня большой митинг на площади Оперы. Еле добрался (после издательства должен был зайти в пару мест) — все дороги перекрыты в центре.

— Знаю. Ты думаешь, почему столько людей в кафе? Зашли погреться после митинга. Идиоты!

— Почему идиоты? — удивился Рубик. — Я тоже был на митинге.

— С ума сошел?! А знаешь, что я тебе скажу? Прежде чем требовать права, нужно научиться выполнять свои обязанности. Если все будут добросовестно выполнять свои обязанности, на девяносто процентов надобность в «требовании прав» исчезнет сама собою.

— Ладно. Не будем...

Помолчали. Аво сделал мохито девушке с длинным вязанным красным шарфом и такой же красной помадой и джин с тоником парню с косичкой и наколкой в виде гитары на запястье. Почему-то вдруг почувствовал себя больным. Уставшим. «Кажется, опять что-то температура поднимается», — подумал Авик.

— Эти две картины я не видел. — Рубик показал на картины, висевшие на стене, за стойкой бара. — Недавние?

— Да.

— Светлый, светлый Татевский монастырь! А что это за красное пятно?

— Все поэты ничего не смыслят в цвете! — улыбнулся Аво. — Это не красное, а терракотовое. Ну, девушка, скажем, турист, стоит и смотрит на Гавазан.

— Хорошие картины.

— Мерси.

— Как Армине? Как малыш?

— Все в порядке, Рубо-джан. Только вот, судя по всему, зарплаты моей не хватает на троих.

— Картины?

— Никто их не покупает. Хоть стой или не стой каждые субботу-воскресенье на вернисаже.

— Что же будешь делать? Решил?

— Продам машину.

— Но это же папина машина.

— А другого выхода нет.

- Понял тебя. Но ты не кисни, лав?¹²
- Я постараюсь. Дальше киснуть и невозможно.
- Что произошло еще?

Аво улыбнулся:

- Ходил к врачу.

Позавчера Авик ходил к врачу. Все чаще стало труднее дышать, все чаще темнело в глазах, все чаще стучало в висках, а иногда сердце и вовсе оказывалось в горле. Когда врач попросил поднять свитер, майку и лечь, Аво невольно улыбнулся. Опять будет искать сердце...

- Очень приглушенные удары, — сказал врач.
- Доктор, оно у меня справа... у меня situs inversus.
- Понятно...

Послали на ЭКГ, потом на УЗИ, потом на КТ, потом еще куда-то... Аво со всеми результатами вернулся к врачу. День уже заканчивался. Врач собирался уходить. Но, увидев изможденное лицо Авика, согласился посмотреть бумаги.

- Вы знали, что у вас левый желудочек расширен?
- Да. Говорили. Чуть-чуть, сказали.

— Так вот, — сказал со вдохом доктор, — теперь уже не «чуть-чуть». Гипертрофия левого желудочка. Она развивается в ответ на некоторые факторы, такие, как, например, высокое кровяное давление, которое заставляет левый желудочек работать интенсивней, и в ответ на ряд других факторов. Увеличиваются стенки камеры, которые со временем теряют эластичность и в конечном итоге перестают работать с такой же силой, как в здоровом сердце. Причины могут быть разные: высокое кровяное давление, стеноз аортального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия, физические нагрузки, ожирение... Но у вас ни то, ни другое, ни третье, ни десятое. И я не знаю, по какой причине ваше сердце в ближайшем будущем умрет. У вас все симптомы гипертрофии левого желудочка. Одышка. Боль в груди. Учащенное сердцебиение. Головокружение. Обморок. Быстрое истощение при физической активности...

- Доктор... Что нужно делать?

— Не знаю. В тридцать лет такое не должно быть. Тем более вы не спортсмен, не грузчик и так далее. Наверное, все же виновато ваше «сitus inversus», хотя каким боком виновато, не имею никакого представления. Вы много болели в детстве ангиной?..

Рубик, послушав рассказ Авика, закурил и сразу постарел на десять лет. Допил свое пиво.

- Том знает?
- Знает.
- Армине знает?
- Нет. Я вчера ведь ходил к врачу. Пока не знаю, как сказать.
- Ясно...
- Рубо.
- Да?
- Расскажи про яблоки.
- Какие яблоки, Аво-джан?
- Ты знаешь какие. На войне.

— Я же тысячи раз рассказывал. В октябре того года мы занимали позиции на самой высокой горе, что на границе с соседним районом. Посты наши, распо-

¹² Лав (арм.) — хорошо.

ложенные на расстоянии пятнадцать-двадцать метров друг от друга, тянулись цепью по всему восточному склону этой самой горы, рядами спускаясь к подножию, где была передовая противника. Стычки и столкновения бывали почти каждый день, а особенно часто по ночам, и мы держали ухо остро и не разрешали себе расслабиться... Той ночью мне, дежурному нашего снайперского поста, ужасно хотелось спать, и было холодно, и потом вскоре пошел дождь. Он все шел и шел, попеременно то превращаясь в настоящий ливень, то вовсе затихая, хотя и не прекращался ни на секунду. Но почти всегда было непривычно тихо, и это действовало на нервы. В очередной раз, поднеся к глазам бинокль, я увидел, что снизу по склону кто-то ползет. Этот «кто-то» падал на мокрой траве, поднимался, полз дальше и снова падал. Я опустил бинокль, положил на колени автомат и стал ждать, проклиная дождь. Этого «кого-то» и тишину. Он подполз к нашему посту, остановился на расстоянии двадцати пяти метров. Я прицелился и уже приготовился выстрелить, как он закричал:

— Не стреляй, друг!

Держа в одной руке автомат, я другой поднес к глазам бинокль и стал разглядывать его. У него не было оружия, и руки у него были подняты вверх. Я крикнул ему, чтоб он проходил, но предупредил, что, если он опустит руки, я выстрелю. Он дошел до поста и прыгнул ко мне в окоп.

— Друг, дай воды. У нас вода кончилась. Нам очень нужна вода. У нас раненый.

Я отдал ему бутылку воды, не забывая при этом об автомате. Он сунул бутылку себе в карман, но продолжал сидеть, и я догадался, что он боится, как бы я не шлепнул его сзади, когда он будет уходить. Я ударил его по лицу и сказал, что если я его не убил и пропустил, когда он поднимался по склону, то в спину стрелять не собираюсь. Я не сын шлюхи какой-нибудь, как многие из его сородичей, которые стреляют в спину. Он посмотрел мне в глаза, кивнул и, выйдя из окопа, стал спускаться, прыгая с камня на камень, как козел. Я следил за ним, пока он не скрылся из виду, а потом свободно вздохнул, глотнул воды и только тогда заметил, что дождь перестал. Я был весь мокрый, но не только от дождя. Пот лил с меня. Через сорок минут вижу — тот же «кто-то», держа в руке какой-то пакет, опять ползет к нашему посту. Снова подойдя на расстояние двадцати пяти метров, он остановился:

— Друг, я принес яблоки и хочу, чтоб мы вместе покушали.

— Если ты меня еще раз назовешь другом, я тебя пристрелю, — сказал я.

Мы стали есть яблоки, разговаривать, а потом он ушел. И после этого ни он, ни я не стреляли друг в друга, а однажды в мое отсутствие (я ездил в штаб за почтой) он принес мне сигареты. Ребята посмеивались надо мной, но все понимали, и проблем у меня не было. Спустя месяц его убили. Странное было чувство в душе, когда я узнал об этом. Он был враг, и, как врага, мне не было его жаль, но было что-то другое, не знаю что. Просто я думал, что пока он есть там, на чужой стороне, со мной ничего не случится. Ведь я знал, что он в меня стрелять не будет, а это неплохо знать, что кто-то из противника не задался целью выпустить в тебя обойму. Но вот его убили, и уверенность в том, что со мной ничего не случится, исчезла. Я так и не узнал его имени, а он не узнал моего. А через неделю после того, как его убили, ранило меня, и я до сих пор считаю чудом, что остался в живых.

— Очень странный рассказ, Рубо.

— На войне всегда бывает странно, Аво-джан, — ответил Рубик. Теперь он выглядел стариком.

«Старик... Разве что не седой», — подумал Аво.

* * *

«У твоего любовника большое сердце. Но там место только для тебя!» (Отправлено: 15/11, 18:47. Доставлено: 15/11, 18:47)

«Обожаю твое большое сердце! Спокойной ночи, милый!»

* * *

Аделька написала эсэмэс: «Обожаю твое большое сердце! Спокойной ночи, милый!» А потом снова подошла к фуршетному столу, взяла второй бокал с шампанским, кусок банана на деревянной палочке и стала бесцельно ходить от одной группы к другой, третьей, четвертой, пятой, десятой. В зале было очень жарко, и не верилось, что за окном уже настоящая зима. Зал был переполнен писателями, поэтами, критиками, издателями, лигагентами, толстожурнальными, тонкожурнальными, всякой масти и всякого калибра, депутатами, олигархами, художниками, актерами, певцами, телевизионщиками... Молодые «ловили» старых, малоизвестные терлись рядом с известными. Казалось, весь этот бомонд — одна сплошная охота. За удачей. Только вдруг они все показались Адельке мертвыми. «Мертвячина», — подумала она. А потом услышала позади себя:

— Ада! Ада Максимова! Вы стали еще красивее, хоть это и кажется невозможным!

— Федор Сергеевич! Здравствуйте! Я не знала, что и вы тут.

— Тут я, тут! Как же вы и ваш пятилетний журналчик обойдетесь без меня?! — Старик неприятно рассмеялся. — Кстати, поздравляю и вас, Ада, с днем рождения вашего журнала. Вы прекрасный фотохудожник. Вы не хотите выпустить книгу? Это, кажется, будет второй альбом ваших работ?

— Не скоро. Вы же знаете, Федор Сергеевич. Я долго вынашиваю выставки, альбомы в себе. По нынешним меркам, я слон... Беременность длится до двух лет. Но я работаю над новым альбомом. Я не люблю рассказывать о своей кухне.

— И правильно делаете, Ада. Но мне-то, старику, все же скажете?

— Ну, хорошо. Это будет альбом об Армении. Только никому, Федор Сергеевич!

— Слово пионера! Кстати, вы не видали моего пацанчика?

Адельке очень захотелось знать, что она не покраснела.

— Сережи еще нет, Федор Сергеевич. Но, думаю, он обязательно будет.

Старик кивнул и, опираясь на трость, прихрамывая, ушел прочь. К Адельке подошла одна из подруг — незамужняя.

— Чего хотел старик?

— Сергея искал.

— А где он?

— Не в курсе.

— Старик стал совсем плох, — сказала подруга. — Видать, мало ему осталось.

— Да, — согласилась Аделька. — Сергей очень переживает. Старик серьезно болен.

— Ты знаешь, что в Москве уже начинают поговаривать о вас с Сережей?

— Плевать. Не хочу ничего знать, ни о чем думать. Вообще не хочу думать.

— А армянин?

— Отстань! — Аделька осушила бокал. — Хватит меня пилить.

— Совсем нет, дорогая. Почему же пилить? Ты разведенка, а это хорошая партия, как бы сказали в позапрошлом веке. Сергей известен, при деньгах. Да еще — сын Федора Сергеевича! Твое будущее обеспечено.

— Злая ты все же.

— Да нет же! — сказала спокойно незамужняя подруга. — Я тебя люблю. И рада за тебя.

— Ну, чему ты рада?! Ничего нет, пойми!

Подруга ехидно рассмеялась:

— Жених и невеста, жених и невеста!

— Ну и дура же ты!

Аделька отошла к окну и стала смотреть в зиму. А потом вздрогнула, услышав рингтон о получении эсэмэс:

«Я немного опоздаю. Целую. Папаша там?»

«Тут. Приезжай скорее».

Situs Ambiguus¹³

* * *

Звезды были и наверху и внизу. С той лишь разницей, что наверху они были беспорядочно рассыпаны (во всяком случае, пока не был понятен изначальный Замысел и в нем не угадывался еще Порядок), а внизу они были собраны в группы, и даже порой казалось, что они расчерчены линейкой на квадратики. Самолет был ближе к небу, чем к земле, и ты понимал, что одиннадцать тысяч метров вовсе не шутка. Оживление, вызванное тем, что стюардессы подали еду и напитки, постепенно утихло, и многие пассажиры, откинув спинки сидений, начали пассивно переваривать куриные крылышки, гречку и кексики — засыпать.

Аво ни о чем не думал. Вернее, так казалось ему. Он убедил себя в том, что просто прислушивается к гулу двигателей да считает «ямы», в которые самолет то и дело попадал. На самом деле мысль то уносилась вперед, и он начинал моделировать и конструировать будущее («Не забыть сразу же в Домодедово купить карточку „Билайн“», «Как бы помягче сказать встречающему его Карену, что он, Аво, не поедет с ним домой — но тот пускай отвезет чемодан, — а должен зайти в одно место, увидеть кое-кого»), то устремлялась прочь в прошлое, перемалывая снова и снова последние дни.

* * *

— Поговорим?

— Поговорим. Что-то стряслось?

— Нет, конечно. Ничего. Ты когда заканчиваешь сегодня?

— Как обычно, Том. К полуночи.

— Хорошо, Аво. Я подожду. Налей мне пива, пожалуйста. Я сяду за столик. Не буду тебе мешать.

Посетители приходили, уходили. Уборщица, тетя Нора, не успевала чистить шваброй пол — снег с сапогов посетителей таял и превращался на полу в черную грязную жижу. Он все еще продолжал идти мелкой колючей крупой, когда Товма и Аво вышли из «Сезанна» и пошли к машине Товма — во двор дома напротив. Том сказал, что Аво должен поехать в Москву и нормально обследоваться. Что в Ереване никогда не сумеют поставить правильный диагноз.

¹³ В редких случаях встречается неопределенное положение внутренних органов, которое называется *situs ambiguus* (Википедия).

- Если надо, то и полечиться, — сказал Том.
- Но у меня нет денег на Москву. Это нереально.

Когда они сели в машину и поехали, Том достал из внутреннего кармана куртки бумажный сверток и отдал Аво.

— Бери вот. Тут деньги. Рубик и я собрали. И еще билеты в Москву «туда-обратно» — у меня же есть скан твоего паспорта, помнишь? Деньги — для обследования и на разные расходы. Должно хватить. Будешь жить у Карена. Мы с ним уже поговорили. Потом подумаем, как быть дальше. Это уже смотря, что скажут врачи.

Авик запротестовал, сказал, что ни за что не возьмет деньги, что он себя вполне нормально чувствует, что не сможет надолго оставить Армине и ребенка, что ему надо зарабатывать деньги...

- За семью не беспокойся, — сказал Том. — Мы присмотрим.
- Но так ведь нельзя! Вы даже не спросили меня!
- Можно, братик, — спокойно сказал Товма. — Надо узнать, что с твоим сердцем.

Оно у тебя умирает... Ты сказал Армине о сердце?

- Нет...
- О, ты до такой степени эгоист?
- Прости? Эгоист, потому что не хочу, чтоб она волновалась?
- Да. Ты эгоист, Аво!

Ночью же было вовсе трудно. И Аво по-прежнему не сказал Армине ничего о сердце.

— Том и Рубо купили мне билеты, чтоб я полетел в Москву — договариваться о выставке.

— Ура! — обрадовалась Армине. Она заметно пополнела за последнее время, и Аво уже знал, что к концу весны у него родится второй сын. — Выставка будет! Это прекрасно! Какие же молодцы Том и Рубо!

— Конечно! Вот такие у меня друзья! — А сам вспоминал: «Ты эгоист, Аво!»

* * *

Теперь самолет летел в сторону Москвы, проваливаясь в ямы, перешагивая через паутины городов, и Аво ждал рассвета. И дождался-таки. И это было удивительно видеть, как на небе, там, на востоке, уже светает, а на земле пока еще господствует ночь. Рассвет всегда начинается с неба, потому что солнце сначала появляется на небе, потом уже на земле, — подумал он. И решил когда-нибудь написать такую картину — рассвет с иллюминатора самолета. На картине будет свет на небе, и будет ночь на земле...

Когда самолет уже стал снижаться — как будто по лестнице, ступенку за ступенькой, — а потом и уже пошел на посадку, Аво решил, что Адельке он ничего не скажет о болезни сердца. Пускай не волнуется. Как и Армине. Незачем женщинам беспокоиться из-за его глупого сердца. Просто когда-нибудь оно перестанет биться. Пускай это будет неожиданно. Когда неожиданно — всегда хорошо.

* * *

- Привет! Меня зовут Аветис. Авик. Аво. Я... художник.
- Здравствуйте! Меня зовут Аня. Я секретарша. Очень приятно. А вам кого?
- Адель... Аду Максимову... Она фотограф...

— А-а-а! Так они в соседней комнате сидят.

— Спасибо!

А потом, открыв дверь в другую комнату:

— Привет... Я приехал... Прилетел... — Потом всем в комнате: — Здравствуйте.

Адель почувствовала сначала, что у нее отнялись ноги, потом с удивлением обнаружила в себе способность вставать. И лицо исказилось в какой-то непонятной улыбке. Такой улыбкой обычно сдерживают рыдание.

— Ты? Ты?! Ты! Привет, Аво... Как ты меня нашел? Это мой друг! Из Армении! Познакомьтесь! Он художник! Он друг моего друга, к которому я поехала в Ереван в сентябре...

Шеф встал и пожал руку Аво:

— Очень приятно. Друг нашей Адочки — наш друг. Аделечка, вы можете свободно располагать своим временем. И сегодня вы можете уже уйти, если хотите. Ведь к вам приехал друг из Армении! — и, сняв круглые, старомодные очки, стал платком протирать стекла.

Когда спускались на лифте, Аделька все время поворачивалась и смотрела на Авика — пожалуй, похудел еще больше, стал острее, тоньше, хотя, казалось, куда же больше.

— Ты помнишь, что я не знаю Москву? — Авик все время улыбался. — Где мы посидим?

— Пойдем, пойдем! Я покажу! Ты будешь удивлен! Там сплошные пластилины!

В кафе они много разговаривали, прерываясь лишь на то, чтоб заказать еще что-нибудь. Говорили взахлеб, перебивая друг друга, дополняя, понимая и схватывая на лету, словно старались успеть дорассказать то, что не имели возможности рассказать до этих пор, потому что невозможно *так* говорить по чату в Интернете, ибо не видишь глаз. Хотя... Теперь им казалось, что они и не расставались вовсе. Как будто не было этих месяцев разлуки. Так ведь всем влюбленным кажется, что ли...

Когда, проводив Авика до станции метро «Чистые Пруды», Аделька вернулась в редакцию журнала, она, уже готовая слышать колкости и пошлости шефа в связи с «армянским другом» (а он почему-то молчал), взяла телефон и написала эсэмэс: «Серез, сегодня я заканчиваю пораньше. Можешь заехать за мной в пять. Целую».

Алексей ШМЕЛЕВ

* * *

Рыбак надел сто баксов на крючок
и кинул в воду.
А под водою плавал дурачок —
искал свободу.
По небу проплывали облака —
им было не до
тех рыбака, крючка и дурака:
им было в небо.
Прости меня за то, что вел к реке,
не зная брода...
Рыбак сжимает удочку в руке
и смотрит в воду.
Нет радости ему от этих дел
не оттого ли,
что близко тот, кто ходит по воде,
как мы по полю.

* * *

Жизнь перешла из mono в stereo —
прислушался и перестал спешить.
Год был богатым на потери,
но даже с ними, оказалось, можно жить.
Я был терпим к меня оклеветавшим,
доверчив был с лукавившими мне,
но, несмотря на это
postproduction духовной жизни
утопил в вине.
Я находил все новые оттенки
эмоций, чувств. Так и не сбросил вес.
Мне стали меньше нравиться шатенки,
я даже начал обходиться без
них. Но если бы мне предложили
все поменять, переписать, стереть...
Я б отказался.
Каждым сухожилием и каждым нервом
я тебя приемлю,
жестокий год, мне показавший смерть...
И даровавший под ногами землю.

Алексей Николаевич Шмелев родился в 1987 году в Москве. Выпускник МИТХТ. Копал землю в Архангельске, валил лес под Подольском, убирал снег в Замоскворечье. Поэт, музыкант.

* * *

Все тебе не хватает чего-то,
все меняешь за городом город.
И работа тебе — не работа,
да и повод как будто не повод...
Эта женщина рядом с тобою —
есть красивее, кто бы спорил...
Да и то, что зовется судьбою,
лучше было бы встретить у моря.
И понять — нет любви безответной,
потому что любовь — есть служенье,
и что только движенье бессмертно,
потому что рождает движенье...
Оглянись на себя не во гневе —
в этом городе ты еще не был.
И расти, как растут деревья:
одновременно в землю и в небо.

* * *

В самокопанье, друг мой, нет резона —
не кисни и держи по ветру нос.
Вот девочка из города Херсона
тебя встречает — ты ей кальвадос
привез. Неважно, что сулит та встреча,
скорей всего — обиду и разлад.
А важно то, что обмануться нечем,
хоть ты и сам обманываться рад.
И важно то, что наша жизнь — движенье,
и потому ты любишь поезда.
Не ей — другой ты сделал предложенье.
И та другая не сказала «да»...
А что потом? — да посмотри на небо:
кого туда ты заберешь с собой?
И согласишься — так глупо и нелепо
быть недовольным собственной судьбой.

* * *

Небо как на картинке.
Облако в форме хлеба.
Мальчик надел ботинки
И пошагал на небо.

Мальчик не очень верил
В то, что дойдет, но все же
Знал, что по крайней мере —
Путь для других проложит.

Мама, узнав про это,
Ставила свечки в храме.
Бедная мама — где там —
С небом тягаться маме.

Мальчик споткнулся быстро.
Больно упал на спину.
Сыпались с неба искры
И превращались в глину.

Глина в закат вращала,
В небе закрыв прореху.
Мальчик смотрел устало
Вверх. И не видел верха.

* * *

Ребята, в рифму говорящие
самодовольно и легко,
такие очень настоящие, —
вы все пойдете далеко!
Вы, от рожденья уяснившие,
с кем можно выгодней дружить,
пробьетесь сквозь сословья низшие
и будете красиво жить.
И пусть уже через столетие
забудут вас наверняка,
но и побыть хоть междометием
в метаструктуре языка
почетно. Не даю советов,
ведь сам невнятен и смешон.
Все будет плохо у поэтов,
у вас все будет хорошо.

ПЛАМЯ

Рассказ

Ливень начался внезапно, в разгаре дня, как это обычно и бывает, когда последний летний месяц выдается особенно жарким. Степан Грунев, которого резкая смена погоды застала на полпути, решил по такому случаю заскочить к жившему неподалеку Дмитрию Ивановичу и провести его.

— Дед Мить, здесь ты, нет? — громко спросил он, отряхивая свои мокрые волосы в прихожке.

— Эу, — раздался приглушенный голос. — Кто там пришел?

— Это я, Степан, — отвечал Грунев, заходя в дом.

— А, привет-привет, — старик лежал в постели, плотно укрывшись одеялом. — Что там, дождик, что ли, начался?

— Да как обычно...

Грунев прошелся по комнате, взял стул и подсел ближе к кровати.

— Такой ливень, что все тропки — в ручьи, — он засмеялся, — а все через пять минут закончится.

— Да-а, — протянул Дмитрий Иванович. — У нас говорили: как вспылчивый человек — в минуту зажигается, в пять минут затухает, а наворотит — ввек не разберешь.

— Ты как живешь-то тут, дед Мить, помочь, может, чем? Вон все лежишь.

— Да помаленьку живем, Степа, помаленьку. Наше дело стариковское, сам знаешь, лежи себе и лежи...

— Ну почему? Вон можно, — Грунев задумался, — по грибы там ходить или еще что; зачем же все время лежать?

— А что же все время-то? Я не все время... Я вон это, — старик начал посмеиваться, — в нужник иногда выхожу.

Дмитрий Иванович расхохотался, и Степан, глядя на него, тоже не смог сдержать смех. «Такой не пропадет, — думал он. — Сильный он, все ему нипочем».

— А дрова-то есть у тебя? — Грунев встал и прошелся по комнате. — Смотри, дождь-то кончится, истопить бы надо, а то сыро — простынешь еще. Вон сейчас ты правильно под одеялом лежишь...

— Да есть, Степа, все есть. Живем, как цари, — старик задумался и добавил: — Нет, лучше! Цари ведь так жили, что им вечно чего-то не хватало, знаешь. А у нас: дрова да каша — вот и живем в достатке... Хорошо живем, Степа, хорошо.

— Ну смотри... Ты если что вспомнишь, я в другой раз приду — сделаю, ты скажи только.

— Спасибо, спасибо, Степ.

Артем Геннадьевич Ершов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге. Магистрант кафедры русской литературы филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена. Победитель Третьего и Четвертого Всероссийских фестивалей литературного творчества учащихся (2010 и 2011 гг.). Первые публикации — в журнале «Творчество юных».

— Вот ливень-то, — негромко сказал Грунев, глядя в окно. — Такой бы вчера, а дед Мить? Когда у Борьки-то дом горел. Ох, и повозились мы... Жара такая, аж трещит все. А тут еще он. Пьяный, зараза; небось окурочек упал в черный пол — все и загорелось. Дом-то старый, еще высох весь по такой жаре-то...

— Да-а, — протянул задумчиво Дмитрий Иванович.

Помолчали немного. Только слышно было, как стучат по крыше крупные капли дождя. Сперва их было так много, что стук этот сливался в неразличимый монотонный гул, но постепенно удары становились реже — августовский ливень подходил к концу.

— Он еще денег у меня занимал на той неделе, — как бы случайно, вполголоса проговорил Степан. — С получки, говорит, отдам, мне до получки только... Отдаст теперь, как же...

— Это что же, ему теперь и жить негде?

— Выходит, что так. Дом-то сгорел подчистую... Мы, конечно, как могли... как могли... Да куда там. Вспыхнул, как спичка... Он, наверное, сам потух, а не мы его потушили...

Грунев грустно улыбнулся. Стук капель по крыше становился все реже.

— Да, верно, перекантуете у дружков своих, — уже громче начал Степан, отворачиваясь от окна и прохаживаясь по комнате. — Пил же он с кем-то все это время. Вот пусть его собутыльнички к себе и забирают.

Старик вздохнул.

— Да, сколько молоденьких загубила горькая...

— Ладно, дед Мить, — Грунев резко остановился, будто вспомнив о чем-то, — пойду я, наверное. Дождь уж почти кончился... Если тебе не надо ничего...

— Нет-нет, — Дмитрий Иванович приподнялся в постели, — ничего не нужно. Иди с богом!

Степан ободряюще, как ему казалось, кивнул старику и вышел из дома.

На следующей неделе горело у Красильниковых. И снова среди ночи. Никто толком и не узнал ничего до утра, даже сами хозяева: Витька с женой и детьми в тот день уехал в гости к двоюродной сестре, заночевали там... Спали себе спокойно, а в эту ночь у них дом-то и сгорел. Вернулись, посмотрели и поехали обратно к сестре — а что делать?..

На место пожара прибыл лейтенант Тряпицын с молоденьким стажером. Все ходили там, высматривали что-то, изучали. И чего там было изучать? Одна печная труба только и осталась да пепел кругом и бревна обугленные. Все, как в прошлый раз: жаркие дни, сухая погода, горячий воздух и — пожар.

Дней через пять после этого надо было Степану в центр по делам. Управился быстро, до автобуса времени — вагон... Решил зайти в отделение, поговорить с лейтенантом. Как-никак все детство вместе провели: прежде чем перебраться в город, Тряпицын жил в той самой деревне, и они с Груневым были соседями, в школе вместе учились, а потом их пути разошлись. Тем не менее все это время они оставались добрыми друзьями.

Степан постучал в массивную тяжелую дверь.

— Да, войдите, — раздался голос.

В небольшой комнате за столом сидел лейтенант Тряпицын, погруженный в бумажную работу.

— О-о, — протянул Грунев, заходя внутрь, — контора пишет. Здорово, Вовка!

— Здоров, Степан, — отвечал Тряпицын, пожимая руку другу детства. — Какими судьбами?

— Да я тут к вам... по делам, в общем, Танька меня послала тут прикупить... Да что я тебе рассказываю — сам ведь женатый человек, — Грунев рассмеялся.

— Да, — улыбнулся лейтенант, — время бежит... А согласишься, ведь, кажется, еще вчера... или хотя бы на той неделе околачивались с тобой на старой лесопилке, а?

— О-о, — смеясь, протянул Степан, — ну ты, брат, махнул! Это твое «на той неделе» тыщу недель назад уж было!

— Ну, не тыщу...

— Да точно!

Приятели расхохотались, и Тряпицын предложил Груневу чая. Тот не отказался. Посидели, повспоминали детство, посмеялись.

Вдруг Степан спросил:

— Слушай, Вов, а что там с Красильниковых домом? Наши-то шепчутся, непонятно что-то, уже кто чего только не напридумывал. Дома-то их ведь не было. Проводка, наверное, да?

Тряпицын нахмурился. Беззаботный тон разговора ощутимо сходил на нет. Грунев замер со стаканом чая в руке и уставился на переменявшегося в лице друга. Наконец тот ответил:

— Я тебе по секрету, как другу, слышишь? Никто из наших не должен знать...

Степан поставил стакан на стол и кивнул.

— Мы рассматриваем версию поджога.

Грунев словно пропустил это мимо ушей или думал, что ему показалось. Он довольно глупо улыбнулся и пристально посмотрел в глаза друга.

— К-как ты сказал?

— На данный момент следствие рассматривает как одну из версий возможность поджога, — сухо и протокольно повторил Тряпицын.

Степан взволнованно посмотрел по сторонам. Лейтенант зашелестел бумагами на столе.

— И это... точно? — спросил наконец Грунев.

— На самом деле нет, это лишь одна из версий. Точно сказать очень трудно, ведь дом сгорел буквально дотла... Я не буду тебе сейчас объяснять, откуда что берется, но экспертиза... очаг возникновения огня... В общем, есть повод полагать, что это был поджог.

Степан смотрел на лейтенанта тупым немигающим взглядом.

— Более того, — продолжил Тряпицын, — сгоревший неделю тому дом... этого...

— Борьки?

— Да, Игнатьева... Вот он тоже мог сгореть не просто так...

— И... и что же теперь... делать?

— Искать, Степка, искать. Дорожные патрули на въездах в деревню предупреждены, поисковая операция ведется, — он посмотрел на своего собеседника и удивился тому, как тот был бледен. — Да не переживай ты, поймем мы его. Это все дело техники на самом деле... Ты только никому из наших пока ничего не рассказывай, понял? Я тебе по секрету, как родному.

Грунев кивнул.

— Ты пей чай-то, пей, — сказал лейтенант, улыбнувшись, и продолжил перебирать бумаги.

Вечером того же дня Степан снова зашел к Дмитрию Иванычу и помог ему наколоть дров. Тот в свое время пренебрег советом Грунева и действительно теперь приболел.

— Я ведь тебе говорил, дед Митя, — отчитывал его Степан, складывая дрова рядом с печкой, — затопи, как ливень кончится, простынешь... Вот взрослый человек, а все одно что дитя малое. А? Ну что ты теперь на меня смотришь? Теперь вот не можешь сам печь-то натопить...

Дмитрий Иваныч лежал на боку в своей постели и грустно глядел на Грунева, складывающего в топку дрова. В доме было тихо, как и во всей деревне. Августовские ночи начинались рано, и все расходилось по своим домам с первыми же сумерками. Кто читал, кто смотрел телевизор, кто просто пил чай и болтал о том о сем, кто-то пил совсем не чай, а кто-то уже крепко спал... Спала и жена Грунева, Татьяна; то и дело засыпал Дмитрий Иваныч... Степан достал из кармана спички и стал топить печь. Вид разгорающегося пламени напомнил ему вновь о той страшной мысли, которая преследовала его сегодня целый день: существует возможность того, что кто-то поджег дома Игнатьева и Красильниковых. Он мучился этой мыслью целый час в автобусе, потом еще полдня дома, пока помогал жене по хозяйству, мучился ею и сейчас. Нельзя было рассказывать никому из наших. Но держать это в себе Степан не мог. Подумав про себя, он рассудил, что Дмитрий Иваныч не станет никому разбалтывать тайну, которую он, Степан, собрался ему доверить... Более того, даже если б и захотел, то в ближайшее время не смог бы: сейчас он болеет и не выходит из дома, а когда здоров, ведет себя приблизительно так же: все больше лежит в постели и никуда не выходит. Все новости старик узнавал в основном от Грунева, то и дело забегавшего в гости.

— Дед Мить, — тихо, вполголоса позвал Степан.

Дмитрий Иваныч зашевелился в постели и закашлялся.

— Эу, что такое?

— Был сегодня в центре и зашел к Вовке Тряпицыну... Поболтали с ним о том о сем...

— Да? И как там он поживает?

— Хорошо поживает, не жалуется. Не в этом дело, дед Мить...

— Мм... А в чем же?

Грунев ненадолго замолчал, как бы собираясь с мыслями или в последний раз решая, раскрывать или не раскрывать старику страшную тайну.

— В общем... это не точно еще... но как версия... что-то там у них...

Старик кашлянул.

— В общем, Тряпицын сказал, что дома у нас поджигает кто-то.

— Да что ты? Прямо так и сказал?

— Да... Но это не точно, только версия такая... Там какие-то очаги, что-то...

— Поджигает, — задумчиво пробормотал Дмитрий Иваныч. — Ты подумай только...

Грунев подложил еще дров в топку.

— Ну-ка поставь ковш, — старик приподнялся в постели. — Будем чай пить. Расскажешь мне, что к чему...

Долго еще рассказывал Степан деду Мите о своем разговоре с Тряпицыным, долго еще рассуждали они о том, может ли это действительно оказаться правдой и почему же это вообще происходит. Время летело быстро и незаметно. А августовская ночь вновь озарялась пламенем...

Утром в кабинете Тряпицына раздался телефонный звонок. Оторвавшись от бумажной работы, лейтенант поднял трубку.

— Тряпицын слушает.

Разговор продолжался не больше минуты. Да и назвать это разговором было трудно. Выслушав собеседника до конца, лейтенант ответил только:

— Все понял. Выезжаю.

Но, положив трубку, он еще несколько минут оставался недвижим, глядя пустым, ничего не значащим взглядом куда-то в глубокую царапину на большой и тяжелой двери. Наконец он очнулся, потер рукой лоб и правую сторону лица. Выйдя из-за стола, он высунулся в распахнутое окно и крикнул:

— Слава! Быстро сюда! Едем!

Взяв со стола какие-то бумаги и наспех сложив их в папку, он вынул из кармана ключи и вышел из отделения. Заперев дверь и уже пройдя несколько шагов, он вспомнил, что окно осталось открытым, вернулся, обогнув здание, и снаружи прикрыл створки. С другой стороны улицы к нему на всех парах спешил молодой стажер.

— Что там, товарищ лейтенант? — спросил он, тяжело дыша.

— Еще один поджог, — сухо отвечал тот. — Дом Грунева. Есть жертвы.

На этих словах он выронил из рук ключи, растерянно посмотрел по сторонам и с какой-то яростью, резко схватив их с земли, крикнул:

— В машину, быстро!

Татьяну Груневу хоронили в закрытом гробу. За все время между ее смертью и получением разрешения на захоронение не было совершено ни одного поджога. На похоронах собралась вся деревня; стояла невыносимая жара, людям было дурно и страшно. Дмитрий Иванович постоянно находился рядом со Степаном и всячески пытался его поддержать. Степан же все это время пребывал в состоянии, похожем на сон. Тело его было здесь, вместе со всеми, и все могли его видеть, но мысли и вообще сознание его находились где-то далеко, и никто не мог знать, где именно.

Если прежде жители деревни лишь перешептывались, делясь друг с другом своими соображениями относительно горящих домов, то теперь они заговорили во весь голос. Продолжать скрывать что-либо от них было глупо и вредно, и на следующий день по деревне прокатилась новость: Тряпицын собирает всех в клубе, чтобы говорить о происшедших событиях.

Здание клуба с трудом вмещало в себя всех присутствовавших. У дальней стены за столом сидели лейтенант Тряпицын и стажер. Понемногу народ собрался, и можно было начинать.

Тряпицын встал, и в зале наступило тревожное молчание.

— Как вы все знаете, за последние три с лишним недели в деревне сгорели три дома, — слова его звучали громко и гулко. — Первый пожар был справедливо списан на халатность хозяина дома, я имею в виду Игнатьева...

Услышав свою фамилию, Игнатьев было закопошился, но быстро стих.

— Второй пожар, как мне известно, был списан на неисправность проводки, потому как списать его на халатность хозяев было невозможно: во-первых, это очень ответственные люди, а во-вторых, их и вовсе не было в ту ночь в доме...

Красильниковых не было и в зале, они по-прежнему жили у двоюродной сестры.

— Кроме того, никому из нас и в голову не могла прийти какая-нибудь другая, я хочу сказать, криминальная версия, — Тряпицын оглядел собравшихся. — Тем не менее третий пожар окончательно поставил все на свои места. Я собрал вас всех сегодня здесь, потому что невозможно дальше скрывать очевидный факт: все три пожара были результатом поджога...

В зале поднялся гул, каждый вопрошающе смотрел на соседа, словно надеясь, что в полной тишине все-таки ослышался, и лейтенант сказал нечто совершенно иное.

— Родные мои, — голос Тряпицына вновь привлек к себе всеобщее внимание, и гул затих, — вы все меня хорошо знаете и помните, я сам родом из этих мест и сам хорошо знаю многих из вас...

Тряпицын замолчал. Он перевел взгляд на стажера. Тот внимательно разглядывал собравшихся. Переведя дыхание, лейтенант попытался продолжить:

— Я вынужден признать, что ситуация приобретает катастрофический оборот...

— Катастрофический... оборот, — из глубины зала раздался заплетающийся голос Грунева. Он был пьян. — Кто бы мог подумать... лейтенант, а?

Жители деревни сочувственно смотрели на Грунева, кто-то попросил его успокоиться. Степан замолчал, но продолжал протискиваться вперед, ближе к столу.

— Я должен сообщить вам важную информацию, — продолжал Тряпицын. — После второго поджога я предупредил патрульные службы на въездах в деревню о происходящих в ней событиях и попросил проверять всех въезжающих и выезжающих, всех записывать, а о подозрительных сообщать особо, — лейтенант перевел дыхание. — В общем, в период между вторым и третьим поджогом в деревню никто не въезжал, а выезжали из нее только те, кто постоянно в ней проживает. Вот, например, Грунев, который ездил в центр семнадцатого...

Степан тем временем уже приближался к переднему краю толпы и готов был выйти к столу.

— Из всего этого следствие делает вывод, — голос Тряпицына зазвучал с новой силой, — поджигатель — один из жителей деревни...

Вывалившийся из толпы на этих словах Грунев поднялся на ноги и, шатаясь, прошел к столу. Тряпицын поймал на себе его безумный взгляд.

— И вот еще что, — полупрохрипел-полупрорычал Грунев, повернувшись к собравшимся, — кто бы ты ни был... ведь ты тоже здесь сейчас... знай, гнида, я найду тебя... Я найду тебя еще раньше, чем Вовка, и тогда держись... Держись, тварь!

Тряпицын схватил Степана за руку и попытался успокоить.

— Отстань от меня! — вырывался тот. — Оставь, я нормальный! Я норма-альны-ый!!! — истошным голосом заорал Грунев.

В этот момент все замерли. В зале повисла звенящая тишина. Слышно было только тяжелое дыхание Степана.

— Товарищ лейтенант, — раздался из толпы молодой голос Мишки Черепанова, — разве можно так, без суда и следствия кому-то угрожать? Вы бы присмотрели за Груневым, а то, чего доброго, он тут полдеревни передушит в горячке-то.

В зале одобрительно загудели. Степан смотрел по сторонам обезумевшим взглядом. Тряпицын сказал:

— Вы, конечно, правы. Но я хочу сказать, что заявление Грунева нужно рассматривать только как горячечный бред, никого убивать он не собирается, я это прекрасно знаю, и вы все это прекрасно знаете...

Из толпы вышел Дмитрий Иваныч, он подошел к Степану и что-то тихо сказал ему. Затем, кивнув Тряпицыну, вывел Грунева из клуба через запасной ход.

Несколько дней Грунев жил у Дмитрия Иваныча, и теперь уже старик сам заботился о нем. Окончательно отрезвев, Степан, кажется, немного успокоился, даже стал помогать по хозяйству.

— Слышь, дед Мить, что в мире-то творится, — с порога начал он, разуваясь.

— Что такое?

— Игнатьева-то нашего ночью отметелили...

— Как ты говоришь? — старик встал из-за стола и вышел в комнату, где Грунев складывал дрова, сидя на корточках возле печки.

— Шастается по ночам, как заведенный. Пес знает, что на него нашло, сидел бы себе дома, как все нормальные люди. Да верно все дружков старых ищет... Ну так его и приметили, что он шастается, подумали невесть что... собрались вечерком да

и отметелили его... хорошенько так, с душой, как наши умеют... Говорят, свой дом по пьяни спалил, теперь всей деревне мстит, алкаш...

Дмитрий Иваныч пробормотал что-то невнятное, вернулся в кухню и ополоснул лицо водой из ведра.

— Зря только, — чуть громче продолжал Грунев. — Не он ведь жжет...

— Отчего ж не он?

— А и не скажу отчего, — отвечал Степан серьезно. — Да только знаю я его... Понимаешь, дед Мить, может, это глупости все, но вот иногда про человека знаешь, что ну не может он чего-то сделать... Да, поддает, все знают, что поддает... но чтобы жечь... Тем более Тряпицын говорил, что Борьке дом тоже кто-то поджег, а не сам он... Одним словом... Черт его знает, что такое творится! — Грунев встал и прошел в кухню. — Совсем народ с ума посходил из-за этого гада... Небось сидит сейчас где-то, радуется, что Борьку зашибли, а не его... Хорошо, хоть руки не переломали...

Грунев зачерпнул ковшом воды и выпил, сделав несколько больших звучных глотков.

— Ну это ничего... Пусть порадуются... Мы еще посмотрим... еще...

Как-то раз он снова уехал в центр и вернулся только вечером. Привез с собой ружье и фонарь.

— Это тебе зачем? — спросил старик.

— Как же, зачем, — вздохнул Грунев. — Пойду сегодня ночью на охоту.

— Это ж на кого охотятся ночью, когда не видать ни зги?

— А на того, кто только и ждет такой ночи, чтобы остаться незамеченным... Змея буду ловить, который нам дома жжет...

— Ишь ты! — взмахнул руками старик. — Так, а если не появится он теперь?

— Да как же не появится... Это он после моего дома на дно залег, когда шум поднялся... До того ведь никто от его поджогов не погибал... А тут все собрались, ищут, друг на друга смотрят... Вот он и притих. А после Борьки-то снова все улеглось. Никто ничего не жжет. Тихо стало... А он ведь, дед Мить, не перестанет... Ему снова захочется... Тут-то я его и...

— Что? — Дмитрий Иваныч посмотрел в глаза Степану.

— Хм... Да не знаю что... Погляжу хоть на него, тварь такую...

— Ну да, ну да, — забормотал старик. — Ты только, Степа, прежде чем пойдешь, дров мне накопи, а я печь истоплю. Надоест небось всю ночь по деревне-то бродить, вернешься, а у меня тут и тепло, и чаек я сделаю...

— И то верно, — Грунев положил ружье на стол и вышел во двор.

Стояла темная августовская ночь. Деревня спала тревожно: то и дело зажигался в окнах свет, или кто-то выходил во двор курить и смотрел по сторонам, вглядываясь в темноту, вслушиваясь в мерный стук топора, которым колот дрова Степан.

Наконец Грунев вернулся в дом, накинул куртку, взял фонарь и ружье.

— Ну, в добрый путь, — грустно улыбаясь, сказал Дмитрий Иваныч.

— В добрый, — ответил Степан сухим металлическим голосом.

Через полчаса в дом ворвался Тряпицын.

— Дед Митя, ты дома?

— Да дома я, дома, — отвечал старик, выходя из кухни.

— Доложили... Грунев... сегодня в центр ездил... ружье... там... Где Степан?!

Степан осторожно, стараясь не шуметь, шел по тропинке между домами, прислушиваясь к каждому шороху и замирая от каждого подозрительного звука, как самый настоящий охотник. Он умело прятался за деревом или забором, когда кто-то из жителей деревни выходил покурить на крыльцо или в уборную. Вот так, думал

он, несколько уже недель ходит по округе ползучая тварь, поджигающая дома, и никто на свете не может ее поймать... Никто, кроме него. Его ведет инстинкт охотника. Его ведет кровь. Тот же зов ведет и поджигателя, а значит, рано или поздно тот тоже выйдет на охоту.

Грунев обходил деревню уже во второй раз, и ему то и дело казалось, что пока он проходит по этой стороне, поджигатель может скрываться на другой. Эта мысль злила его. А злость придавала ему сил. Он шел все быстрее и быстрее, оставаясь при этом тихим и незаметным.

Услышав вдалеке непонятный шорох, Степан остановился. Звук повторился снова. Грунев внимательно посмотрел по сторонам и увидел силуэт человека. Нет, это не был очередной взволнованный житель, нервно курящий на крыльце. Человек стоял возле дома со стороны, противоположной входу. Это был он.

Грунев быстро, но все еще по возможности тихо двинулся в сторону дома. Подкравшись к неизвестному сзади, он затаил дыхание. Хрустнула ветка, и некто обернулся. Степан вскинул ружье и уперся дулом ему в грудь. Тот от неожиданности выронил из рук бутылку, и воздух наполнился едким запахом.

«Бензин, — приняхавшись, понял Степан. — Это он».

Вдалеке появился запыхавшийся лейтенант Тряпицын.

— Степа! — закричал он.

Грунев обернулся, и преступник, пользуясь случаем, рванулся в сторону, но Степан с размаху заехал ему дулом ружья в бок, и тот шумно повалился на землю. Раздался сдавленный стон. В следующую секунду яркий свет фонаря осветил поджигателя. Грунев опустил ружье: перед ним на земле лежал Мишка, старший сын Черепановых.

Прибежавший на свет Тряпицын увидел их двоих и хотел было заговорить с Груневым, но тот бормотал только:

— Нет... нет... не может быть...

— Ну что, товарищ лейтенант, — Мишка улыбнулся, обращаясь к Тряпицыну: — Все еще думаете, что он не собирается никого убивать?

Лейтенант стал подходить ближе, но Грунев поднял ружье и тихо сказал:

— Стой, Вовка, где стоишь... Стой, Вовка... где стоишь...

Протяжно скрипнул взведенный курок. Дуло ружья качалось перед самым носом Мишки, который сидел неподвижно на земле и с каким-то безумным вызовом смотрел в глаза Степана, шумно вдыхавшего носом воздух. Время остановилось для них обоих. «Мишка... Мишка, — думал Грунев. — Ведь этого не может быть... Мишка, который всегда был скромным мальчишкой и никогда не дрался... Мишка, который был дружен со всеми детьми и взрослыми в деревне... Мишка, которого Грунев всячески старался поддержать после внезапной смерти его отца, Черепанова-старшего... носил яблоки для младших детей, давал деньги вдове и самому Мишке... Но нет... Вот он сейчас сидит перед ним и пожирает взглядом... безумный, улыбающийся, — на глаза Грунева навернулись слезы, расплывчатые очертания юного поджигателя смешивались в его голове с едким запахом бензина, с оглушительными ударами его собственного сердца, с шумом крови в голове. — Вот он сидит сейчас здесь... Несмотря ни на что, тот человек, который... тот... который...»

Тряпицын начал осторожно продвигаться ближе к Степану, желая выхватить у того оружие. Кровь прилиwała к голове Грунева, мысли путались, откуда-то из утробы поднималось вверх тяжелое и тревожное чувство, словно огромный камень стремился вверх по гортани, его бросало в жар. Ружье все сильнее раскачивалось в руках. Нет. Он не может убить. Каким легким и верным, единственно справедливым делом казалось ему это еще пару часов назад. Найти. Схватить. Дуло в грудь и спустить курок.

— Почему? — беззвучно прошептал он, глядя в сверкающие в темноте глаза Мишки. — Почему...

Все это продолжалось не более полутора минут, и тем временем Тряпицын все ближе и ближе подбирался к Груневу, но вдруг оступился, и под ногой его предательски хрустнула ветка. Лейтенант тут же бросил взволнованный взгляд на Степана: тот от неожиданности дернулся и спустил курок... Но выстрела не было. Звонкий щелчок раздался, казалось, на всю округу. Грунев опустил ружье и отшатнулся назад. Взгляд его был пустым и ничего не значащим. Глядя куда-то вдаль, он переломил ружье: патрона внутри не было — Дмитрий Иваныч вытащил его, пока Степан колот дрова. Мишка все это время оставался неподвижен, но тело его то и дело содрогалось от резких неконтролируемых движений. Наконец поняв, что произошло, и вглядевшись в растерянное лицо Грунева, он повалился на землю, разразившись истерическим хохотом. Степан медленно подошел к Черепанову и ударил его ногой в живот. Затем он развернулся и побрел куда-то, не оборачиваясь на возгласы Тряпицына, пытающегося одновременно остановить друга и успокоить поджигателя...

На следующей неделе лейтенант снова зашел к Дмитрию Иванычу.

— Степа дома?

— Нет, — отвечал старик, — за хлебом вышел вот не так давно. Чаю хочешь?

— Давайте, — Тряпицын снял фуражку и сел за стол. — Это хорошо, что Степана нет дома, — сказал он немного погодя.

— Это почему же?

— Тут открылись обстоятельства... по делу этого Черепанова... Он рассказал на допросе, как все было и... почему...

Дмитрий Иваныч поставил на стол чашки с чаем и сел, с вниманием посмотрев на своего гостя.

— На допросе Мишка про отца своего стал рассказывать. Отец мой, говорит, был очень тихим и скромным человеком. Он был очень добр, отзывчив, и все это знали... И вот как-то раз в апреле разговорился он с Борькой Игнатьевым. Тот говорил, что вроде у него большое горе или большая радость и что не с кем поделиться, и предложил отцу пойти в чайную поговорить. Отец, не умея отказать, естественно, согласился. Сели в чайной. Выпили. Естественно, за деньги отца: у Борьки своих отродясь не водилось. А так как отец его, по его же словам, никогда не пил, — Тряпицын отхлебнул чая из чашки, — то его довольно быстро развезло. Ну и понеслась. Борька знай только подливает за чужой-то счет. В общем, говорит этот Мишка, спил Игнатьев его отца в тот вечер. Сам напился и ушел. А Георгия Макарыча, значит, выставили из чайной, и он побрел домой, но до дома не дошел, где-то там упал в канаву и уснул. И никто, говорит Мишка, ему даже не попытался помочь... Ну валяется, говорит, трезвенник Черепанов в канаве и валяется, кому какое дело...

Снаружи что-то скрипнуло и тут же стихло.

— Ну и вот, значит. Все бы ничего, наутро он кое-как очухался, вернулся домой, отогрелся, вроде бы и забыть всю эту историю, так нет. Галька Красильникова ходит по деревне и рассказывает всем, что, дескать, пропали у нее из чайной две бутылки портвейна. Говорит, вчера, мол, сидели у меня вечером только Игнатьев и Черепанов, но Игнатьев ото всего отрешивается, говорит, честно свое выпил и ушел. А Черепанов нет — Черепанов до самого закрытия сидел и уходить не хотел. Вот он-то, говорит Галька, и стянул две бутылки «Семерок» и ходил ночью по деревне, пил их в одного. Докатались слухи и до семейства Черепановых. Так, мол, и так. Жена сцену устраивать, мол, что же это такое?! Черепанов-старший ни сном

ни духом; говорит, не мог он украсть. Да ты не помнишь ничего, говорит ему жена. Разругались, в общем. А слух тем временем по всей деревне идет... В итоге вызвали Черепанова на собрание в клубе. Говорят ему, что вот он, дескать, такой-сякой, а потом Степа выступить решил, да так, говорит Мишка, его пригвоздил, последними, говорит, словами обозвал и сказал, что таким личностям не место в нашей деревне... Георгий Макарыч ушел с собрания красный как рак, слег на неделю с сердцем и помер, оставив после себя вдову и троих детей... Ну, или двоих — Мишке тогда уже девятнадцать было...

Тряпицын допил чай и неосторожно стукнул кружкой по столу.

— Это в апреле все было. И Мишка это все видел, отец ему это все рассказывал, когда с женой разругался и со всей деревней. А в начале мая, говорит, зашел в чайную, Галя-то его подозвала и сказала, что нашла те две бутылки, которые на Черепанова-старшего повесила. Выходит, не виноват он был. И, говорит Мишка, попросила его никому только не рассказывать...

Лейтенант вспомнил, как нервически посмеивался этот молодой парень, говоря: «Представляете, говорит: только не рассказывай никому, я тебя очень прошу... Ха! А я стою и думаю: не расскажу, не бойся, зачем мне рассказывать, — тут он внезапно помрачнел и договорил уже низким серьезным тоном: — Но просто так я этого не съем, нет... Отец никогда не мог постоять за себя... так я это сделаю за него».

— Но почему, говорю, нельзя было приехать ко мне, рассказать все? Мы бы наказали всех виновных и восстановили честное имя твоего отца. Он только смеется. Говорит: что бы вы могли сделать? Взять с них штраф? Отец потерял из-за них все... Вот так, в какие-то минуты, как на пожаре... Был дом, полная чаша, и вдруг — кто-то чиркнул спичкой, и все полыхнуло... И не осталось ни досочки, ничего не осталось... Они, говорит, должны были испытать то же самое. И у него почти получилось: Игнатьев потерял дом и честное имя (как потерял его Черепанов-старший, говорит Мишка), его избили наши, думая, что он поджигатель; Грунев потерял дом и любимого человека (как потерял его Георгий Макарыч, когда жена не поверила ему, и как потерял его сам Мишка, когда умер его отец)... С одними Красильниковыми не получилось, говорит... Но это было дело времени, все равно, говорит, они свое получат. «А чей же ты дом собрался поджигать, когда тебя поймали?» — спрашиваю. А он говорит: чайную хотел поджечь; а то как-то про место преступления все забыли, да и Красильниковы не сполна хлебнули... А Грунев, говорит, молодец... Не впервой ему убивать-то, не впервой...

В прихожей раздался шум, хлопнула дверь, и под окнами промелькнула фигура Степана. Дмитрий Иваныч вскочил, показывая на окно:

— Во двор! Там ружье в сарае!

Тряпицын выскочил из дома и ринулся в погоню за другом, он с разбегу наскокил на Грунева и повалил его на землю. Старик Дмитрий Иваныч со всех ног бежал за ними. Во дворе начал собираться народ...

РАСКАЗЫ

ПТИЧИЙ ПОЦЕЛУЙ

Однажды Марк Ильич, немолодой уже водопроводчик, поехал на дачу. Дача заброшенная, глухая, располагалась на ***-м километре от Москвы по Курскому направлению. Летний поселок только начинал оживать после зимы, принимал первых постояльцев. Участок Марка Ильича располагался на самом краю и оставался нетронутым много лет. Хозяин покупал когда-то для жены и детей, которых в его жизни так и не случилось. Сам же охоты до нее не имел.

Марк Ильич был философски настроен и обладал флегматичным характером, поэтому не сильно переживал на этот счет. Изредка его посещали малодушные помыслы о несостоявшейся судьбе. Но Марк Ильич много лет не нарушал своего однообразного, ничем не примечательного порядка жизни. Что именно произошло теперь, никто не мог бы сказать утвердительно. Марку Ильичу нестерпимо захотелось быть ближе к природе. Пора бы воспользоваться пустующим доселе на ***-м километре участком и духовно оздоровиться — так подумал Марк Ильич и отправился.

Дача представляла из себя одноэтажный, с высоким чердаком домик на куске земли, заросшей сорняком. Самой большой ценностью здесь был дремучий вишневый сад. Годами неухоженный, сад стал обиталищем разнообразных птиц и был полон темной, влажной таинственности. Стоял май. Под деревьями кружевным ковром расстился вишневый цвет, недавно осыпавшийся. Было видно, что ветки деревьев уже налились соком и позеленели. Марк Ильич приехал к полудню, в обеих руках он нес садовый инструмент, за спиной — старый брезентовый рюкзак. Первым делом пришлось расчищать тропинки. Потом Марк Ильич расчистил полянку перед крыльцом, устроил костер из свежесломанного хвороста. Скромно поужинал, покурил, как спустились уютные сумерки, пришлось надевать свитер. Марк Ильич рассчитывал провести на природе дня два-три.

Погода стояла необычайно теплая для конца весны. Чтобы не пропитываться застарелой сыростью нежилого помещения, Марк Ильич решил ночевать в саду. Нашел в доме матрац, тщательно выбил от пыли и постелил под старой смолистой вишней. Туристический спальник был привезен с собой. Вместо подушки Марк Ильич положил рюкзак.

В окрашенной кремовым закатом полутьме застрекотали, набирая силу, сверчки. Из темного сада потянулись запахи сырости и еще чего-то приторного, едва различимого. Скошенные молодые травы благоухали вокруг головы. Запел одинокий

Татьяна Павловна Скрудзь, родилась в 1982 году в Липецке. В 2015 году окончила Литературный институт им. Горького. Поэт, прозаик. Публиковалась в журналах «Урал», «Юность», «Сибирские огни», «Новая Юность», «Новая реальность», «Литература» и многих других. Живет в Санкт-Петербурге.

соловей. Марк Ильич почувствовал себя в княжеской ложе какого-нибудь знаменитого петербургского театра, в котором он ни разу не бывал, но о котором знал из американского кино про русскую Анну Каренину. Какое-то непостижимое открытие kloкотало у него в солнечном сплетении. Давно забытая детская радость предстоящей жизни посетила старого водопроводчика. Умиротворенный, он сладко заснул, укутавшись с головой в кокон спального мешка.

Под утро цикады вокруг утихли. Наступала смена птиц. С первыми лучами солнца подала голос первая трясогузка: «фьюти-фьюти-фьюти-фью». Через полчаса переключку подхватила сойка, за ней наперебой зачирикали истошные воробьи. Скоро в этой какофонии стало невозможно различить отдельные голоса. Зяблики, пеночки, скворцы и овсянки во множестве возносили хвалу Создателю. Сквозь приоткрытые веки Марк Ильич увидел, как какие-то из них перелетали поляну от дерева к дереву.

Он уже очнулся от сна, но не двигался, наслаждаясь утром. В полудреме чудилось, будто превратился он в садовое растение и на свежем ветру колышется волокнистое тело его новой сущности. Видимо, птицы тоже приняли Марка Ильича за часть пейзажа: вдруг одна из них, серая с красной грудью малютка, села на грудь Марка Ильича, точнее, на спальный на груди. Марк Ильич замер. Птица вспорхнула, но тут же приземлилась вновь, только ближе к лицу. Марк Ильич прикрыл глаза и затаил дыхание. С трудом удержался от желания чихнуть.

Легкая, как пух, пигалица негромко щебетнула, подскакала еще на пару шажков. Марк Ильич слегка приоткрыл рот и выпустил немножко слюны, задержав каплю в воронке губ. Всем, кто содержал когда-либо волнистых попугайчиков, знаком прием «целования» с птицей. У Марка Ильича в свое время были и попугаи, и кенари, а однажды — толстый важный снегирь. Так что эту нехитрую манипуляцию он знал с детства. Тогда ему, советскому мальчишке, поцелуй, желательный повторенный многократно, казался наивернейшим способом приручить, добиться близости.

Он не ожидал, что птаха осмелеет так скоро. Но вот она вспорхнула, и секунду Марк Ильич чувствовал на губах слабые касания крепкого, тонкого клюва. Некоторое время лежал не шелохнувшись. Подлетела другая, а может быть, та же самая невеличка, и снова взяла немного слюны, затем еще и еще. Марк Ильич старался не улыбнуться. Его опутала ностальгия. Детские воспоминания носились вокруг. Было приятно, что птицы касаются крыльями его небритых морщинистых щек так доверительно, искренно, наивно. Это успокаивало нервы и волновало душу. В эту минуту Марк Ильич участвовал в небывалом единении с временем и природой. Была бы на то воля его, превратился бы сам в соловья или жаворонка, например, чтобы так же легко и весело щебетать беспечным и свободным, что дано только птицам и маленьким детям, но никак не замшелым водопроводчикам в большом суетливом городе.

Окончательно проснулся Марк Ильич часа через два. Солнце поднялось уже высоко и медленно загоняло под куст тень, которая прикрывала голову. Марк Ильич поморгал, выпростался из мешка, почесал через свитер впалую грудь, погладил колючий подбородок и еще некоторое время с удовольствием лежал, вдыхая свежий, как горное озеро, ароматный воздух. Город с пыльной зеленью родного двора, с урбанистическими пейзажами за его пределами забылся, как сон. Благодушный покой вишневого сада теперь был его домом. И от чего это он раньше не приезжал сюда? Приобрел и забыл, считал — лишние хлопоты. Марк Ильич вздохнул, прислушался, стараясь отогнать вновь нахлынувшую тоску. Птицы по-прежнему пели, но разрозненной, жиже и больше не старались подлететь близко.

Очарование прозрачного, как вода в ручье, рассвета исчезло. День обещал быть теплым и солнечным. Марк Ильич захотел во что бы то ни стало не растерять вечерашний настрой. Он был полон трудовых планов и жаждал увериться во всех преимуществах загородной жизни. Он твердо решил остаться в поселке на все лето, а может быть, и на всю жизнь. В конце концов, идет уже шестой десяток, пора и честь знать, пора становиться ближе к природе. Выращивать редис и сочинять мемуары. Так подумал Марк Ильич.

Но тут он остро почувствовал чрезвычайно обыденную потребность организма. Сетуя, Марк Ильич поднялся, сделал несколько шагов в густоту сада. Здесь он остановился и гордо оправился, как будто совершал физиологическую мантру о благодатном поливе почвы. Едва Марк Ильич застегнул брюки, как глаза его остановились на холмике поодаль. Приглядевшись, он различил метрах в трех от себя лежащую собаку. Было неясно, мертва она или нет. Темно-коричневая шкура силуэтом выделялась на белых вишневых лепестках.

Сухо кашлянув, Марк Ильич, как вор, подкрался поближе.

Обычная дворняжка, крупная, оказалась трупом. По всей видимости, с ней это случилось недавно, не далее чем позавчера. Никаких ран на теле Марк Ильич не заметил, кроме того, что пустовала одна глазница. Труп лежал на боку с открытыми веками, и вид его был таков, что Марк Ильич попятился, а в мозгу само собой всплыло расписание электричек на Москву. Он не на шутку рассердился: как это некстати, мол, несообразно, бессовестно! Что именно бессовестно, он и сам не знал.

Словно отвечая, над ухом Марка Ильича свистнула раз-другой та самая пигалица — рассветная гостья. Откуда-то из зарослей ей ответила подруга. Марк Ильич замешкался, пытаясь угледеть движение в паутине ветвей. Была бы в руках рогатка, Марк Ильич, не задумываясь, выразил бы свою злость в одном выстреле! Но тут крохотный шустрый комочек выпорхнул на видное место и уверенно направился в кусты, где лежало песье тело. Марк Ильич определил ее как малиновку. Птица зависла над собачьим трупом, порхнула к голове.

— Ах, Боже ты мой! — по-бабски воскликнул Марк Ильич.

Малиновка клюнула собачий глаз раз и другой, отлетела в сторону. Появилась другая, точь-в-точь повторила ее действия. За ними прилетели сразу три, по очереди отпили из глазницы. Трапеза продолжалась не больше половины минуты, затем стайка вновь скрылась в саду, весело щебеча.

По-солдатски развернувшись на сто восемьдесят градусов, Марк Ильич поспешил к дому через громко хрустящие под ногами сучья. Там схватился за косяк. Тошнило.

В этот же день Марк Ильич покинул так и не очищенную от бурьяна дачу, чтобы больше никогда уже не вернуться ни сюда, ни к нелепым мечтам. В рейсовом автобусе со старческой неловкостью уселся у окна, склонил голову к прохладному стеклу. Когда водитель выворачивал на шоссе, из придорожного кустарника выпорхнуло крохотное тельце, промелькнуло в воздухе смазанным штрихом. Марк Ильич зажмурил глаза, стиснул зубы и губы и замер в судорожном напряжении.

На конечной, под назойливый — метро! конечная! — возглас из динамика, спешно вышел — последним. Пустой автобус рванул резво, будто мельничный ишак, с которого под вечер наконец сняли ярмо и отпустили в пастись свободно. Закат на мгновение опалил окна кровавым бликом. Марк Ильич успел заметить на стекле мутное пятно от прикосновения собственного горячего потного лба.

«А умрешь, — проскочила кривоватая мысль, — и мокрого пятна не останется».

Но тут его сильно толкнули в плечо.

— Эй, дед, аккуратней, — буркнул кто-то, хотя Марк Ильич не двигался.

Очнувшись, зашагал к станции. Человеческий поток подхватил, закрутил, скрыл и наконец ввергнул в хищно раззявленную черную пасть метрополитена. Несмотря на духоту, под землей невнятное беспокойство исчезло. Марк Ильич догадался: здесь нет птиц.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ВАЛЕНТИНЫ

Валентина умерла зимой, во вторник днем.

До того она жила в больничном приюте тихо и неприметно. Ежедневный распорядок в приюте был прост: завтрак, обед, ужин, а между ними — долгая пустота, когда всем казалось, что время остановилось навсегда. Валентина в эти часы или лежала в кровати, или бродила по большой, на пятнадцать человек, палате. Она ни с кем не заговаривала, беззубо жевала губами и, только когда, шаркая тапочками, подслеповато врзалась в кого-то из вечно суесящихся пациентов, шепелявила тоном родной бабушки: «Лапочка, лапочка моя».

Валентина не помнила, как попала сюда. И никто, даже самые старожилы, не помнили. Больные приходили и уходили, а она оставалась на своем месте, как ветхая хоругвь в углу храма. Коренные жильцы называли хоругвь баб-Валей, новенькие или не задерживающиеся в больнице надолго — не иначе как Валентина Васильевна. Если Валентина не спала, большую часть времени смотрела в неопределенную даль, оставаясь неподвижной. Или, сложив за спиной маленькие морщинистые руки, подходила к окну и обращала свой взор в сад — на весну, лето, осень или зиму. Отделение находилось на первом этаже, низкие ветви яблонь почти касались стекол. На ветвях часто кучковались серые воробьи. Через плотно закрытые рамы чирканья их не было слышно, но что-то свежее будто проникало в духоту помещения, и отступал застарелый запах грязного белья и хлорки, которой ежедневно натирали полы, подоконники и спинки кроватей. Все это растворялось, как недодуманный образ, и только просторы сада и вот эти беспокойные, как пружинки, птицы оставались единственной реальностью.

У Валентины были внимательные глаза насыщенного черного цвета, хоть и полуслепые, но всегда яркие и блестящие. Наверное, она видела каким-то особенным взором, что называется «третий глаз», потому что если с ней заговаривали, старушка глядела как бы в глаза собеседнику и в то же время оставляла того в совершенной уверенности, что смотрит насквозь. Впечатление пронизательности дополнялось густыми, как кусты лавра, бровями — правое веко слегка нависало, от чего одна половиной лица казалась всегда на что-то сердитой, — но компенсировалось мягкими чертами и тихим голосом: «Лапочка ты моя».

Соседки подкармливали Валентину печеньем или конфетами. Бывало, кто-то выхватывал у нее только что полученное лакомство прямо из рук.

— Эй ты! Отдай назад, тебе говорят, — поднимался шум, если кто замечал воровство.

— Не отдам! — и не отдавала.

Если же и пыталась отдать, недовольная, все равно Валентина уже не брала, зато сдвигала обе брови в сплошную черно-седую линию и пронзительным взглядом провожала хамку. Но гнев тут же потухал, проследив спину обидчицы, Валентина возвращалась к созерцанию сущности вещей, открытых ей одной.

Впрочем, она почти никогда не съедала дареное, но в забывчивости скапливала по углам своей кровати. Печенья крошились, шоколад пачкал простыни. Санитарки отделения ругали Валентину, как безответное дитя, нелюбимое за лишние

хлопоты. Единственная Алла Ивановна называла Валентину просто Валею и разговаривала с ней как с обыкновенным, равным себе пожилым полноценным человеком — они были почти ровесницы. Аллу Ивановну Валентина чаще других называла «лапочкой моей».

Всего санитарок было три. Им приходилось ухаживать за восьмьюдесятью женщинами разных возрастов. Одни пациентки жили здесь как сироты, другие состояли в той или иной степени старческого слабоумия и нуждались в постоянном медицинском и бытовом уходе. Валентина являлась одновременно тем и другим, и никто не ждал, что она когда-то выйдет из приюта.

Незадолго до своего последнего вторника Валентина, как обычно, прогуливалась от кровати к окну, когда неожиданно споткнулась о чьи-то тапочки и упала прямо лицом в пол, потому что руки держала за спиной. Алла Ивановна, дежурившая в ту минуту в палате, бросилась ее поднимать. С усилием расцепила руки, куклой довела и уложила на место. С тех пор Валентина не вставала и все реже произносила свое волшебное слово. Алла Ивановна и четыре ее сменщицы по очереди кормили старушку бульоном, в котором размачивали мякиши хлеба. Но было ясно, что Валентина начала умирать. Через неделю она полностью ослепла и глядела беспamięтно. На случайный шум стала протягивать, словно чего-то испрашивала, зябкую руку, из которой само собой вываливалось теперь любое печенье.

Последние две недели Валентина почти не принимала пищи и не двигалась. Подымала утром и опускала днем веки, сделавшиеся такими хрупкими, что походили на папиросную бумагу, да нешироко разевала рот, когда кто-то из санитарок подносил столовую ложку с каким-нибудь жидким питанием. Вселилось мимо, на шею и серо-белый ворот больничной рубахи. Никаких эмоций на спокойном, с ввалившимися щеками лице не отображалось. Так рыбка, случайно выплеснутая вместе с водой, когда хозяйка чистит аквариум, перестает трепыхаться к первой минуте пребывания на воздухе и медленно засыпает, все слабее надувая пустые бока.

Вторничным утром, как и в другие утра недели, в отделении стоял невнятный гул голосов, пациентки бродили, шумели и ворочались в постелях. Перед каждой из них стояла какая-нибудь личная проблема: занять очередь в ванную комнату, отобрать сворованный соседкой зефир, препятать из наволочки в пододеяльник какую-то ценность вроде куска мыла, полученную давеча с передачей от родных. Бездыханность баб-Вали заметили не сразу, а когда заметили, по первому возбужденному восклицанию у ее постели собралось сразу несколько человек.

— Не может быть, чтобы умерла.

— Потрогай, может быть, пошевелится.

— Сама трогай, надо зеркальце поднести, я где-то читала, что так проверяют, жив ли человек, потому что на себя в зеркальце нельзя не посмотреть. А вот если не посмотрит, значит, мертвый.

— А где ты зеркало возьмешь?

— Машка, Оля, да не ты, бестолочь, Бояринова Оля! У кого-то из вас было зеркальце. Дайте!

— Тише ты, отнимут. Нет у меня ничего.

— Баб-Валь, а баб-Валь. Слышишь?

— Не слышит она уже ничего...

Кто-то сообразил позвать старшую медсестру. Та пришла быстро, в сопровождении еще дежурной сестры и трех санитарок. Старшая бесцеремонно отодвинула любопытных. Медперсонал выстроился чинно у кровати, во вмятине которой лежала крохотная Валентина. Напротив холодно голубела облезлая больничная стена. Алла Ивановна стояла вместе со всеми и ревностно наблюдала за старшей. Та

умелым движением одной руки взяла запястье старушки, сжала пульс длинными пальцами с лакированными, вызывающего цвета ногтями. Вторая рука оставалась в кармане халата. Стекла огромных очков, которые делали и без того некрасивую, плосколицую старшую похожей на кобру, глядели прямо перед собой в большое кривое пятно, оставленное отвалившейся со стены краской. Пятно напоминало формой средних размеров камбалу, глазками которой удачно вырисовывались две невесть откуда взявшиеся дырки на штукатурке.

— Еще жива, — сухо произнесла она и опустила безвольную кисть Валентины на простыню.

— Кончается наша Валюша, — горестно вздохнула Алла Ивановна.

Старшая склонилась над умирающей. Взгляд Валентины был неподвижен и устремлялся по вертикали к потолку. Глаза по-прежнему блестели здоровой чернотой. Если бы старшая пригляделась, наверняка могла бы проследить этот взгляд. Но Кобра отстранилась, выпрямилась и скрестила на груди руки, как палач, слушающий оглашение приговора судьи подсудимому.

Валентина, казалось, засыпает. Душа уходила из нее так незаметно, будто хотела, никого не потревожив, тихонько заняться другими, кроме поддержания дыхания и кровотока, важными делами. Палата замерла. Так группа снимающихся застывает в принятых позах перед фотографом, который скомандовал: «Внимание, сейчас...» Прошло минуты две. Валентино лицо медленно делалось неодоушевленным. Кобра снова взялась за ее запястье, и было похоже, что считает: «Десять, девять, восемь, семь...»

Наконец заключила:

— Все.

Аккуратно положила мертвую руку на место, развернулась, быстрым шагом вышла из палаты. Сестра и санитарки незамедлительно зашуршали вслед изящным змеиным хвостом, унося на нем запах лекарств и скрипучих резиновых перчаток. Алла Ивановна замялась, но все же поспешила за остальными.

Больные, толпившиеся все это время за спинами медработников, плотным полукольцом обступили кровать. Пораженные, они продолжали молчать, не отрывая глаз от покойницы и смутно ощущая нечто важное ускользнувшим прямо из под носа.

Валентина тем временем продолжала глядеть в потолок. Радужная оболочка не тускнела, зато вечно нахмуренная бровь распрямилась, от чего ее лицо сделалось совершенно симметричным. Послышался судорожный всхлип.

— Эй, разойдись, паскудницы, чего вылупились!

В палату вихрем залетела Алла Ивановна, разогнала больных и подошла к трупу, но здесь ее решимость мгновенно исчезла.

— Глаза бы ей прикрыть надо, — произнесла, ни к кому не обращаясь. — Ай, мерзость. К мертвым нельзя прикасаться-то. Что делать?

Подумала, уткнув кулаки в толстые бока, затем натянула край одеяла и уголком пододеяльника хотела сомкнуть уже начавшие остывать веки. Но как только отняла руку, веки медленно поползли назад. Попробовала придержать их пару секунд — глаза, как живые, открывались все равно. В расширенных черных зрачках бликовали лампы дневного освещения. Дрогнув, Алла Ивановна бросила свое дело и ушла прочь.

Больные больше не подходили, косились издали. Через полчаса, получив указания врача, вернулись все три санитарки. Завернув тело в простыню, подняли с натугой каторжников, осиливающих перегруженный кирпичами поддон: две держали углы полотна в изголовье, Алла Ивановна — возле ног. Валентина ко

дню упокоения сделалась совсем махонькой, не больше десятилетнего ребенка. Странно было, что трое взрослых, упитанных женщин с таким трудом несли ее труп. Говорят, тела делаются тяжелее, когда лишаются жизненной энергии. Можно подумать, душа, уходя, забирает с собой свою легкость, ментальность, свою духовную силу, парадоксально позволяющую живому существу двигаться, поднимать ноги и голову вместо того, чтобы камнем прилипнуть к земле.

Мертвую бережно, как будто опасаясь, что она больно стукнется головой, положили на холодный чистый пол ванной комнаты. По желтоватой внутренней стенке ванны полз какой-то слизняк (неизбывная теплая сырость стояла в щелях и меж трубами). Алле Ивановне представилось, как слизняк ползет по застывшему Валиному лицу. Она размашисто перекрестилась, торопливо выскочила в коридор. Щелкнул замок двери.

К вечеру по вызову главврача приехала дочь Валентины — сухонькая вдовичка средних лет, с синюшным личиком и черными, такими же, как у матери, глазами — спелая черешня после дождя, — сверкающими из-под соколиных бровей. Она прошла за врачом через все отделение, пробыла в кабинете несколько минут, потом так же, не глядя по сторонам, пошла обратно в пугающем одиночестве. Больные сразу узнали в ней родственницу баб-Вали, хотя видели здесь впервые: к старушке никогда никто не приезжал, не получала она и обычных здесь передач. Потому теперь многие из больных смотрели на гостью с упреком, зло шептались по углам и провожали ее горящим, ненавидящим взглядом, будто эта несчастная нанесла им личную обиду.

Вряд ли сама Валентина понимала, где и сколько времени находится, быть может, и дочь свою она не помнила и не тосковала, как чудилось многим. Но прокрадывалась в голову щиплющая мысль, что юродство Валентины являлось не столько частью болезни, сколько признаком ясного сознания, который тайлся в живом блеске умных, добрых глаз.

Появились какие-то мужчины, рабочие, их проводили в ванную, где они переложили тело на носилки. Выходя из отделения, пронесли ногами вперед по коридору мимо нескольких пациенток и Аллы Ивановны. Лицо усопшей было уже скрыто простыней, никто так и не узнал, закрылись ли наконец сопротивлявшиеся вечной слепоте глаза.

Когда открывали дверь, ледяная свежесть с улицы ворвалась внутрь, несколько снежинок метелью влетели внутрь и растаяли, не достигнув пола. А потом тяжелый металлический засов главного входа с грохотом задвинулся.

Алла Ивановна долго и брезгливо мыла руки в общем рукомойнике, шмыгала носом и бормотала что-то воздыхательное, после чего прошла в палату прибрать опустевшую кровать. Свернула грязные простыни, стала протирать клеенку мокрой тряпицей.

— Тут носочки остались, — внезапно бодро крикнула она, не отрываясь от работы. — Кому носки теплые?

Отделение будто вышло из оцепенения, заворчал.

— Мне теплые нужны! Я мерзну!

— А я вообще без носков!

— А я их первая увидела! Я не знала, что раздавать будут.

— Как ты могла увидеть первая, дура!

— Сама дура!

Алла Ивановна распрямилась, резво скрутила два шерстяных комочка в один и, слегка размахнувшись, бросила в другой конец палаты. Там кто-то издал громкий хрюкающий звук удовольствия.

КАРГАЗУН

На хлипкой деревянной веранде в кресле-качалке сидит старик. На нем поношенный зеленый халат, матерчатые тапочки, а в руках он держит старую пузатую трубку, из которой вьется струйка дыма с запахом ежевики. У старика морщинистое безбородое лицо с большим носом и лысая голова, от чего он похож на черепаху, особенно когда сжимает плечи, кутаясь плотнее в халат, потому что уже поздний вечер и становится прохладно. На темном небе мерцающая россыпь. Звезды яркие и большие, как всегда, когда нет луны.

Дом старика стоит на берегу. Справа его прикрывает от ветра гора Каргазун, названная так в честь турецкого принца, убитого, как гласит легенда, татарскими разбойниками во времена хана Артына. Гора невысокая, с отвесным склоном, уходящим в море. То ли ветра и волны, то ли какие другие силы выточили из склона профиль, издаലെка напоминающий лицо девушки или молодого мальчика — курносого, с губами, сложенными в гримасу.

Старик прожил у этой горы всю свою жизнь, рыбача в бухте, и никогда не уходил от этого места дальше, чем в ближайший поселок, куда наведывался для обмена рыбы на пищу и вино. Там, на рынке, он и слышал разговоры о призраке принца. Призрак якобы блуждает в окрестностях и пугает жителей тихим плачем или невнятным бормотанием по ночам. Окажись где-то в безлюдном месте, он тут как тут. Только припозднившийся путник непременно должен быть в одиночестве.

Но сейчас старик не думает о привидении. Он пьет вино и рассуждает о том, как хорошо будет рыбачить на лодке, которую он выменял давеча у пожилой вдовы. Супруг ее, тоже рыбак, погиб в шторме прошлой осенью, увлекшись и зайдя слишком далеко в море. Новенькая, еще даже не успевшая достаточно потемнеть от соли лодка теперь стоит, накрепко привязанная канатом к столбу, который старик накрепко вколотил в мокрую гальку.

Бутылка вина почти опустела. Звезд стало много больше. Они, словно вышитый бисером ковер, заполнили пространство вплоть до горизонта. Старик причмокивает и смотрит вдаль. Вдруг часть звездного неба потускнела, и звезд не стало. Прямо перед стариком возникла тень, и тень была похожа на человеческую. Он не испугался, но удивленно крикнул, потому что фигура не двигалась, не пришла откуда-то, а точно материализовалась из воздуха. Ничто при этом не нарушило тишины. Слышен был отдаленный звук прибоя, да ветер шевелил редкую траву вокруг веранды. Старик хотел было встать с кресла, но тут же плюхнулся обратно, потому что фигура сделала шаг навстречу.

— Дай мне свою лодку, — произнес тонкий голосок.

— Ты... — старик запнулся. — Ты... Каргазун?

— Я не знаю, кто я, — печально ответил голос.

— Что ты здесь делаешь?

Фигура переместилась в сторону, но оставалась такой же темной. Можно разоб-
раться, что это мальчик. Высокий, стройный, очень юный. Деталей одежды не различить, но видно, что за спиной красиво драпируется под порывами ветра плащ, а на ногах, показалось старику, бордовые сапожки.

— Что ты хочешь? — старик напрягал зрение, пытаясь увидеть лицо, но призрак сел на край веранды к нему спиной.

— Я хочу домой, — медленно произнес он.

— А где твой дом?

— Там, — призрак махнул рукой в направлении горизонта. — Там мой дом. Там я.

Он помолчал, а потом заговорил быстро, словно хотел успеть что-то объяснить, пока есть слова и возможность их произнести.

— Мои родители привезли меня на большом корабле. О, с тех пор прошло много времени. Так много, что я успел забыть, кто они и кто я сам. Помню, как мать пела мне колыбельные песни, а волны и ветер за бортом подвывали ей разными головами. Помню яркое солнце и летучих рыб в искрах брызг. И как отец ходил по палубе, огромный, будто скала. Он был выше всех, и я любил прятаться в его тени. Потом мы вышли на берег. Я соскучился по земле, потому что плыли мы очень долго, и побежал наверх, в гору. Там росли чудесные цветы, а в зарослях неведомых деревьев щебетали птицы, каких я до того дня не встречал. Мать звала меня, но я не обращал внимания и скоро перестал ее слышать. Как много времени прошло там, наверху, не знаю. Настал вечер, когда я вспомнил, что надо вернуться.

Спускаясь, я надеялся увидеть уже разбитые шатры, но вместо этого... О! Отпечаток этой картины память моя сохранила свежее, чем я могу вынести без слез. Корабль наш полыхал. Последняя мачта с шипением обрушилась в воду на моих глазах. Близ берега на волнах колыхались несколько изуродованных тел, и кровь расплывалась по поверхности безобразными черными пятнами. По камням были разбросаны вещи и снасти. Товары, что мы везли в чужую страну, были похищены. Я видел следы от повозок, в которых, наверное, тащили груз куда-то в глубь суши.

Живых не осталось. Когда я спустился и бродил по берегу в поисках своих родителей, сапоги мои намokли от крови до голенищ. Я не боялся, что убийцы вернуться, но я испугался, когда не нашел ни мать, ни отца. Возможно, их увели с собой те, кто убил остальных. А может быть, они сбежали на корабль и погибли там в огне.

Призрак замолчал. Старик подождал немного, потом осторожно спросил:

— А что же ты?

— Я вернулся на гору. Время перестало течь. Осталось только море. Где-то за ним остался дом. Иногда я вдруг начинал верить, что родители вернулись домой, что они оставили своего сына, что они его не нашли и уплыли. Ведь мать звала меня. Но я не откликнулся и теперь остался совершенно один. Что-то ел, выковыривая из земли, спал под кустами. Но все больше тосковал. Видения дома, где мы жили, сад, где я играл малышом, преследовали меня. Тогда я помнил гораздо больше. Даже своих любимых собак! — он засмеялся, но как-то горько.

— И ты не знаешь, кто ты, мальчик? — спросил старик.

— Не знаю. Одно время думал, что птица. Долго-долго я учился разговаривать с птицами, что гнездились на тех скалах, — он показал на ту часть горы, где днем можно было увидеть его же профиль. — А потом научился летать.

— Как?! — воскликнул старик.

— В тот день мое сердце особенно терзалось. Печаль изъела глаза слезами, и я не мог смотреть на горизонт. Тучи собирались к дождю. Казалось, они говорят «никогда», «никогда» — такие они были хмурые. А птицы... птицы срывались со скалы и неслись прямо к ним. Так, как они нападают на врага, когда защищают свои гнезда. Как будто они протестовали против всего неизбежного, что несет это «никогда». Я стоял на обрыве и наблюдал за их смелым отчаянием. Как они расправляют крылья. Мне захотелось быть, как они. Я расправил руки, подался вперед, и вот... — призрак полуобернулся к старику и кивнул, словно подтверждая свои слова. — Я чувствовал, как ветер подхватил меня...

Он снова замолчал. Звездное небо тем временем начало светлеть. На горизонте обозначилась тонкая розовая полоса, пустое небо залилось лазоревой акварелью.

Летние ночи слишком коротки, и вот одна из них подходит к концу. Старик не отрываясь смотрит на призрак принца. Его очертания посветлели, густая чернота уже не кажется такой вязкой. Но лица все равно не разглядеть. Словно туман обволакивает весь силуэт.

— Дай мне свою лодку, — повторил принц.

— Да зачем тебе лодка? — очнулся старик от своих мыслей. Он хотел добавить: «Ты же мертв! Ты давно умер, малыш!», но вовремя прикусил язык.

— Я хочу домой. Я хочу вернуться. Там — я.

День вступает в свои права жаркой, вальяжной походью. Пот течет со лба. Хочется вернуться поскорее под тень соломенной крыши и продремать сиесту до самого заката. Но старик наконец спускается вниз, к берегу. Лодки нет. Канат, привязанный одним концом к столбу, другим качается на беспечных волнах, задевая блестящую гальку на мелководье.

Старик стоит, уложив коричневую ладонь на блестящую лысину. Как он будет тащить сюда старую лодку, которую еще вчера выволок на берег вместе с соседом? Сегодня рыбалки не выйдет. Он вздыхает и глядит в море, туда, где темные воды смягчаются и волны как бы замедляют свой бег. Он вздыхает снова, разворачивается и начинает неуклюже карабкаться по вырубленным из земли ступеням вверх к своему дому.

Константин ФРУМКИН

ЛЕНИН КАК МЕНЕДЖЕР

Размышления над деловой перепиской предсовнаркома

Для всякого жителя России, успевшего сколько-нибудь длительное время прожить при коммунистическом режиме, фигура и имя Ленина не может не иметь травматического значения. Слово «травматический» тут стоит понимать не только в негативном смысле, но как оценку мощи влияния, производной от количества образов, текстов, фильмов и других упоминаний «основателя Коммунистической партии и Советского государства» — упоминаний, от которых было некуда деться и которые в буквальном смысле обрушивались на голову всякого, начиная с детского сада. Тогда уже имели значение не личность или наследие Ленина, но именно мощь потока упоминаний его — он был статуей в парке, портретом на стене, профилем на значке, профилем на знамени, частью названия города или района, непонятной добавкой к названию метрополитена или библиотеки, обязательной цитатой в первой главе любой научной монографии, длинным рядом книг Полного собрания сочинений на полке, героем фильмов, предметом размышлений философов и прочее и прочее и прочее. Иосиф Бродский вспоминал, что портреты Ленина стали для него символом массовости и пропаганды — и дело было тут уже не в Ленине как таковом, а в количестве его портретов и их одинаковости. Как сегодня лингвисты находят затертые следы имени Бога в словах — например, в «спасибо», — так имя Ленина становилось непонятым эпитетом с утраченным смыслом — какой-то ленинский субботник, какие-то никем не перечисленные «заветы Ленина», почему-то лампочка, ассоциируемая именно с его отчеством, но не именем. Он был всем и ничем.

И поэтому не приходится удивляться, что даже сегодня осмысление этой колоссальной — раздутой — непонятной — фигуры нашей истории не происходит. Наша культура и наша общественная мысль так травмированы этим именем, что оно теперь для них почти табуировано. Разумеется, о Ленине пишут, но если вычесть из написанного апологетику, возникшую по инерции, идущей от советского времени, и пристрастную ругань, возникшую как реакция на апологетику, — написано удивительно мало. В поздние советские времена имя Сталина было почти табуировано — но теперь оно стало предметом очень острой общественной дискуссии, и исследователи предлагают нам узнать и о сталинском юморе, и о его отношениях с писателями и художниками о его эстетических пристрастиях, и о его внешней политике и т. д. По сравнению со Сталиным Ленин исследован исключительно слабо, и трудно сказать, способны ли мы уже осмыслять его хоть сколько-то объективно.

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

Ниже мы попытаемся сделать хотя бы один маленький шаг в этом направлении. В качестве материала в данной статье были использованы документы, написанные Лениным как главой правительства: записки, распоряжения, декреты и т. п. До сих пор этот материал привлекался историками для реконструкции политических намерений Ленина. Другие вопросы еще ждут своих исследователей, и среди них — интереснейший, но дискредитированный панегириками советского времени вопрос о ленинском стиле управления. Сегодня (как и раньше) в российской социальной и политической мысли парадоксальным образом сосуществуют, не пересекаясь, два острых интереса: к личности Ленина и к проблемам менеджмента и эффективно-го управления. Но можно надеяться, что неестественная изоляция двух сфер общественной мысли будет в ближайшее время прорвана.

Конечно, эта тема требует фундаментальной монографии. Пока все, что можно сделать, — обратить внимание на самые любопытные черточки ленинского подхода к руководящей работе и принципам работы аппарата управления, бросающиеся в глаза при чтении деловой переписки В. И. Ленина как предсовнаркома. Внимательный взгляд на эти документы показывает, что для истории менеджмента деятельность Ленина — явление достаточно уникальное, самобытное и несомненно достойное изучения, поскольку воплощает крайнее, предельное развитие некоторых подходов к управлению — развитие, какого можно просто не найти на другом материале.

Гибкость без предела

Разговор об особенностях «ленинского менеджмента» стоит начать с того, как предсовнаркома относился к важнейшим категориям в теории управления — цели, и в обычной жизни для всякой цели ищутся специфические средства. Для всякого дела имеются характерные инструменты. Но так бывает в мирную эпоху, а не во время всеобщего революционного хаоса. В ленинской деловой переписке обнаруживается отчетливая тенденция к «неинструментальности». Ленин стремится (конечно, не добивается этого, но именно стремится, желает), чтобы в отношениях между высшими и низшими звеньями управления вопрос о средствах достижения поставленных целей вообще не был предметом обсуждения. Задача высших инстанций — исключительно ставить цели. Низовые звенья обладают полной свободой выбора средств для их реализации, но зато у них не остается уважительных причин для невыполнения поставленного задания, ибо нехватка средств заведомо исключается из числа касающихся верхов тем разговора.

В некоторых местах Ленин прямо назидает, что нехватка средств не может служить оправданием для несправившегося начальника. Конечно, этот принцип нельзя доводить до абсурда, и верхи обязаны, насколько возможно, обеспечить исполнителей всем необходимым для работы. Но если верхи не выполняют в этой части свои обязанности, то это не значит, что у низов появляется оправдание неисполнения. Исполнитель обязан выполнить задание — как хочет, верхов не касается как. При выборе средств могут быть материальные препятствия, но зато полностью снимаются правовые и моральные ограничения.

Система «неинструментального» управления алогична, по человечески несправедлива, но в условиях хаоса и войны весьма рациональна. Страдают невиновые, постоянно наказываются работники, объективно не имевшие возможность выполнить приказ, — но что их жалеть? Они заменимы. Зато есть уверенность, что не будет забыт ни один из скрытых резервов, что будут использованы все мы-

слимые и немислимые способы достижения цели, есть надежда, что запуганные исполнители максимально напрягут фантазию и волю.

Чтобы свобода выбора средств (в совокупности с необходимостью постоянно творческого расширения их набора) не вызвала сомнений и чтобы какая-либо селекция средств не становилась препятствием к выполнению задач, Ленин при определении методов работы подчиненных щедрой рукой рассыпает в своих приказах словечки «все» и «все»:

Примите все меры для...

Сделайте все для...

Добейтесь «всеми доступными средствами»...

Или в любимой вождем форме вопроса: делается ли все для...

Там же, где смежным или вышестоящим к исполнителю инстанциям предписывается все-таки снабдить исполнителя необходимыми ресурсами, набор этих ресурсов формулируется крайне неопределенно, опять же с широким использованием тотальных местоимений:

Обеспечьте всем для...

Организируйте сбор и заготовку материалов для...

Цель, ее достижение остаются единственным конструктивным принципом, формирующим набор необходимых средств. Суть поставленной задачи, функциональная целесообразность должны сами подсказать руководителю, как широко надо понимать категорию «все», интуитивное понимание целесообразности должно подсказать, где поставить пределы предписанной Лениным бесконечности. Вот типичный пример: предписывается задействовать «все имеющиеся в губерниях силы и средства, необходимые для производства переписей».

Таким образом, важнейшей функцией главы правительства было наметить объект, на который, как в воронку, направлялся максимально возможный, но фактически неопределенный поток сил. Часто не имея точных сведений, какие именно ресурсы доступны его подчиненным, Ленин занимался тем, что пытался вселить в последних энергию, побуждая к поиску и использованию средств на пределе возможности. Выражения, в которых предсовнарком призывает уделять внимание намеченным задачам, сегодня поражают своей энергичностью и радикальностью:

бросить все силы...

мобилизовать всех...

мобилизовать тысячи три рабочих...

еще и еще помогать...

проверить еще и еще, нельзя ли помочь...

Принцип «воронки» предопределял немногочисленность, ограниченность количества целей, с которыми имеет дело руководитель. В условиях войны и других чрезвычайных обстоятельств наметить немногочисленный ряд абсолютно приоритетных объектов является, по мысли Ленина, обязанностью любого руководителя. «Какие вопросы признаны главнейшими, ударными?» — запрашивает премьер подчиненных, поскольку наличие ударных, то есть приоритетных, вопросов и то, какие эти вопросы являются важнейшей характеристикой деятельности должностных лиц. Премьер распекает военного комиссара Тульской губернии Панюшкина за «обычай братья за 100 дел сразу». «Увлекаетесь Украиной в ущерб общеэкономической задаче», — пеняет Ленин Троцкому.

Когда же глава правительства был вынужден вникать в технические детали используемых средств и методов, то его роль, как правило, была весьма и весьма характерна. Вмешательство предсовнаркома оказывалось нужным тогда, когда возникала необходимость указать на желательность нестандартного использования ресурсов.

Ленин, казалось, добивался гибкости от мира вещей, пытаясь заставить их служить в несвойственных функциях. Вернее же, Ленин добивался от подчиненных энергии и смелости в нестандартном использовании инструментов — что, конечно же, прежде всего объяснялось тем, что инструментов «конвенциональных» для любой на выбор цели или задачи была страшная нехватка. Конечно, нужда, тотальный дефицит, внешняя блокада, разруха инфляция — вот истинные родители этого явления, известного по пословице: «Голь на выдумку хитра». Но если читать изолированно подписанные Лениным в связи с этим документы, то возникает странное впечатление какой-то всеобщей анимационной, виртуальной гибкости: все может пригодиться для всего; иногда даже кажется, что для чего угодно, но только не для своего основного назначения. Люди и вещи отрываются от основных занятий и перебрасываются:

рабочие — в управление и армию;

армия — на хозяйные нужды;

матросы — на роль военной полиции;

лифты жилых домов — на роль подъемников в угольные шахты;

военнопленные — куда угодно, в том числе и в армию.

Принцип «воронки» использовался Лениным не только в отношении материальных и человеческих ресурсов, но и в отношении такой нематериальной субстанции как полномочия. В условиях неустоявшихся формальных норм и не вполне сформировавшихся административных традиций пределы власти и взаимное старшинство административных единиц часто фиксировалось под влиянием таких двух аморфных факторов, как ситуация и интуиция. Системы подчинения в раннем советском государственном аппарате были весьма запутанны и находились в процессе постоянного превращения. Ленин сознательно пользуется этой нефиксированностью властных связей как инструментом, постоянно тасуя системы полномочий учреждений и сановников. В зависимости от задачи и ситуации предсовнарком балансирует правом учреждений руководить друг другом. «Принять меры, чтобы „Губкомтруды“ проводили настойчивую и планомерную трудовую повинность по требованиям лескомов», — приказывает он местным органам в момент, когда некие лесные проблемы представляются ему приоритетными, и, следовательно, прочие учреждения должны уже работать на обеспечение деятельности лескомов в соответствии с их требованиями. Все силы и средства местных органов в нужный момент были брошены на поддержку органов, проводящих перепись, о чем уже говорилось выше. А в условиях острейшего голода 1918–1919 годов. Ленин бомбардировал телеграммами с требованиями работать на присылку хлеба если не все, что двигалось, то, во всяком случае, все, что могло принимать телеграммы.

Два первых примера (с лескомами и с переписью) показывают нам, что «тасование» полномочий Лениным, как правило, заключается в выборе одного ключевого учреждения или лица, которое объявляется как бы временным флагманом крупной административной эскадры: на какое-то время и в отношении какой-либо задачи многочисленные государственные органы обязываются либо прямо подчиняться флагману, либо, во всяком случае, оказывать ему всяческое содействие. Довольно долгое время в положении такого ситуационного флагмана был Сталин, по своим функциям бывший всего лишь ответственным за поставки продовольствия из некоторых южных регионов России, но ввиду, во-первых, прифронтовой обстановки и, во-вторых, важности продовольственного вопроса ставший фактическим диктатором этих регионов. В революционное время мгновенно создаются и разрушаются органы с неограниченными диктаторскими полномочиями на каком-то из узких участков, и Ленин активно применяет эту практику.

Именно с принципом назначения флагманов, как правило, связана характерная для Ленина практика рассылки копий указаний одному учреждению или должностному лицу в другие организации. Многочисленные письма и телеграммы главы правительства начинаются с того, что после адресата стоит еще список лиц или должностей, кому послать копии данного послания. Иванову, копии: Петрову, Сидорову. Эта бюрократическая манера для Ленина была прежде всего одной из форм сосредоточения различных административных сил на одном вопросе. Получившая копию указания другая структура организации как бы получает намек о желательности ее не пассивного участия в выполнении данной задачи. По крайней мере, она должна иметь в виду, что соседняя структура действительно получила данное задание и ей надо содействовать.

«Флагманы» и «лоцманы»

Ленин интуитивно и в то же время вынужденно нащупал метод, который впоследствии в западной теории управления — но уже фирмой — будет переоткрыт как весьма прогрессивный и современный. Суть этого метода заключается в том, что временные конфигурации властных связей можно создавать, не ломая и не реформируя долговременные организационные структуры, а, так сказать, через их голову, в соответствии с конкретной задачей (существуют разные классификации систем управления, в соответствии с одной из них такая система называется матричной). Ленин открыл этот способ, поскольку у него просто не было другого выбора: условия войны и борьбы за власть требовали постоянных сверхоперативных и сверхэнергичных мер, проводимых в широких масштабах, а противостояла Ленину не косность какой-то одной отдельной фирмы, а косность совершенно немислимо огромного и, по воспоминаниям современников, немислимо неэффективного бюрократического аппарата в масштабах целого государства, к тому же с национализируемой экономикой. На величину и громоздкость этого аппарата несомненно повлиял низкий уровень жизни: когда чиновнику можно было платить скудным продовольственным пайком, это создавало для учреждений беспрецедентные возможности увеличения штатов.

Пожалуй, самым вопиющим и, наверное, почти беспрецедентным для государственного управления других государств применением «матричного» подхода является тот случай, когда в условиях продовольственного кризиса 1919–1920 годов нарком труда по предложению Ленина был временно переведен на работу в распоряжение Наркомата продовольствия. Здесь важно подчеркнуть: переброшенный работник не был переведен с одной должности на другую, он остался наркомом труда, но просто временно ввиду чрезвычайных обстоятельств глава одного ведомства был вынужден работать в другом.

Вышеописанный подход к определению круга полномочий административной единицы логично вытекает из практики управления как прежде всего определения радикально приоритетных целей. Определив приоритетную задачу, Ленин определяет тот орган, который в наибольшей степени будет ответствен за ее выполнение. Остальные же органы ставятся по отношению к выбранному в подчиненное положение — и так, пока задача не перестанет быть сверхнасыщенной или пока ее не затеют задачи, оказавшиеся на текущий момент еще более первостепенными.

Временные чрезвычайные полномочия, кроме прочего, выполняли роль толкача, позволявшего «не потопить» дело в условиях тяжелой административной

среды, характеризовавшейся тем, что, с одной стороны, госаппарат был громоздким, запутанным и раздраемым ведомственностью, с другой стороны, всеобщий хаос имел результатом слабую дисциплину и исполнительность, и, кроме того, не добавляли эффективности постоянное взаимопересечение появляющихся из разных источников власти наборов чрезвычайных полномочий. В этих условиях часто ситуация была такова, что нормальный, повседневный набор прав, которыми располагало учреждение или лицо, почти всегда оказывался недостаточным, чтобы выполнить сколько-нибудь сложное поручение руководства. Это приводило к той практике, что всякое поручение стандартно сопровождалось предоставлением для его выполнения специальных полномочий. В современной бюрократической практике вымерший, но тем не менее знаменитый вид документации — мандат — был в большинстве случаев фиксацией подобного расширения полномочий. В собрании сочинений Ленина в качестве его «произведений» опубликовано немало подписанных им мандатов, часть из которых и написана им также собственноручно. Стоит отметить, что как ситуационны были предоставляемые вождем полномочия, так зачастую случайны и ситуационны были и поводы написания мандатов. Часто проситель, пришедший к Ленину с разговором о необходимости решения какой-либо проблемы, уходил от него уже уполномоченным для ее решения. Иногда роль мандата выполняла резолюция на письменном заявлении просителя. Ниже приведена небольшая, но весьма любопытная цитата, в которой отражена «пограничная ситуация», — Ленин не уверен, хватит ли чиновнику дополнительных полномочий, нужен ли мандат:

«Думаю, что вам как председателю губисполкома особого мандата от меня на такое простое дело не надо. Если надо, я вышлю».

Далеко не всегда расширение полномочий формулировалось в четких указаниях одним администраторам содействовать другим. Источником появления временных участковых диктаторов и сатрапов была именно неопределенность расширяемых полномочий, предел которых как бы вытекал из характера поручения. Примером, наглядно представляющим это явление во всей его «анатомии», может служить документ, в собрании сочинений озаглавленный как «Удостоверение Лоренцу»:

«Тов. Лоренц уполномочен Центральным комитетом РКП принимать все меры, чтобы приезжие иностранные товарищи были помещены в Кремле, имели хорошее помещение и кормежку 3 раза в день».

Таким образом мандат присваивает «товарищу Лоренцу» совершенно неопределенные, если не сказать, неограниченные полномочия. Он уполномочен принимать «все меры». Что значит все? И расстреливать — тоже? А ведь не будем забывать, что в те несколько первых послереволюционных лет расстрел был совершенно рядовым моментом в работе государственного аппарата и должностных лиц с фактическими или формально закрепленными полномочиями расстреливать было более чем много. Здесь надо вспомнить, что мы говорили о применении Лениным выражения «все меры» или «всё необходимое». Из текста мандата мы видим, что единственным ограничением пределов полномочий товарища Лоренца является функциональная целесообразность его действий для выполнения поставленной перед ним задачи. Текст мандата определяет эту задачу с удивительнейшей для двух строк емкостью и подробностью. Обеспечивать кормежку три раза в день — то есть именно что не два, но, с другой стороны, если товарищ Лоренц потребует четырехразовое питание, то кремлевские завхозы вполне могут его осадить. Подробное описание поставленной перед Лоренцом задачи находится прямо в тексте мандата. Как бы предполагается, что тот, кому Лоренц будет предъявлять мандат для удостоверения своих полномочий, должен понимать для чего это делает уполномоченный «тов.», и мысленно при-

кидывать: а для того ли, для чего здесь написано, предпринимает Лоренц вот эту меру? Понятно, что любая из возможных мер будет входить в категорию «все меры», но, видимо, далеко не любая будет мерой «для...». И таким образом, и сам Лоренц, и те, кому он предъявляет свое удостоверение, должны, проявляя чудеса интуиции, постоянно прикидывать: а соответствует ли вот этот взятый объем власти интересам вот этой цели?

Те требования гибкости, которые Ленин использует применительно к объемам полномочий государственных учреждений, — аналогичные требования мы находим у него в вопросе об их ведомственной специализации. С таким ограничением управленческой гибкости, как сфера ведомственной компетенции, Ленин часто совершенно не хочет считаться. Ведомства и подразделения государственного аппарата оказываются как бы батальонами и ротами управленческого труда, хотя и брошенными на разные участки, но в принципе одинаковыми.

Ротно-батальонный подход к подразделениям госаппарата хорошо иллюстрируется указаниями, которые Ленин дает председателю Госплана Г. Кржижановскому, о том, какой должна быть структура его ведомства. Будучи недовольным, как Кржижановский распределил подкомиссии его Плановой комиссии, Ленин предлагает свое распределение: 1—2 подкомиссии на электрификацию, 9—8 подкомиссий на текущие хозяйственные проблемы. То есть подразделения Плановой комиссии могут легко менять свою специализацию в зависимости от того, на какой участок бросит их руководство.

Кроме того, из многих брошенных Лениным указаний можно понять, что он фактически считает, что государственный руководитель отвечает не только за те вопросы, которые он курирует по должности, но за все, к которым он имеет физический доступ, и, уж во всяком случае, за те, которые по тем или иным причинам попали в поле его зрения. Этот принцип как бы предупреждает то расширение компетенции, которое могло бы быть произведено приказом самого Ленина. Ведомства, конечно, должны заниматься областью своей специализации, но это не значит, что они могут в ней замыкаться. Наоборот, они должны инициативно выходить за ее пределы, если этого требуют интересы «общего дела». Впрочем, для многих органов и должностных лиц точная компетенция и не была определена. Это налагало на них тем большую ответственность за вопросы, с которыми их свел случай. Хорошей иллюстрацией может послужит следующая история.

Моссовет должен был решить некий вопрос, в чем требовалось содействие Наркомпроса. Не добившись в течение некоторого времени этого содействия, московские власти, видимо устав от бесплодной переписки с наркоматом, приняли постановление, в котором они снимали с себя ответственность за этот вопрос. Узнав об этом, Ленин обрушился на Моссовет с гневным назиданием: «...так поступают капризные барышни, а не взрослые политики. Ответственности Вы с себя не снимете, а второе ее усилите... Вы должны бороться за свое право... [имеется в виду право на содействие со стороны других ведомств. — К. Ф.]. А снять с себя ответственность — манера капризных барышень и глупеньких русских интеллигентов».

Данный документ, который можно было бы озаглавить как «Разнос Моссовету», демонстрирует нам, как минимум, три особенности ленинского администрирования. Во-первых, наличие важной задачи, стоящей перед чиновником, является основанием, чтобы требовать содействия себе со стороны других властей. Во-вторых, хороший чиновник должен быть хорошим кормчим в бюрократическом море, уметь своими силами противостоять неэффективности и громоздкости аппарата, уметь выбивать из него толк вопреки его неэффективности. И наконец, то, что некий чиновник или орган оказывается причастным к некоему вопросу, ча-

сто может значить, что он фатально ответствен за него. Ответственность за отдельные вопросы распределяется не в соответствии с априорно сформулированной ведомственной юрисдикцией, но гибко и ситуационно. Если уж кто-то оказался причастен к вопросу, он обязан его решить.

Так же как Ленин игнорирует формальную сферу компетенции, так же он зачастую не обращает внимания на подчиненность учреждений и административную иерархию. Если ему было необходимо вмешаться в какой-либо вопрос, он непосредственно обращался к должностному лицу или организации, которые имели к нему отношение, не обращая никакого внимания на всю пирамиду вышестоящих инстанций. У него не было привычки современных правителей давать поручение разобраться министру внутренних дел, когда дело касается конкретного милицкого отделения. Ленин всегда лично сносился с начальником этого отделения. При этом тот орган или работник, который оказывался в непосредственных сношениях с главой правительства или тем более получает от него поручения, как правило, обязывается отчитываться непосредственно перед Лениным, игнорируя формальную подчиненность и всю систему должностной иерархии. Никогда отчетность и контроль по ленинским поручениям не доверяются соответствующим вышестоящим инстанциям. Что же касается поводов, которые заставляют Ленина вмешиваться в мелкие и местные вопросы, то они совершенно разнообразны и зачастую случайны. Иногда это визит просителя, иногда это поступившее премьеру письмо, иногда это просто случайно услышанная информация. Опять действует ситуационный принцип, и никогда вмешательство или реакцию главы Совнаркома не может остановить нелегитимность источника информации. Премьер не брезгует ни случайно услышанным слухом, ни иным, казалось бы, неподобающим источником, ни даже путешествиями инкогнито.

Столь высокий уровень гибкости, который Ленин требовал от советских работников, мог бы дезориентировать любого нормального чиновника. Никто не мог быть уверен, что он сделал необходимое, что он занят тем, чем нужно, понимание требуемого могло быть даровано только благодаря специфической интуиции. Каков же, по мысли Ленина, источник этой интуиции? Ответ очевиден и знаком каждому бывшему советскому человеку. Этот источник — сознательность. Сознательный чиновник исходит в своих действиях не из ведомственных интересов, не из инструкций, а из задач всего государства в целом (а применительно к тем временам — еще и задач «революции»). Иными словами, каждый чиновник должен, решая свои маленькие и частные вопросы, становиться на точку зрения главы государства.

Переписка Ленина с подчиненными показывает, что Ленин стремился каждый мелкий административный акт сопоставить с интересами «общего дела». С одной стороны, Ленин часто, не удовлетворяясь слепым исполнением своего приказа, разъясняет высший политический смысл, которому этот приказ способствует. Несмотря на требование безусловной и безоговорочной исполнительности, выполнение приказаний должно быть сознательным, с пониманием, почему и для чего. Здесь в основе лежит верный теоретический посыл, что сознательное служение общему делу как идея может позволить совместить в должностном лице такие несовместимые вещи, как очень строгую исполнительную дисциплину и творческое, неформальное отношение к своим обязанностям.

С другой стороны, Ленин делает постоянные разносы за несоответствие действий подчиненным высшим интересам. Вот несколько характерных извлечений из ленинской переписки:

«...на основании Ваших сообщений рабоче-крестьянское правительство к точно назначенному сроку должно установить ставки натуралога, так что запаздыва-

ние сообщений по Вашей губернии задержит планомерную работу правительства в области организации земледельческого хозяйства, продовольствия и организации натуралога».

«Памятуя, что только напряженной, сознательной работой всех органов можно обеспечить выход из создавшегося кризиса, осложнившегося до крайности недостатком топлива, для подвозки хлеба в центр из отдельных окраин...» — приказываются такие-то меры.

«Питерцы, задерживая посылку рабочих из Питера на чешский фронт, возьмут на себя ответственность за возможную гибель всего дела».

«Промедление с этим делом наносит большой ущерб советской республике, за что вы срочно ответите перед революционным судом».

Борясь с мародерством красноармейцев, Ленин разъясняет командирам что эксцессы «позорят советскую республику».

Приказывая выделить иностранным товарищам оружие или иные средства, Ленин всегда в приказе пишет, для чего:

для военных действий против контрреволюционной Рады;

для помощи финскому пролетариату.

Аналогичные мотивировки Ленин рекомендует вставлять в свои документы и другим руководителям. Так, в одном из писем к начальнику Гидроторфа Ленин рекомендует тому начинать его обращения в другие организации словами «ввиду признания работ „Гидроторфа“ государственно-важными». В данном случае речь, конечно, идет не только о сознательности, но и о том, чтобы «Гидроторф» демонстрировал свою приоритетность и «флагманскость» другим учреждениям, напоминал им о своем праве требовать содействия.

В мандатах и удостоверениях, в которых Ленин предоставляет кому-либо какие-либо права, премьер разъясняет обоснованность своих действий тем, что представляет держателя мандата. Податель сего является «представителем Финского коммунистического клуба» или «надежным товарищем», даже «абсолютно надежным товарищем», или просто «товарищем, которого я знаю лично». «Товарищ Вахья, старый партийный работник, лично мне известный, заслуживает абсолютного доверия» — написано в одном из таких удостоверений.

В связи с темой сознательности можно обратить внимание на одну стилистическую особенность ленинских посланий: подчеркивая то, что и приказывающий премьер, и его адресаты-подчиненные служат одному делу и находятся как бы в одной лодке, Ленин часто употребляет в своей переписке с низовыми руководителями редакционную фигуру «мы» — имея в виду, что и все они входят в единое большевистское сообщество. Здесь мы подходим к очень важному обстоятельству: понятие сообщества несомненно доминировало в ленинской ментальности над понятиями «система» и «структура».

Антропоцентрический менеджмент

Пренебрежение, с которым Ленин относился к формальностям, ограничивающим гибкость госаппарата, являлись логическим следствием из подхода предсовнаркома к государственному управлению, который можно было бы назвать антропоцентрическим.

В условиях потенциальной аморфности всех административных величин антропологическая единица и ее свойства оказывались тем сухим остатком, который (пока человек жив) не может быть изменен ни мандатом, ни декретом.

Ленин и сознательно, и бессознательно исходил из того, что он руководит людьми, а не структурами и штатными единицами. Должностное лицо для него характеризовалось прежде всего личными качествами, а не тем, что в более мирное время определяет должность: место в структуре, юрисдикция, закрепленные полномочия и т. п. Лучшим бюрократам (как Сталину) доверялось сразу много должностей, что, кроме прочего, было решением проблемы нехватки талантливых руководящих кадров. И именно осознание себя как стоящего во главе сообщества людей, а не системы безличных функций и объясняет ту описанную нами выше степень вольности, с какой Ленин обращался с формально-структурными аспектами госаппарата. Оригинальность и нестройность создаваемых Лениным административных конфигураций, как правило, объясняется тем, что новые организационные структуры были для Ленина лишь внешним выражением новых взаимодействий между конкретными людьми, — и в этих взаимодействиях, если отбросить названия должностей, не было ничего нестройного.

Оценивая руководящие кадры, Ленин резко различал хороших и плохих руководителей. Вернее, он считал, что в массе советского чиновничества существует резко выделяющаяся прослойка «лучших», редких, требующих поиска и бережного отношения, на которых можно опираться в серьезные моменты. Отыскиваются они, в общем-то, случайно, мелькнув перед глазами одного из большевистских вождей или людей, которым они доверяют. Иногда просто случайный посетитель находил дорогу к сердцу главы правительства, и он направлял его в какое-нибудь учреждение с сопроводительным письмом, что было бы жалко не использовать такого замечательного человека (заметим, что вообще применение слова «использовать» к человеку или его талантам было характернейшей стилистической фигурой в деловой переписке Ленина). Найденному таким образом «таланту» часто не только давалась должность, но и оказывалось доверие его рекомендациям по отношению к другим людям. Вообще, работникам, выделенным как «лучшие», в большом числе случаев вменялась особая почетная функция поиска и подбора руководящих кадров. Видимо, Ленин считал, что люди, обладающие способностями в управлении, обладают и талантом к нахождению себе подобных.

Организационным способностям руководителя Ленин придавал очень большое значение, и, видимо, потому, что по своему опыту видел, что хороший руководитель может добиться результата там, где плохой будет ссылаться на объективные трудности и нехватку ресурсов. По этой же причине он мог подозревать, что раз хороший руководитель всегда может добиться поставленной задачи, то главной причиной невыполнения приказов высшего руководства является неисполнительность, и, следовательно, налаживание контроля и проверки исполнения является важнейшим способом расширить возможности государства. Из любви к контролю вытекала склонность требовать от подчиненных постоянных докладов о выполнении приказов. Переписка Ленина наполнена инструкциями такого рода:

Извещайте часто об исполнении.

Известить об исполнении.

Известить, когда получена телеграмма.

Телеграфируйте мне: «„Письмо получил, поручение выполняю“, затем о ходе следствия».

Посылает ли он отчеты вам? — вопрос к одному чиновнику в отношении другого.

Но еще интереснее, чем роль отчетов в антропоцентрическом менеджменте Ленина, является роль личности контролера (и руководителя; в условиях постоянных жестких директив сверху руководитель часто оказывался контролером исполнения).

Хорошие контролеры были чем-то вроде ресурса в руках высшего руководителя, причем ресурсы, имеющие те же свойства, что и, скажем, ресурсы финансовые: два контролера — это в два раза больше полезной отдачи, чем один, чем тяжелее вопрос, тем больше комиссаров надо на него послать.

В десятках нашедших отражение в ленинской переписки случаях, когда Ленин оказывался перед важной проблемой, он реагировал на нее не выделением дополнительных средств, вообще ничем, кроме как посылкой дополнительных людей, причем не в смысле рабочей силы, а именно на контрольно-распорядительную работу. Любой «прорыв» в государственной работе вызывал указания наподобие нижеприведенных указаний Зиновьеву: «Спешно проведите перестройку, переведя десятки, если не сотню лучших на контроль транспорта фактический, и самому встать во главе фактического контроля продовольственных поездов».

Из той огромной роли, придаваемой Лениным «человеческому фактору» в государственном управлении, вытекает то значение, которое Ленин придавал принципу личной ответственности. Мало интересуясь формальными вопросами организации государственных органов, Ленин считал, что установление личной ответственности является главным критерием качества учреждения. «Установление точной персональной ответственности — важнейшее дело», — постоянно повторяет он.

Анализируя написанное Лениным по вопросу о борьбе с неэффективностью бюрократического аппарата, приходишь к выводу, что Ленин попросту не признавал существование у административных структур системных, не зависящих от человеческой воли свойств. Он полагал важнейшие свойства организации целиком зависящими от качеств людей, в ней состоящих. По этой причине волокита и другие проявления бюрократической неэффективности виделись им разновидностью злоупотреблений, во всяком случае, в них должен был всегда быть кто-то виноват. Поэтому лечились недостатки бюрократической машины, как правило, карательными мерами. Например, однажды до Ленина доходит сообщение, что некто начальник курского Центрозакупа Коган не помог голодным рабочим. Ленин немедленно приказывает арестовать его, «дабы все работники центрозакупов и продорганов знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение помочь голодающим рабочим репрессия будет суровая, вплоть до расстрела». При этом гневный премьер совершенно не вникал, в какой степени «формальное отношение к делу» было попросту обычным выполнением всех требований и инструкций. «Не только волокита и тупоумие, а злостный саботаж», — такую суровую оценку выносит суровый вождь, в общем-то, обычным для любой бюрократии недостаткам. В другом месте Ленин огульно характеризует совслужащих следующими словами: «Задушили бы дело, кабы не кнут».

Несколько раз подчиненные пытались довести до вождя мысль, что нельзя возлагать на отдельных людей то, в чем виновна система, но Ленин всякий раз отметал эти возражения. Борясь с волокитой в госаппарате, Ленин требует от наркома юстиции, чтобы были найдены и преданы суду виновные в ней чиновники. Когда нарком осторожно возражает, что вина лежит не столько на людях, сколько на сложившихся порядках, Ленин гневно отмечает эти возражения и пишет, что поскольку порядки установлены людьми, то, значит, надо найти виновных в установлении таких порядков. К сожалению, адресат не решился возразить, что, следуя этой логике, нужно прежде всего предать суду самого предсовнаркома.

По всей видимости, у Ленина существовали большие трения с подчиненными по вопросу о степени личной вины чиновников — судя по тому, что во многих местах Ленин сердится на невозможность или нежелание найти конкретных чиновников какого-либо провала и требует их отыскать. К примеру, требует назначить

ревизию «не из чиновников и слюнтяев, а из людей, которые действительно сумеют как следует обревизовать, добыть нужные материалы и найти виновных».

Ленин очень много и с каким-то мазохистским удовольствием пишет о страшной неэффективности возглавляемого им аппарата, много пишет о необходимости его усовершенствования, однако все предлагаемые (и часто проводимые в жизнь) Лениным меры по такому совершенствованию сводятся к трем:

1) страхом наказания заставлять людей работать лучше; при этом карательным мерам, таким, как арест, по приказу Ленина мог быть подвергнут сразу весь персонал какого-либо учреждения;

2) увольнять плохих работников;

3) находить хороших работников и назначать на ключевые должности.

Иными словами, речь идет не о совершенствовании аппарата в современном понимании этого выражения, а об улучшении качества персонала, составляющего аппарат. Объектом улучшающего воздействия являются люди, но не структуры и не административный порядок. При этом воздействия на персонал оказываются в основном селективно-карательные, об обучении, скажем, речь не идет, компетентный служащий, особенно компетентный руководитель представляется Ленину как некая данность, которую надо искать.

Единственной мерой, которую Ленин признавал в качестве улучшающего воздействия на весь аппарат в целом, является его сокращение. Именно этому, собственно, посвящены знаменитые статьи Ленина «Как нам реорганизовать Рабкрин» и «Лучше меньше, да лучше». Суть этих статей чрезвычайно проста: ведомство госконтроля надо сильно сократить, оставить в нем только самых компетентных служащих, перед которыми должна быть поставлена задача совершенствования всего остального госаппарата. Собственно, мечтой Ленина был маленький, компактный аппарат, составленный из очень распорядительных, энергичных и компетентных — короче, из лучших. Конечно, такой аппарат работал бы, наверное, хорошо, но то, насколько далека была мечта Ленина не только от исполнения, но и от какого-либо приближения к исполнению, показывает нам, что Ленин хотя и прекрасно знал, как добиться своего, будучи во главе аппарата, но, однако, имел смутное представление о том, как наладить эффективное функционирование этого аппарата.

Как уже говорилось, управление виделось Ленину прежде всего как установление немногочисленных приоритетов. Сочетание этого принципа с принципом личной ответственности предопределяло то значение, которое придается в ленинском менеджменте самому факту издания приказа, особенно приказа с каким-нибудь особым статусом, например «строгий» или «боевой».

Приказ, во-первых, устанавливает приоритет: он показывает, что те задачи, которые высшее руководство приказывает решать, — более приоритетны, чем те, что стоят перед низовыми руководителями, но в приказах сверху не поднимаются. Боевые приказы приоритетнее небоевых. Во-вторых, приказ создает ситуацию, когда возможно абсолютно легитимное наказание за неисполнение — в отличие от ситуации, когда руководитель отвечает за данный вопрос, скажем, в силу должностных функций. Кроме того, адресность приказа предопределяет принцип персональной ответственности. Коротко говоря, приказ — это установление приоритета плюс установление ответственности. Эти действия были в глазах Ленина несомненно повышающими эффективность работы госаппарата. Ленин так часто в своей переписке удивляется, что что-либо не сделано, «несмотря на строгие (или „боевые“) приказы», что иногда может показаться, что Ленин считает приказ чем-то вроде подкрепления сил исполнителей. Человеческие возможности могут быть безграничны, их надо только организовать и придать энергию. Эти функции отчасти

выполняет и приказ, хотя еще важнее лично участвующий руководитель. Поэтому издание приказа было для Ленина как бы первой степенью реакции на сложную ситуацию. Если это не помогало, Ленин приступал ко второму этапу — посылал комиссара или комиссаров.

Совершенно классическим примером, объединяющим сразу чуть ли не все особенности ленинской методологии управления, является документ, в собрании сочинений озаглавленный как «Телеграмма всем предгубисполкомам и предгубсовпрофам» от 20 марта 1921 года. Телеграмма, как всегда, начинается с полуворчливого, полуназидательного, полугрожающего вступления, что план по отгрузке продовольствия срывается, «несмотря на боевые приказы». В связи с этим даются указания из пяти пунктов:

- 1) считать задание по отправке семян боевым;
- 2) мобилизовать по пять «самых активных и добросовестных работников» для контроля за погрузкой хлеба;
- 3) мобилизованных товарищей «снабдить всем необходимым»;
- 4) сообщить в Наркомпрод их имена — для формального оформления их назначения представителями Наркомпрода;
- 5) вменяется в обязанность всем органам оказывать содействие данным чрезвычайным контролерам.

Каждый из пунктов данной телеграммы иллюстрирует нам одну из особенностей ленинского стиля управления. Телеграмма адресована широкому кругу учреждений с целью их сосредоточения на одной, но важной задаче. В первом пункте телеграммы дается представление о безусловной приоритетности даваемого поручения, фиксируется статус приказания как, во-первых, более важного, чем другие, а во-вторых, влекущего суровую ответственность за неисполнение. В качестве важнейшей меры по выполнению данного задания предписывается нахождение лучших людей и направление их на контрольно-руководящую работу. Дается понять, что контролеры должны получить в свое распоряжение некоторые материальные ресурсы, однако состав этих ресурсов фиксируется крайне неопределенно — как «все необходимое». То есть снабжающие организации должны проявить максимальную щедрость, но в пределах функциональной целесообразности. Выделенные контролеры, оставаясь некоторым образом агентами местных органов, временно становятся работниками другого, флагманского ведомства. Наконец, все могущие оказаться в поле зрения контролеров органы обязываются оказывать им содействие. Если еще короче сформулировать смысл данной телеграммы, то он заключается в следующем. Главное средство решения важной, но сложной проблемы — назначить на нее специальных инспекторов-комиссаров и обязать всех помогать этим комиссарам.

Краткие итоги

Антропоцентризм и требование гибкости — вот две категории, характеризующие наиболее специфичные и необычные для нашего времени черты ленинского менеджмента. Личность человека может все, поэтому она и виновна во всем. Все, что не относится к человеческой личности — полномочия, функциональные и отраслевые различия, материальные ресурсы, — все это может тасоваться с удивительной гибкостью, но тасование это происходит по принципу «воронки» — выбирается ударный вопрос, на его решение ставится Специальный Человек, а на этом

«горлышке воронки» сходится клином административная вселенная. Но все это страшно аморфно и постоянно изменяется под воздействием ситуаций, ибо ситуационность, отсутствие априорных принципов — тоже важнейший принцип, премьер просто плывет по бурному морю ситуаций, и даже малость масштаба проблемы не является защитой от премьерского вмешательства.

В отношениях с подчиненными:

современный руководитель требует исполнения своих обязанностей, неукоснительного выполнения законов и инструкций;

Ленин требует выполнять последние по времени, наиболее приоритетные инструкции, а также постоянно проявлять самостоятельную инициативу, исходя из своего понимания общегосударственных интересов.

В случае возникновения сложной ситуации:

современный руководитель выделит дополнительные средства на ее решение;

Ленин направит на ее решение дополнительных комиссаров и контролеров.

В случае выявления провала на каком-либо участке государственной работы:

современный руководитель создаст комиссию для выработки программы выхода из кризиса и реформирования сложившегося административного механизма, сменит главу соответствующего ведомства;

Ленин потребует найти виновных и отдать их под суд.

В случае необходимости лично вмешаться в какой-либо мелкий местный вопрос:

современный руководитель даст поручение разобраться главе соответствующего ведомства;

Ленин лично свяжется с соответствующим низовым руководителем.

В случае необходимости расширить масштабы работы какой-либо организации:

современный руководитель выделит ей дополнительные средства, увеличит штаты;

Ленин предпишет другим организациям оказывать ей содействие, направит сотрудников других организаций во временное распоряжение данного учреждения, увеличит властные полномочия его руководителя.

Конечно, данная «сравнительная таблица» несколько утрирована, далеко не все специфические черты ленинского менеджмента ушли из сегодняшнего административного быта.

Был ли Ленин гением менеджмента? Ответить можно примерно так: Ленин был выдающимся руководителем, но скверным администратором. Те цели, которые предсовнаркома ставил перед собой, он умел достигнуть, и достигнуть, может быть, лучше, чем кто бы то ни было. Выработанные им при этом почти что на ощупь приемы и требования к подчиненным были зачастую лишены логики. Но они были более эффективны, чем логика. Еще чаще они были далеки от справедливости, но кто думает о справедливости, когда столько поставлено на карту! Они позволяли идти к намеченному вопреки не только объективным трудностям, но и собственной неэффективности бюрократической машины. Выполняя требования своего главы, аппарат становился лучше, чем он был обычно. Не умея наладить работу аппарата в целом, Ленин умел добиться хорошей работы тех административных цепочек, которые работали на выполнение лично его распоряжений, причем налаживанием работы этих цепочек он занимался лично. Но эти цепочки зачастую налаживались поверх обычных связей в аппарате, пользоваться же аппаратом так, как он устроен для повседневной работы, оказывалось если не невозможным, то крайне затруднительным. К тому же Ленин сознательно пытался концентрироваться на немногочисленных вопросах, и в подобной концентрации он видел ключ к успеху. От стоящей перед госаппаратом необходимости иметь дело с широким спектром проблем Ленин сознательно уходил. В аппарате он прежде

всего опирался на чрезвычайных комиссаров, ответственных за эти немногочисленные и конкретные вопросы. Но Ленин фактически не контролировал ситуацию в подчиненном ему бюрократическом царстве. Он громоздил контроль на контроле — а злоупотребления происходили под самым его носом. Он метал громы и молнии о необходимости сокращений — а аппарат планомерно разрастался. Неопределенность его приказаний в сочетании с требованием выполнить их любой ценой приводили к тому, что под прикрытием выполнения его приказов процветали и чрезмерные жестокости, и неоправданные затраты — растраты ресурсов. Выполнение приказов премьера во что бы то ни стало сегодня часто подрывало ресурсную базу для завтрашнего дня. Такой контраст между руководителем и аппаратом привел к тому, что Ленин как бы получил репутацию единственного хорошего человека в госаппарате — хорошего не только по своим личным качествам, но и по способности чего-то добиться — это хорошо показывают воспоминания Хаммера о его российских концессиях.. Однако для главы государства с огромной диктаторской властью такая репутация не делает много чести. И если применить к Ленину известный тезис, что хороший директор — это тот, кто спокойно уходит в отпуск, а его организация продолжает хорошо работать, то этому критерию предсовнаркома никоим образом не удовлетворит. Но с другой стороны, остается открытым вопрос, применимы ли современные представления о менеджменте к условиям послереволюционного хаоса.

Иван ЛУКИН

ДВА ПИСАТЕЛЯ И СОЛОВЬИ

Есть в моей жизни человек, который живет уже почти сто лет. Человек из другого времени, из другого века. Моя мама называла его легендарной личностью, и это правда. Человек этот — писатель Евгений Львович Войскунский. Он как будто соединяет меня с тем прошлым, в котором жили мои предки.

Родился он в Баку 9 апреля 1922 года, поступил в Академию художеств в Ленинграде, после первого курса был призван в армию, позже оказался на флоте. Интересен тот факт, что Войскунский не мечтал о морской службе, продолжавшейся тогда пять лет, дабы поскорее из армии вернуться к учебе. Но жизнь решила по-своему. И Евгений Львович не только прошел всю войну на Балтийском флоте, завершив ее в чине капитан-лейтенанта, но и после Победы служил еще около десяти лет. В итоге благодаря «судьбе-злодейке» Россия и мир получила одного из лучших писателей-маринистов.

В годы войны Войскунский был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени и многими другими боевыми наградами. 22 июня 1941 года молодой солдат оказался на полуострове Ханко (Гангут). На этой земле трудно было не стать моряком. Ведь все служившие там называли берег его — палубой великого родного корабля.

Великого... без преувеличения. В этом месте за двести двадцать пять лет до того момента — 9 августа 1714 года — под командованием Петра I произошла первая в истории России морская победа русского флота над шведской эскадрой. Здесь, на легендарной, стратегически важной позиции в 1941 году шли тяжелые бои. Об этом периоде Евгений Львович позже напишет рассказы, повести, романы и пьесу.

Много поистине интересных, нередко опасных и даже страшных вещей произошло с молодым человеком на войне. На полуострове Ханко он сначала был красноармейцем в составе железнодорожного строительного батальона. Потом стал работать корреспондентом газеты «Красный Гангут», писал фельетоны, статьи, заметки. Евгений Львович много и подробно рассказывал об этом в своих произведениях.

В октябре 1941 года его забрали в штат редакции газеты. И попрощавшись с друзьями, на попутном грузовике он поехал в город Ханко. Войскунский явился в редакцию «Красного Гангута», размещавшуюся в здании штаба базы, в подвале. Штаб располагался в каменном строении — одном из немногих сохранившихся после обстрелов в городке. «В первый же день на него налетел высокий блондин в армейской

Иван Борисович Лукин родился в 1998 году в Москве. Пишет стихи и прозу. Публиковался в литературных альманахах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тулы. Неоднократный гость писательских чтений в Ясной Поляне. Стипендиат губернатора Московской области за выдающиеся успехи в учебе и спорте. Живет в с. Архангельское Рузского района Московской области.

форме, который декламировал стихи Эдуарда Багрицкого (в рассказе Войскунского, напечатанном в газете незадолго до этой встречи, те же строки в бреду твердит раненый боец): „Он мертвым пал. Моей рукой водила дикая отвага...“, Войскунский сразу же подхватил: „Ты не заштопаешь иглой прореху, сделанную шпагой“. Перебивая друг друга, они принялись наизусть читать Багрицкого».

Так познакомился Евгений Войскунский с Михаилом Дудиным, в будущем звездой советской поэзии, а пока резво начинающим свой творческий путь молодым русским поэтом, родившимся 20 ноября 1916 года в «маленькой, всего шесть дворов» деревне Клевнево Фурмановского района, в крестьянской семье. Юность его обычна для первого поколения молодежи Страны Советов. Учился в Каликинской школе крестьянской молодежи, жил в общежитии, одновременно в соседней деревне Рождествино учил неграмотных. Продолжая образование в Ивановской текстильной фабрике-школе, выпускал стенгазеты и был направлен в комсомольскую газету «Ленинец». Работал журналистом в Иванове, Комсомольске, на Баксанстрое в Кабардино-Балкарии, одновременно учился на вечернем отделении педагогического института. Многие успевали делать наши деды.

Вот и Дудин начал печататься еще в 1934 году, а первый сборник стихов «Ливень» вышел уже в 1940-м, по следам первой в его жизни войны. В 1939 году молодого поэта призвали в армию, на финский фронт. Так что на момент встречи с Войскунским это был уже поэт с книгой!

К концу жизни у него будет настоящий иконостас из наград, премий и званий, но думаю, самыми дорогими оставались всё же те первые — боевые ордена и медали. Михаил Александрович Дудин умер 31 декабря 1993 года в Санкт-Петербурге, похоронен на родине — в селе Вязовское Фурмановского района, об этом своем желании он тоже успеет написать:

В селе Вязовском на старом погосте
Землю становятся мысли и кости...
Здесь память о предках моих небогата,
Здесь Родина жизни моей, и когда-то
Окончится дней моих длинная повесть.
Умолкнут стихи, успокоится совесть,
Друзья разойдутся, разъедутся гости...
Найдите мне место на этом погосте.

Времена меняются, но греют душу известия, что в ноябре 1996 года в библиотеке села Широкова открылся общественный музей поэта М. А. Дудина, а в 2002 году Широковской сельской библиотеке было присвоено его имя.

Но вернемся к моменту знакомства двух наших героев-писателей, одного, как я уже и сказал, еще не очень известного поэта с книгой, и второго, не менее дерзкого, но делающего лишь первые шаги в журналистике бывшего студента-художника. Заживут они в одной крохотной комнатке в здании редакции. По словам Евгения Львовича, скорее всего, прежде там была каталажка: комнаты были маленькие, узкие, очень похожие на камеры. В такой малюсенькой комнатке товарищи и вели по ночам свои разговоры, делились мечтами, читали друг другу стихи. Многие воспоминания Войскунского о Дудине связаны именно с этим начальным периодом службы на Ханко. А в творчестве Войскунского эти годы займут основополагающее место.

В октябре 1941 года Ханко оказался в тылу противника. Выражаясь по военному: «стратегический смысл его обороны был утерян», поэтому стали приходиться конвои и вывозить людей и технику. Конвои состояли из транспортных судов, эсминцев и тральщиков. Ходили они с остановкой: сначала до острова Гогланд, на следующую ночь добирались до Ханко. И таким же образом возвращались с Ханко, в два прыжка, через остров Гогланд. Ко 2 декабря 1941 года полуостров опустел, остались только заслоны на границах и островах. Работников редакции газеты «Красный Гангут» принял на борт последний конвой. Грузились весь световой день. Ближе к вечеру вышли в море. Этому предшествовала большая работа на берегу. Уничтожалась боевая техника, пушки, взрывались платформы, паровозы, даже типографское оборудование.

В последний конвой входили два эсминца, тральщики и катера. Войскунский был на большом электроходе «Иосиф Сталин», загруженном людьми и продовольствием сверх всякой меры. В четырехместной каюте было очень тесно: в ней расположились 20 человек. Транспорт принял на борт около шести тысяч человек. Войскунский с Дудиным долго стояли на верхней палубе и смотрели, как горит Ханко. Довольно скоро малоповоротливый транспорт напоролся на мину, раздался первый взрыв, погас свет, по трансляции приказали всем оставаться на местах. Через час раздался второй взрыв, очень сильный, корабль начал крениться на правый борт. Началась паника. Войскунский с Дудиным держались вместе. Им сунули в руки носилки, и они носили раненых из трюмов в кают-компанию — их было очень много. Прогремел третий взрыв. Дудин затащил друга в каюту, где стояли винтовки, и предложил застрелиться. «Не хочу рыб кормить!» — сказал он. По словам Евгения Львовича, на Михаила было страшно смотреть, но Войскунский не растерялся, схватил его за руку и силой вытащил из каюты.

«Сталина» пытались взять на буксир, но ничего не получилось, поскольку четвертым взрывом разбило форштевень. Крен усиливался, но электроход держался на плаву. Подходили тральщики, на них прыгали люди. Штормило, поэтому надо было выбрать момент, чтобы не промахнуться мимо узкой палубы. Товарищи поднялись на верхнюю палубу. Дудин прыгнул на борт подошедшего тральщика, Войскунский собрался сделать то же самое, но тральщик отвалил и стал удаляться. Он слышал, как закричал Миша: «Женька, прыгай! Прыга-ай!» Но было уже поздно, тральщик уходил. Евгений Львович рассказывал позже не раз, что не помнил, сколько провисел на борту — две минуты, десять, час.

Через некоторое время подошел еще один тральщик. Войскунский прыгнул. Вместе с ним прыгнули и другие ребята из команды. Это был последний корабль конвоя, подходивший к борту «Сталина». Около трех тысяч оставшихся солдат попадут в плен, а на Родине долгие годы не будет известно об их судьбе.

Я сразу представил, какой был шок у друзей, когда один из них уже спасен, а у другого впереди неизвестность. При этом расстояние между кораблями продолжало медленно и неумолимо увеличиваться.

Это событие из жизни двух писателей довольно широко известно по их биографиям и романам Войскунского. Я рассказал о нем только потому, что оно является связующим звеном с важной для русской литературы историей, которую не знает почти никто. Об этом чуть позже...

Наше знакомство с Евгением Львовичем произошло давно. Сначала с ним познакомился мой папа, приехав к нему как журналист-корреспондент по заданию газеты,

в которой на тот момент работал. Папа был поражен тем, что произведения Войскунского он читал и полюбил еще мальчишкой. Мой дедушка, Иван Петрович, был старше Евгения Львовича всего на три года. Папа, наверное, почувствовал к нему сыновьи чувства, они сдружились, и у нашей семьи появилась еще одна добрая традиция: несколько раз в году навещать Евгения Львовича.

Смутно помню эти первые свидания и мысли, возникшие от знакомства с таким необыкновенным человеком. Я не понимал еще, как важно дружить с человеком такой судьбы. Я с любопытством рассматривал в его квартире офицерский китель и кортик, библиотеку, старые фотографии, карты. С еще большим интересом я слушал беседу папы и Войскунского. Они увлеченно разговаривали о любви, литературе, политике и многом другом. В этом году они говорили еще и об антологии военной поэзии, которую папа готовит к изданию. Войскунский вспоминал о стихах, которые читали и любили во время войны, об особенной возвышенности в них патриотических чувств, позднее дополнившихся картинками фронтового быта и историями судеб. Зашел разговор и о поэте Михаиле Дудине. Войскунский стал читать наизусть любимые стихи и вдруг, прочитав отрывки из «Соловьев», которое считает одним из его лучших стихотворений, неожиданно вспомнил ту самую историю, ради которой я сегодня пишу этот очерк.

Папа в ответ рассказал историю создания «Соловьев», известную ему по воспоминаниям Дудина. Подробности первой истории я сразу не запомнил, поэтому весной 2015 года специально поехал к Евгению Львовичу и попросил еще раз рассказать о «Соловьях». Дома я расшифровал записи и был счастлив — вот она, история создания стихотворения «Соловьи» Михаила Дудина, как ее помнит 93-летний моряк и писатель.

— Это было начало июня 1942 года. В это время в Кронштадте, пожалуй, не было ни дня без артобстрела. Была очень напряженная и нестабильная обстановка. Хотя тяжелая блокадная зима была позади, голод все равно был, да и блокада еще не снята. В один из тех дней, я тогда работал в газете Кронштадтской военно-морской базы «Огневой щит», я уходил из редакции в среднюю гавань, на каком-то тральщике, брать материал для газеты и, возвращаясь домой, попал под очень сильный обстрел, переждал его довольно долго, прижавшись к стене дома, в общем, выдался трудный день. Вечер был тоже беспокойный, я сидел с двумя-тремя работниками газеты рядом с домом, в котором была наша редакция, в сквере. И вдруг мы услышали, как поет соловей, типичное такое щелканье, пощелкал пощелкал и выдал длинную руладу, очень красивую. Мы замерли: «Надо же, подумал я, война, обстрелы, смерть и вдруг — соловей!» Это было чудом. В очередном письме я написал об этих соловьях моему другу Мише Дудину, который работал на тот момент в газете Ленинградского фронта «На страже Родины». С Дудиным мы подружились в напряженной обстановке и сразу же, на всю жизнь. Потом был еще этот страшный переход, когда транспорт подорвался на минах, ну ты, наверное, знаешь об этом. Так вот, я написал письмо Дудину и отправил ему, не посчитав свое наблюдение чем-то важным. Проходит недели две-три, я получаю из Ленинграда бандероль в большом самодельном конверте. В нем был номер газеты, в которой работал Дудин, раскрываю и вижу крупно набрано: «Михаил Дудин, „Соловьи“, стихотворение». А сверху Дудин написал: «Женьк! В этих „Соловьях“ и ты виноват!». Ты его не помнишь, наверное, оно довольно большое...»

Здесь Евгений Львович по памяти прочитал первую строфу:

О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.

И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова
Не говорим.

Писатель, продолжая цитировать отрывки, дочитал до строчки, в которой говорилось про умирающего солдата, который шептал: «...напишите Поле — у нас сегодня пели соловьи». Тут-то я и попросил рассказать про этого бойца, спросив:

— Евгений Львович, скажите, а Михаил Дудин сам придумал этого солдата, или же это реальный человек?

— Разумеется, он это придумал, хотя смерть мы видели довольно много и часто. Мы были корреспондентами, мотались по частям, кораблям, на передовой.

Здесь Евгений Львович задумался и потом продолжил цитирование стихотворения:

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи».
И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.

Евгений Львович опять задумался. Воспользовавшись заминкой, я выразил ему свое искреннее восхищение этим «за душу берущим» произведением, сказав, что уже несколько дней изучаю его, знаю почти наизусть. Дальше задал вопрос, который появился у меня при первом же прочтении:

— А вот здесь речь идет о «тристапятидесятом дне войны», это дата написания стихотворения?

— Скорее всего, это дата создания стихотворения. Помню, что было начало лета, где-то середина июня. Но здесь важно понимать смысл стихотворения! Он заключается в том, что весь этот ежедневный ужас войны не сломал нас, не лишил возможности ощущать и понимать красоту соловьиного пения.

Я обратил внимание на акцент, который поэт сделал, применив не совсем верную форму произношения числительного. Во-первых, чтобы выделить этот день, запомнившийся ему по многим причинам. Во-вторых, чтобы привлечь внимание читателей, что война продолжается почти год. Именно такое задание он и получил от комиссара. В-третьих, эта строчка разделяет стихотворение на три части. В первой части говорится о том, что люди превратились в пепел, *«мир груб и прост. / Сердца сгорели. / В нас остался только пепел, да упрямо / Обветренные скулы сведены»*.

Именно таких солдат с зачерствевшими душами изображал в своих произведениях и Ремарк. Но он же показывал и возрождение к мирной жизни, пришедших с войны солдат. У нас в «Соловьях» мира еще нет, только война.

Во второй части умирающий солдат как бы дарит свою душу соловью — певцу жизни. Если бы душа была выгоревшей, смог бы соловей петь? Третья часть похожа на стихотворение о любви, в ней много размышлений героя о личной мирной жизни, в которой есть место и соловьям, и детям. Именно об этом пишет поэт. Я не цитирую здесь текст, потому что поставлю его в финале целиком, я акцентирую внимание на ключевых точках, чтобы при прочтении замысел автора раскрывался более полно и не нарушалась целостность композиции.

Мы беседовали с писателем о его дальнейших отношениях с Михаилом Дудиным: «Мы часто встречались в послевоенные годы, и когда Дудин приезжал

в Москву или я приезжал в Ленинград, он со смехом спрашивал: „Женьк, а помнишь, как я склонял тебя к тому, чтобы мы застрелились?“ Когда мы вспоминали об этом, то обычно смеялись. У нас было заведено посмеиваться друг над другом. Хотя та ночь была очень страшной, страшной ночи у меня в жизни больше никогда не было...»

Здесь Евгений Львович помолчал, видимо, вспоминая те минуты, и продолжил, как это часто бывает у творческих людей вслед за своими мыслями, а не в русле темы беседы: «Отношения между нами, несмотря на разницу возрастов, были товарищескими, скорее даже братскими. Он никогда не подчеркивал того, что он старше по возрасту или что он талантливый, успешный поэт, хотя я значительно позже вступил в литературу, чем он. Это был великодушный человек, с широкой нараспашку русской душой... Все годы существования СССР он не позволял себе делать выпады против власти, считая, что этим может повредить стране, он был поэтом-государственником».

Слушая Войскунского, я понял, что именно поэтому, рассказывая о создании стихотворения «Соловьи», Михаил Дудин на первое место ставил не личную жизнь, не человеческие чувства, а долг перед Родиной, представителем которой в данный момент был батальонный комиссар. Изначально, по словам поэта, «Соловьи» были своеобразным «социальным заказом» и даже просьбой на уровне приказа: «К первой годовщине войны батальонный комиссар, редактор армейской газеты „Знамя победы“, попросил меня написать к дате стихи, причем разрешил лирику... — пишет Дудин в воспоминаниях. — Я повернулся на каблуках и вышел из редакции. День был ясный. Все цвело и зеленело. По вечерам и на утренних зорях всюду заливались соловьи. И мне казалось, что соловьиные перекаты заглушали глухой рокот артиллерийских дуэлей. Накануне погиб мой дружок по взводу разведки — Витя Чухнин (Дудин еще в 1940 году написал посвященное другу-художнику ироническое стихотворение „Кукушка“, заканчивающееся привычным в те годы риторическим призывом: *„Художники! Из чугуна и стали, / Отбрасывая к черту хлам и лом, / Творите так, чтоб мертвые восстали / И, как живые, встали над врагом“*. — И. Л.). Накануне я получил письмо от своего ивановского друга-поэта — Володи Жукова. Грустное письмо. Володя сообщал мне, что наш общий товарищ и земляк, тоже поэт, Коля Майоров погиб под Москвой (Николай Майоров, поэт, политрук пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й дивизии. Погиб у деревни Баранцево Смоленской области. Похоронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского района Смоленской области. — И. Л.). И мне захотелось написать о них.

Я забрался в заросли орешника. Расстелил на зеленой траве шинель. Лег на живот. И вывел в своей тетради первую строчку: „О мертвых мы поговорим потом...“»

Получается интересная вещь: автор «заказ» получил сразу с нескольких сторон, от погибших друзей, память о них требовала высказаться, от живых друзей, которые напоминали ему о силе жизни, противостоящей смерти и войне. От комиссара, устами которого говорила страна миллионами русских людей. Этот «заказ» шел и из сердца молодого поэта. Его душе, той самой, «широкой нараспашку русской душе», нужно было выговориться, и сделала она это через стихотворение.

СОЛОВЬИ

О мертвых мы поговорим потом.
Смерть на войне обычна и сурова.
И все-таки мы воздух ловим ртом
При гибели товарищей. Ни слова

Не говорим. Не поднимая глаз,
В сырой земле выкапываем яму.
Мир груб и прост. Сердца сгорели. В нас
Остался только пепел, да упрямо

Обветренные скулы сведены.
Тристапятидесятый день войны.

Еще рассвет по листьям не дрожал,
И для остратки били пулеметы...
Вот это место. Здесь он умирал —
Товарищ мой из пулеметной роты.

Тут бесполезно было звать врачей,
Не дотянул бы он и до рассвета.
Он не нуждался в помощи ничьей.
Он умирал. И, понимая это,

Смотрел на нас и молча ждал конца,
И как-то улыбался неумело.
Загар сначала отошел с лица,
Потом оно, темнея, каменело.

Ну, стой и жди. Застынь. Оцепеней.
Запри все чувства сразу на защелку.
Вот тут и появился соловей,
Несмело и томительно защелкал.

Потом сильней, входя в горячий пыл,
Как будто сразу вырвавшись из плена,
Как будто сразу обо всем забыл,
Высвистывая тонкие колена.

Мир раскрывался. Набухал росой.
Как будто бы еще едва означась,
Здесь рядом с нами возникал другой
В каком-то новом сочетанье качеств.

Как время, по траншеям тек песок.
К воде тянулись корни у обрыва,
И ландыш, приподнявшись на носок,
Заглядывал в воронку от разрыва.

Еще минута — задымит сирень
Клубами фиолетового дыма.
Она пришла обескуражить день.
Она везде. Она непроходима.

Еще мгновенье — перекосит рот
От сердце раздирающего крика.
Но успокойся, посмотри: цветет,
Цветет на минном поле земляника!

Лесная яблонь осыпает цвет,
Пропитан воздух ландышем и мятой...
А соловей свистит. Ему в ответ
Еще — второй, еще — четвертый, пятый.

Звенят стрижи. Малиновки поют.
И где-то возле, где-то рядом, рядом
Раскидан настороженный уют
Тяжелым громыхающим снарядом.

А мир гремит на сотни верст окрест,
Как будто смерти не бывало места,
Шумит неумолкающий оркестр,
И нет преград для этого оркестра.

Весь этот лес листом и корнем каждым,
Ни капли не сочувствуя беде,
С невероятной, яростною жаждой
Тянулся к солнцу, к жизни и к воде.

Да, это жизнь. Ее живые звенья,
Ее крутой, бурлящий водоем.
Мы, кажется, забыли на мгновенье
О друге умирающем своем.

Горячий луч последнего рассвета
Едва коснулся острого лица.
Он умирал. И, понимая это,
Смотрел на нас и молча ждал конца.

Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле
Когда он, руки разбросав свои,
Сказал: «Ребята, напишите Поле —
У нас сегодня пели соловьи».

И сразу канул в омут тишины
Тристапятидесятый день войны.

Он не дожил, не долюбил, не допил,
Не доучился, книг не дочитал.
Я был с ним рядом. Я в одном окопе,
Как он о Поле, о тебе мечтал.

И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине —
У нас сегодня пели соловьи».

И полетит письмо из этих мест
Туда, в Москву, на Zubовский проезд.

Пусть даже так. Потом просохнут слезы,
И не со мной, так с кем-нибудь вдвоем
У той поджигородовской березы
Ты всмотришься в зеленый водоем.

Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.

Пусть им навстречу солнце зноем брызнет
И облака потянутся гуртом.
Я славлю смерть во имя нашей жизни.
О мертвых мы поговорим потом.

1942

Известный поэт Евгений Евтушенко в своей антологии «Десять веков русской поэзии» писал о Дудине: «Душа его была спасена теми фронтовыми соловьями». Конечно, он прав, это доказывает не только творческий путь Дудина, но и все произведения Войскунского, особенно роман «Полвека любви», в котором личная жизнь писателя становится частью истории страны.

И понял я, что не победили бы наши прадеды и деды в этой страшной войне, если бы защищали только комбата и себя, уставшего, ожесточившегося солдата. Если бы не помнили, что землю надо пахать, о чем напоминала им и трава на бруствере, и цветы на поле, примятые вражескими сапогами. Если бы не чувствовали каждой клеткой тела своего, что их ждут матери, дети, жены, сестры, невесты и что каждая из них слышит тех же соловьев, воспевающих жизнь, поет ту же песню «В землянке» или читает «Жди меня».

В подтверждение этих мыслей и завершая очерк, приведу мнение русского историка, литературоведа, философа и критика Кожина Вадима Валериановича. Много лет назад он первым обратил внимание на любопытное исследование одного своего знакомого — немецкого историка-русиста Эберхарда Дикмана. Дикман заметил, что во время войны в Германии не звучало ни одной связанной с войной лирической песни, имелись только боевые марши и «бытовые» песни, никак не соотношенные с войной. Приведу в качестве примера знакомое мне стихотворение «Оккупация песни» русского поэта-фронтовика Валентина Давыдовича Динабургского (еще живущего в Брянске и пишущего; кстати, родившегося в один год с Войскунским):

Фриц наяривал «Катюшу»
на губной гармошке,

разбередивая душу
 хуже, чем бомбежка!
 Он играл почти без фальши —
 весело, задорно!
 Только слушать было страшно,
 нестерпимо больно.
 От Карпат и до Полесья
 жизни лад порушив,
 оккупировал и песню —
 то есть, значит, душу!
 До окопа того фрица —
 метров тридцать с гаком.
 Мне б в него зубами впиться,
 а я сдуру плакал...

Значит, самими немцами подтверждалось, что полной противоположностью фашистской Германии являлась наша страна. Жизнь в СССР от окопов до глубокого тыла была насквозь пронизана одними и теми же лирическими песнями и стихами (та же самая «Катюша»). Известно из воспоминаний Г. Жукова, что он не воспринимал жизнь 1941–1945 годов без постоянно звучащих из радио-тарелок и поющих миллионами людей лирических песен о войне. Именно поэтому смысл войны и для маршала Жукова, и для простого солдата можно было выразить словами из песни «Соловьи»:

Пришла и к нам на фронт весна,
 Солдатам стало не до сна —
 Не потому, что пушки бьют,
 А потому, что вновь поют,
 Забыв, что здесь идут бои,
 Поют шальные соловьи.

Я назвал очерк «Два писателя и соловьи», а под конец работы задумался: разве только эти два писателя так думают и чувствуют? Разве не весь народ стоял с ними рядом плечом к плечу и так же воспринимал мир? Про себя могу сказать точно — я с ними.

Март—апрель 2015

Послесловие, которого могло и не быть

Совершенно случайно обнаружил в Интернете видеозапись чтения Михаилом Дудиным стихотворения «Соловьи» в далеких шестидесятых. Обратил внимание на ссылку: «Мне двадцать лет». Поискал фильм, посмотрел сначала «Заставу Ильича», но не нашел там выступления Дудина. Вернулся к правильной ссылке, к другой версии фильма, где и знаменитый вечер поэзии в Политехническом оказался иным, и «Соловьи» — на своем законном месте. А ведь правильно было задумано режиссером, что пока звучит трагическое стихотворение, герои фильма — они

чуть старше меня — говорят о любви... а Дудин за кадром читает: «„Ребята, напишите Поле — / У нас сегодня пели соловьи“. / И сразу канул в омут тишины / Тридцатидесятый день войны...»

И получилось по словам поэта в жизни. Помните, дальше написано: «Пусть даже так. / Потом родятся дети...» В год выхода фильма на экраны страны рождается и мой папа, сын фронтовика.

А теперь уже и меня будят на рассвете томительные эти соловьи.

2016

Войскунский Евгений Львович — советский, российский писатель. Родился в Баку 9 апреля 1922 года. Служил в ВМФ. Великую Отечественную войну провел на Балтийском флоте; капитан-лейтенант. Окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького (1952). Печатается с 1950-х. В соавторстве с двоюродным братом И. Лукодьяновым в 1960–1970-е годы были написаны произведения в жанре научной фантастики, ставшие классикой.

У Евгения Львовича всегда оставался неисчерпаемый запас жизненного материала, накопленного за годы службы на Балтийском море. Роман «Кронштадт» (1984) многим читателям, незнакомым с ранними книгами Войскунского о войне и знавшим его лишь как фантаста, открыл сильного прозаика-реалиста. В 1990 году вышел его роман «Мир тесен», книга о войне, составляющая с «Кронштадтом» своего рода дилогию. В 2000 году выходят романы «Девичьи сны» и «Полвека любви», а в апреле 2007-го — к 85-летию писателя — роман «Румянцевский сквер».

Сегодня он по-прежнему в строю, работает над новым историческим романом. Живет в Москве.

Наум СИНДАЛОВСКИЙ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЛЯКИ В ГОРОДСКОЙ МИФОЛОГИИ

1

В 1682 году на русский престол вступил последний царь всея Руси и с 1721 года первый русский император Петр I. Он был внуком основателя династии Романовых царя Михаила Федоровича, который начал свое царствование в 1613 году под знаком страшного проклятия, посланного на весь его род гордой полячкой Мариной Мнишек. С известной долей фактической и хронологической условности можно сказать, что именно с этого времени обозначилось присутствие поляков в Петербурге. Конечно, на их отношение к русской столице влияли многие факторы. И близость границы, и территориальные претензии друг к другу, и различие в вероисповедании, и многое другое, о чем А. С. Пушкин в широко известном стихотворении «Клеветникам России» обозначил как «спор славян между собою, / Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою». Но мы начнем с проклятия Марины Мнишек, поскольку, что бы там ни говорили, на судьбы народов в незначительной степени влияют судьбы их повелителей. И проклятия на царей в той или иной степени распространяются на народы.

Марина Мнишек была дочерью польского шляхтича Юрия Мнишека, одним из первых поддержавшего авантюру монаха Чудова монастыря Григория Отрепьева, который объявил себя воскресшим царевичем Дмитрием и известен в истории как Лжедмитрий I. По вступлении Лжедмитрия в Москву Марина была отдана ему в жены. Затем, после убийства самозванца, ее насильно уложили в постель Лжедмитрия II, который выдавал себя за Лжедмитрия I. В 1606 году она была помазана на царство, процарствовала всего восемь дней, но в момент убийства своего второго мужа была на последнем месяце беременности. Вскоре появился на свет младенец Иван, который формально являлся наследником русского престола. Поэтому он представлял несомненную опасность для только что избранного на царство первого Романова — Михаила. Мальчика обманом взяли у находившейся в заточении Марины, уверив мать, что новый царь не будет мстить ребенку. Марина поверила. Однако в октябре 1614 года Иван был повешен. По преданию, Марина Мнишек,

Наум Александрович Синдаловский родился в 1935 году в Ленинграде. Исследователь петербургского городского фольклора. Автор более двадцати книг по истории Петербурга: «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» (СПб., 1994), «История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах» (СПб., 1997), «От дома к дому... От легенды к легенде. Путеводитель» (СПб., 2001) и других. Постоянный автор «Невы», лауреат премии журнала «Нева» (2009). Живет в Санкт-Петербурге.

узнав об этом, в отчаянии прокляла весь род Романовых вплоть до последнего царя. Согласно проклятию, все они будут умирать не своей смертью, «пока вся династия не угаснет».

Трагична была судьба и самой Марины. Если верить московским источникам, она умерла в тюрьме «с горя». Польские же авторы утверждают, что Марина Мнишек была не то утоплена, не то задушена по приказанию самого Михаила Федоровича.

Проклятие Марины Мнишек породило целую серию и других предсказаний — гибели династии Романовых, которые с пугающей периодичностью стали появляться в России. Уже в 1660-х годах некий монах пророчил смерть всем Романовых, которые решатся связать свою судьбу с Долгорукими. О давней вражде этих старинных русских родов в обществе хорошо помнили, однако о пророчестве забыли и впервые вспомнили сразу же после безвременной кончины юного императора Петра II, случившейся в 1730 году, неожиданно, за несколько дней до его свадьбы с Екатериной Долгорукой. Затем, через полтора столетия, это страшное пророчество вновь нашло подтверждение в трагической гибели императора Александра II, произошедшей вскоре после его венчания уже с другой Долгорукой, но тоже Екатериной, известной княгиней Юрьевской, вот-вот готовой стать императрицей Екатериной III. Хорошо известна и судьба всей династии Романовых, трагически завершившаяся расстрелом императора Николая II и всей его семьи в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

Если верить петербургскому городскому фольклору, первый удар по дому Романовых после проклятия Марины Мнишек Польша нанесла в 1796 году руками бывшего любовника Екатерины II Станислава Понятовского. Став польским королем и рассорившись со своей любовницей, он послал в подарок императрице золотой трон. По другой легенде, этот трон был вывезен Суворовым из Варшавы при подавлении польского восстания 1794 года. Так или иначе, но в 1795 году после последнего, третьего раздела Польши Екатерина будто бы велела проделать в этом троне отверстие и пользовалась им как стульчаком. Согласно одной из легенд, на этом импровизированном унитазе будто бы императрица и скончалась. По аристократическим салонам Санкт-Петербурга шепотом рассказывали страшные подробности гибели Екатерины Великой. Якобы «в ватерклозете императрицы под королевским тронном притаился неизвестно как туда проникший некий польский фанатик, чуть ли не карлик, который ударил снизу ее величество копьем или тесаком, а потом, воспользовавшись суматохой, ускользнул незамеченным из царских покоев и из Зимнего дворца».

Последние годы жизни Станислав Понятовский по приглашению Павла I провел в Петербурге, в предоставленной ему резиденции — Мраморном дворце. Умер внезапно в 1798 году, будто бы отравленный недоброжелателями. Похоронен с королевскими почестями, в храме Святой Екатерины на Невском проспекте. Прах последнего короля Польши пролежал в крипте собора до 1938 года, когда был передан Польше.

Между тем у Екатерины личные отношения с поляками связывались гораздо лучше, нежели государственные. Едва ли не в начале своего царствования она отметила своим вниманием Григория Александровича Потемкина, служившего вахмистром в Конной гвардии и принимавшего активное участие в перевороте 1762 года. Потемкин был выходцем из смоленских дворян и принадлежал к мелкопоместному, но знатному польскому роду, входившему в состав смоленской шляхты. Его дед носил фамилию Потемковский.

Потемкин сыграл выдающуюся роль в истории России второй половины XVIII века. Он был одним из самых ярких и наиболее значительных государственных и воен-

ных деятелей екатерининской эпохи. А после русско-турецкой войны 1768—1774 годов стал генерал-аншефом, графом, вице-президентом Военной коллегии и приобрел решающее влияние на государственные дела.

После тайного венчания, которое будто бы произошло в Москве в 1774 году, Потемкин, если верить фольклору, стал морганатическим супругом Екатерины II. Слухи о загадочном венчании были столь многочисленны и разнообразны, что многие путали даже города, где оно якобы происходило. Так французский посол в секретном донесении своему правительству писал, что это событие имело место «в одной из петербургских церквей». Так это или нет, до сих пор остается загадкой. Во всяком случае, императрица, которая была на десять лет старше Потемкина, и после 1774 года в личной жизни вела себя как незамужняя женщина. А когда в ее будуаре появились другие фавориты, тактичная, осторожная Екатерина, лишив Потемкина полуофициального статуса «первого джентльмена страны», вместо совместного ложа предложила ему совместную власть. Она советовалась с ним практически по всем вопросам государственной и частной жизни, включая обсуждение новых кандидатов на ее монаршую благосклонность, и всегда считалась с его мнением.

Сохранился своеобразный памятник близких отношений Потемкина и Екатерины II. В Большом Петергофском дворце, в так называемой Диванной комнате стоит диван, на котором, как об этом с затаенной гордостью сообщала сама императрица своему французскому корреспонденту барону Мельхиору Гримму, могли, «скорчившись, разместиться двенадцать человек». Правда, в письме к Гримму Екатерина, сознательно или нет, упустила одну пикантную подробность: диван был трофейным и прислан с театра военных действий специально для Потемкина. Так это или нет, проверить совершенно невозможно. Однако, как утверждает М. И. Пыляев, в Петербурге, да и во всей России вскоре после взятия Очакова появилась мода на огромные софы или диваны, загромождавшие гостинные барских особняков. И назывались они «потемкинскими».

Сохранился еще один своеобразный памятник потемкинской любви. Согласно царскосельским легендам, идея создания «Большого каприза» в Екатерининском парке принадлежит Григорию Александровичу Потемкину. Будто бы это он придумал и велел в течение одной ночи осуществить парковую затею в угоду своей капризной любовнице.

Об этом «исполине всех времен», или «некоронованном императоре», как называли Потемкина в столице, слагали легенды и рассказывали самые фантастические истории. У Потемкина было два прозвища. Одно из них породила его фамилия: Князь Тьмы, а другое — Циклоп — появилось благодаря устрашающему и одновременно величественному виду одноглазого гиганта. Согласно легенде, свой глаз Григорий Александрович потерял в пьяной драке. Впрочем, есть легенда, в которой названы конкретные виновники этой драки. Будто бы знаменитые братья Орловы, обеспокоенные тем, что Екатерина оказывает повышенные знаки внимания Потемкину, решили его проучить. Однажды они напали на него и здорово избили. Потемкин лишился глаза и на некоторое время действительно исчез из поля зрения императрицы. И только после разрыва с Григорием Орловым Екатерина вновь призвала его ко двору. Правда, по другой легенде, история с потемкинским глазом имеет другую и совершенно банальную причину. Будто бы во время первой интимной встречи с императрицей Потемкин в темноте неосторожно наткнулся на ее палец.

Между тем, лишившись глаза, Потемкин вовсе не потерял харизматической осанки. Рассказывают, что когда он, исполненный величия, с царственной поход-

кой, появлялся среди гостей Зимнего дворца, в толпе приглашенных начиналось перешептывание. Видевшие его впервые, как замороженные, спрашивали соседей: «Это царь?» — «Какое там царь! — восхищенно отвечали посвященные. — Это сам Потемкин».

Жил Потемкин широко и роскошно. Дом его был открыт, а столы ломились от изысканных блюд и невиданных яств. Согласно городскому преданию, Петербург обязан Потемкину первыми фруктовыми лавками, которые при нем появились на Невском проспекте. Этот вельможа требовал себе к столу свежих вишен, малины и винограда даже зимой. В Петербурге рассказывали, что самому князю уху подавали в «огромной серебряной ванне, весом в семь-восемь пудов». По преданию, «князю готовили уху из аршинных стерлядей и кронштадтских ершей» в кастрюлях, в которые входило до двадцати ведер жидкости. О великолепной потемкинской кухонной ванне из серебра сохранился анекдот, записанный П. А. Вяземским. В Таврическом дворце, рассказывается в анекдоте, князь Потемкин в сопровождении Левашова и князя Долгорукова проходил через уборную комнату мимо ванны. «Какая прекрасная ванна!» — сказал Левашов. «Если берешься ее всю наполнить (это в письменном варианте, а в устном тексте значит другое слово), я тебе ее подарю», — сказал Потемкин. Левашов обратился к Долгорукову, который слыл большим обжорою: «Князь, не хотите ли попробовать пополам?»

О хлебосольстве и гостеприимстве Потемкина рассказывали легенды. Однажды Потемкин пригласил к себе на обед какого-то мелкого чиновника, а после обеда спросил его, доволен ли тот. И услышал в ответ смиренное: «Премного благодарствую, ваше сиятельство, все видал-с». Дело в том, что в то время в богатых домах было принято подавать блюда «по чинам», а приглашенных было так много, что сидевшие на «нижнем» конце стола зачастую так и не дожидались еды и «созерцали лишь пустые тарелки».

Если верить фольклору, Потемкин, достигнув высокого общественного положения, никогда не забывал о людях, с которыми провел юные годы. Согласно одному историческому анекдоту, однажды дьячок, у которого Потемкин в детстве учился читать и писать, состарившись и сделавшись неспособным исполнять службу, приехал в Петербург просить у князя работу. «Так куда же тебя приткнуть?» — задумался князь. «А уж не знаю, сам придумай», — ответил дьячок. «Трудную, брат, ты мне задал задачу. Приходи завтра, а я между тем подумаю». На другой день, проснувшись, светлейший вспомнил о своем старом учителе и велел его позвать. «Ну, старина, нашел я для тебя отличную должность. Знаешь Исаакиевскую площадь?» — «Как не знать; и вчера, и сегодня через нее к тебе тащился». — «Видел Фальконетов монумент Петра Великого?» — «Еще бы!» — «Ну так сходи же теперь, посмотри, благополучно ли он стоит на месте, и сейчас мне доложи». Дьячок в точности исполнил его приказание. «Ну что?» — спросил Потемкин, когда он возвратился. «Стоит, ваша светлость». — «Ну и хорошо. А ты за этим каждое утро наблюдай да аккуратненько мне доноси. Жалованье тебе будет производиться из моих доходов. Теперь можешь идти домой». Дьячок до самой смерти исполнял эту обязанность и умер, благословляя Потемкина.

Умер Потемкин неожиданно, на одной из дорог вблизи Николаева. Прах его покойся в Херсоне, в склепе Святой Екатерины. Говорят, Екатерина, узнав о его кончине, расплакалась. А затем, когда успокоилась, села за письмо одному из своих корреспондентов. Она сообщала о смерти своего любимца: «Он имел необыкновенный ум, нрав имел горячий, сердце доброе; глядел волком и потому не был любим, но, давая щелчки, благодетельствовал даже врагам своим. Трудно заменить его; он был настоящий дворянин, его нельзя было купить».

В январе 1787 года Екатерина II начала свое знаменитое путешествие по России из Петербурга в Крым. Подготовкой поездки занимался Потемкин. К путешествию готовились два с половиной года. От Петербурга до Киева было выстроено 76 станций, на каждой из которых держали по 550 сменных лошадей. На всех станциях строились дворцы и триумфальные арки. Вдоль дороги «ликовали крестьяне в пристойной одежде». Среди них «не было больных и увечных». На всем пути следования разводили огромные костры «для рассеивания мрака». В истории все это осталось под названием «Потемкинских деревень», как синонима показного благополучия. Досадно, что, кроме этого, широкому читателю в связи с именем Потемкина мало что известно.

2

Истории, описанные выше, происходили на фоне трех драматических разделов Польши в 1772, 1793 и 1795 годах, в результате которых ее восточные и центральные части вошли в состав России. Вместе с тем эти события обусловили появление большого количества поляков в Петербурге. Студенты и ремесленники, банкиры и предприниматели, фабричные рабочие и светские баловни устремились в столицу за образованием, за работой, за богатством и развлечениями.

Среди русской аристократии вошли в моду смешанные браки. Исторические объяснения этому коренились едва ли не в самом зародыше русско-польских взаимоотношений. Дело в том, что в 988 году Русь приняла крещение от Греческой церкви, тогда как крещение Польши произошло на полтора десятилетия раньше от Римской церкви, а Россия всегда стремилась вывести свои генеалогические корни не из архаичной Древней Греции, но из имперского цезарианского Рима. Родственная связь с поляками в представлении русской знати делала этот процесс более легитимным. Идея «Третьего Рима» на протяжении столетий будоражила голубую кровь русской аристократии.

Впрочем, не обходилось и без подлинных любовных и даже жертвенных отношений. Так, наместник царя в Польше, брат Александра I великий князь Константин Павлович ради брака с графиней Жаннеттой Грудзинской отказался от претензий на русский престол, что, кстати, стало прямой причиной драматического междуцарствия в декабре 1825 года и непосредственным поводом к выступлению декабристов на Сенатской площади в Петербурге.

Но вернемся к непосредственной теме нашего очерка. В 1824 году в Петербурге впервые появился выдающийся польский поэт Адам Мицкевич. За принадлежность к тайному молодежному обществу он был выслан царскими властями из Литвы, где в то время проживал. В столице Мицкевич ожидал определения дальнейшего места службы в глубинных районах России.

Мицкевич родился в белорусском местечке Заосье близ Новогрудка. По отцу он происходил из рода обедневшего шляхтича Миколая Мицкевича, служившего адвокатом. Мать поэта происходила из семьи крещеных евреев.

В Петербурге Мицкевич сблизился с А. С. Пушкиным. О первой встрече двух великих национальных поэтов сохранился забавный анекдот: Пушкин и Мицкевич очень желали познакомиться, но ни тот, ни другой не решались сделать первого шага к этому. Однажды им обоим случилось быть на балу в одном доме. Пушкин увидел Мицкевича, идущего ему навстречу под руку с дамой. «Прочь с дороги, двойка, туз идет!» — сказал Пушкин, находясь в нескольких шагах от Мицкевича, который тотчас же ему ответил: «Козырная двойка простого туза бьет». Оба поэта кинулись друг к другу в объятия и с тех пор сделались друзьями.

На самом деле Пушкин впервые встретился с Мицкевичем осенью 1826 года в Москве, на вечере, устроенном москвичами по случаю его приезда в Первопрестольную. Мицкевич выступал с импровизацией. Вдруг Пушкин вскочил с места и, восклицая: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?», бросился Мицкевичу на шею и стал его целовать. Добавим, что Пушкин впоследствии описал эту встречу в «Египетских ночах». По утверждению специалистов, портрет импровизатора в повести «во всех подробностях соответствует внешности Мицкевича».

Но отношение Мицкевича к Петербургу было последовательно отрицательным. В этом городе он видел столицу государства, поработившего его родину и унижившего его народ.

Рим создан человеческой рукою,
Венеция богами создана,
Но каждый согласился бы со мною,
Что Петербург построил сатана.

Или:

Все скучной поражает прямою,
В самих домах военный виден строй.

Или:

Кто видел Петербург, тот скажет, право,
Что выдумали дьяволы его!

И хотя Мицкевич хорошо понимал различие между народом и государством, свою неприязнь к Петербургу ему так и не удалось преодолеть. А вместе с Петербургом он ненавидел и Россию, которую тот олицетворял. Говорят, когда он на пароходе покидал Петербург, то, находясь уже в открытом море, «начал со злостью швырять в воду оставшиеся у него деньги с изображением ненавистного русского орла».

Еще более эта ненависть углубилась после жестокого подавления польского восстания 1830—1831 годов. Пушкинское стихотворение «Клеветникам России» он расценил как предательство. В такой оценке Мицкевич был не одинок. Пушкина осудили многие его друзья. Например, Вяземский в письме к Елизавете Михайловне Хитрово писал: «Как огорчили меня эти стихи! Власть, государственный порядок часто должны исполнять печальные, кровавые обязанности; но у Поэта, слава Богу, нет обязанности их воспевать». У Вяземского, вероятно, были какие-то основания так говорить. До сих пор некоторые исследователи считают, что «Клеветникам России» Пушкин «написал по предложению Николая I» и что первыми слушателями этого стихотворения были члены царской семьи.

Между тем позиция Пушкина по польскому вопросу была на редкость последовательной. Он резко осуждал польский сейм за отстранение Романовых от польского престола и, перефразируя римского сенатора Катона, который каждую свою речь заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен», говорил: «Варшава должна быть разрушена».

В это время Мицкевич уже жил за границей. С Пушкиным больше никогда не встречался. Однако на протяжении всей своей жизни сохранил искренне восторженное отношение к Пушкину как к великому русскому поэту.

Поэтому совершенно естественной выглядит легенда о том, что, едва узнав о трагической гибели русского поэта, Мицкевич, живший в то время в Париже, послал Дантесу вызов на дуэль, считая себя обязанным драться с убийцей своего друга. Если Дантес не трус, будто бы писал Мицкевич, то явится к нему в Париж.

Мы не знаем, чем закончилась эта история и был ли вообще вызов, но то, что эта легенда характеризует Мицкевича как человека исключительной нравственности и порядочности, несомненно.

Среди польских друзей Пушкина заметное место занимают графы братья Михаил и Матвей Виельгорские. Они были сыновьями польского посланника при екатерининском дворе в Петербурге. При Павле I Михаил Виельгорский, «гениальнейший дилетант», как характеризовали его практически все современники, слыл одним из самых заметных представителей пушкинского Петербурга. Он был отмечен знаком высшего расположения императора. Вместе со своим братом он был пожалован в кавалеры Мальтийского ордена. Виельгорский был широко известным в масонских кругах Петербурга «рыцарем Белого Лебедя» и состоял «Великим Субпрефектом, Командором, а в отсутствие Великого Префекта правящим капитулом Феникса». В его доме проходили встречи братьев-масонов ордена.

Кроме масонских собраний, Виельгорские устраивали регулярные музыкальные и литературные вечера. В их салоне бывали Гоголь, Жуковский, Вяземский, Пушкин, Глинка, Карл Брюллов и многие другие представители русской культуры того времени. Дом его на углу Михайловской площади (ныне площадь Искусств) и Итальянской улицы в Петербурге называли «Ноев ковчег». Многие произведения литературы, если верить преданиям, увидели свет исключительно благодаря уму, интуиции и интеллекту Михаила Юрьевича. Рассказывают, что однажды он обнаружил на фортепьяно в своем доме оставленную случайно Грибоедовым рукопись «Горя от ума». Автор комедии к тому времени еще будто бы не решился предать ее гласности, тем более отдать в печать. И только благодаря Виельгорскому, который «распространил молву о знаменитой комедии» по Петербургу, Грибоедов решился ее опубликовать.

Известно также предание о том, что, склонный к мистике, старый масон Михаил Виельгорский поведал Пушкину историю об ожившей статуе Петра, которая так поразила поэта, что не давала ему покоя вплоть до известной осени 1833 года, когда в болдинском уединении была наконец создана поэма «Медный всадник».

Среди литературных знакомых Пушкина числилась и такая одиозная фигура XIX столетия, как Фаддей Булгарин. В литературном Петербурге их вместе с его соиздателем Николаем Гречем иначе как «Братья-разбойники» не называли. Происхождение этого коллективного прозвища фольклорная традиция связывает с Пушкиным. Будто бы однажды на одном обеде, увидев цензора Семенова, сидящего между Гречем и Булгариным, Пушкин воскликнул: «Ты, Семенов, точно Христос на Голгофе». Известно, что, согласно библейской версии, Христос был распят вместе с двумя разбойниками и его крест находился как раз посередине.

Вторая их кличка среди петербургских литераторов была «Грачи-разбойники». Николай Иванович Греч в течение десяти лет служил в петербургском цензурном комитете, а Булгарин, до 1825 года исповедовавший весьма демократические либеральные взгляды, после восстания декабристов занял откровенно верноподданническую охранительскую позицию и заслужил в Петербурге славу беспринципного литературного осведомителя пресловутого Третьего отделения.

Пушкин глубоко презирал Булгарина именно за это. Он хорошо знал ему цену. Если верить воспоминаниям современников, то однажды, с присущим ему ядовитым сарказмом, Пушкин сказал о Булгарине, что «где-нибудь в переулке он с охотою

с ним встретится, но чтоб остановиться и вступить с ним в разговор на улице, на видном месте, на это он — Пушкин — никогда не решится». Известна убийственная эпиграмма на Булгарина. Считается, что она принадлежит Пушкину. Ее со смаком повторял весь читающий Петербург:

К Смирдину как ни придешь,
Ничего не купишь,
Иль Сенковского найдешь,
Иль в Булгарина наступишь.

Правда, Владимир Соллогуб иначе смотрит на авторство этого блестящего шедевра. Он вспоминает, как однажды они вместе с Пушкиным зашли в книжную лавку Смирдина. «Я, — пишет Соллогуб, — остался у дверей и импровизировал эпиграмму:

Коль ты к Смирдину войдешь,
Ничего там не найдешь,
Ничего ты там не купишь.
Лишь Сенковского найдешь.

Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенной живостью закончил:

Иль в Булгарина наступишь».

Биография Булгарина путана, полна приключений и окрашена в авантурные тона скандальной беспринципности. Он был сыном польского шляхтича. Учился в Петербургском сухопутном шляхетском корпусе. Служил в Уланском полку и в 1806—1807 годах воевал против Наполеона. Затем был уволен из армии «вследствие плохой аттестации». После этого перебрался в Париж и вступил в Польский легион войск Наполеона. В его составе участвовал в походе на Россию. Был взят в плен русскими войсками. После войны жил в Польше и Литве.

В Петербург Булгарин приехал в 1819 году из Варшавы. В 1822 году начал издательскую деятельность, а с 1825 года совместно с Гречем издавал частную литературно-политическую газету исключительно реакционного толка «Северная пчела», которую Николай I в минуты откровенности называл «моя газета».

Булгарин был неплохим журналистом, но в литературной среде его презирали за беспринципность и сотрудничество с властями. В России это всегда отдавало дурным запахом. Рассказывают, как во время одного магнетического сеанса, до которых был весьма охоч тогдашний Петербург, некая ясновидящая вдруг прервала свои ответы на вопросы и, задыхаясь от волнения, проговорила: «Остановите, не пускайте! Сюда по лестнице подымается дурной, нехороший человек... У него железный ключ в кармане... Мне тяжело! Мне больно! Не пускайте, не пускайте!» Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в залу влетел, запыхавшись, опоздавший к началу сеанса Булгарин. Публика взорвалась от хохота. «Фаддей! У тебя есть ключ в кармане?» — спросил его присутствовавший здесь Греч. «Конечно, — ответил Булгарин, — ключ от моего кабинета у меня в кармане». И Фаддей Венедиктович вытащил из кармана большой железный ключ. Публика замерла и оцепенела. Тут же нашлись несколько человек, которые попросили Булгарина удалиться.

Если это не было заранее подготовленной мистификацией, то этот эпизод неплохо характеризует отношение петербуржцев к Булгарину.

Редакция «Северной пчелы» находилась на Мойке, в доме № 92, принадлежавшем Гречу. Здесь же размещалась и типография. Дом был открытым для всего, как тогда говорили, театрального, художественного и литературного мира Петербурга. Особенно многолюдны были «четверги», устраиваемые Гречем. В историю петербургской культуры дом вошел под именем «Гречев дом».

Николай Иванович Греч, в отличие от своего соиздателя, никогда не опускался до откровенного «литературного разбоя». Со многими собратьями по перу, в том числе с Пушкиным, он оставался корректен и сумел сохранить дружеские отношения.

Острые же демократической критики в основном было направлено на Булгарина. Следы этой борьбы сохранились в фольклоре. Однажды в Никольском соборе во время отпевания писателя Н. А. Полевого Булгарин хотел ухватиться за ручку гроба. Но актер В. А. Каратыгин оттолкнул его, сказав при этом: «Уж ты довольно поносил его при жизни». С легкой руки Пушкина, Булгарина называли Видоком, по имени знаменитого французского сыщика. Известен анекдотический случай, когда в газетах было объявлено о продаже в книжных лавках литографированного портрета этого пресловутого француза. Некоторое время покупателям выдавалось изображение Булгарина.

Из истории известно, как прадед Пушкина Ганнибал появился в России. Русский посланник в Константинополе Савва Рагузинский в 1705 или 1706 году прислал приобретенного им на рынке рабов ребенка в подарок Петру I. Правда, в пушкинском Петербурге бытовала злая легенда о том, что Ганнибал был куплен Петром у пьяного английского матроса за бутылку рома. Известно, что эта легенда стала предметом яростного, ожесточенного литературного спора между Пушкиным и Булгариным. В ответ на бесцеремонный выпад последнего Пушкин ответил стихами, в которых вывел этого литературного фискала и доносчика под именем Видока Фиглярина. Все в этом прозвище было убийственным. Имя полностью совпадало с фамилией французского сыщика Эжена Франсуа Видока, а фамилия была умело произведена от фигляра, то есть грубого, жалкого шута, и по созвучию полностью соотносилась с фамилией Булгарина.

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкипера попал.

Со временем сарказм писательской братии по отношению к Булгарину смягчился, а после смерти литератора и вообще превратился в легкую иронию. Рассказывают, что однажды в Пушкинский Дом пришел бедно одетый старик с просьбой помочь ему. «Кто же вы?» — вежливо спросили его. «Я тесно связан с Александром Сергеевичем Пушкиным». — «Каким же образом?» — «Я являюсь праправнуком Фаддея Булгарина», — нимало не смущаясь, ответил тот.

3

Заметный след оставили представители польской диаспоры в петербургской архитектуре и градостроении второй половины XIX — начале XX века. Авторитетнейший справочник «Архитекторы-строители Санкт-Петербурга» Б. М. Кирикова перечисляет адреса 19 зданий и сооружений, построенных академиком архитек-

туры Марианом Станиславовичем Лялевичем только в Петербурге, а ведь он строил и в Польше, и в Финляндии. Среди его построек широко известны корпуса Сытного рынка и Дом городских учреждений на Кронверкском проспекте.

Оба проекта Лялевич реализовывал совместно с другим академиком архитектуры — поляком по происхождению и его тезкой Марианом Мариановичем Перетятковичем, который на рубеже веков также пользовался широкой известностью в Петербурге. Среди его построек церковь Нотр-Дам де Франс в Ковенском переулке, Дом страхового общества «Саламандра» на Гороховой улице, храм-памятник русским морякам, погибшим в войне с Японией, более известный в народе как Спас на водах, взорванный при советской власти и ныне находящийся в списке памятников истории и культуры, подлежащих восстановлению.

Особенно известен Перетяткович сотрудничеством со своими соотечественниками — варшавскими банкирами Вавельбергами. В середине XIX века Вавельберги учредили отделение банка в Петербурге. Отделение находилось на Невском проспекте, 25. К началу XX века, когда руководство банкирским домом взял на себя почетный потомственный гражданин Петербурга, купец 1-й гильдии, выпускник Петербургского университета Михаил Ипполитович Вавельберг, финансовые успехи фирмы поставили ее в один ряд с крупнейшими банкирскими домами России.

В 1912 году на одном из самых престижных участков Петербурга, на углу Невского проспекта и Малой Морской улицы, М. И. Вавельберг возводит специальное здание для банка. Конкурс на строительство выиграл молодой в то время архитектор М. М. Перетяткович. Это величественное сооружение, облицованное мощными блоками темного, грубо обработанного гранита, ставшее одной из архитектурных жемчужин Невского проспекта, выполнено в стиле итальянских дворцов эпохи Возрождения. В Петербурге его прозвали «Дворец дождей», «Персидский дом» или «Денежное палаццо». Но в истории петербургской архитектуры он остался под именем своего владельца: «Дом Вавельберга». За строительство этого здания Перетяткович получил звание академика архитектуры.

Сохранилась легенда о том, как богатый и немногословный банкир принимал дом. Он долго водил архитектора по многочисленным помещениям, лестницам, коридорам и переходам и, не найдя к чему придраться, в конце концов остановился у входных дверей. Долго молчал, глядя на бронзовую табличку с надписью: «Толкать от себя». Потом повернулся к строителям и назидательно проговорил: «Это не мой принцип. Переделайте на „Тянуть к себе“».

Заметную роль в петербургском градостроении сыграл выпускник Виленского университета и Петербургского института корпуса инженеров путей сообщения польский инженер Станислав Валерианович Кербедз. Героем петербургского городского фольклора он стал благодаря длившейся более семи лет беспримерной эпопее строительства первого в Петербурге постоянного моста через Неву.

Как известно, целых полтора столетия Нева не знала постоянных переправ с одного берега на другой. Петр I, мягко выражаясь, мостостроение не поощрял. Приучая петербуржцев к воде, он разрешал строить мосты только в исключительных случаях — при прокладке дорог через ручьи и протоки. Сообщение же с островами дельты Невы летом осуществлялось только лодками и паромами, которые в Петербурге назывались «самолетами». В XVIII веке в ходу был даже слоган: «На другой берег самолетом». После смерти Петра в городе появились наплавные, или плашкоутные, мосты, которые вполне устраивали петербуржцев. Строительство же постоянных мостов считалось делом дорогостоящим, хлопотным и необязательным.

Первый постоянный мост по проекту Станислава Кербедза начали возводить в 1843 году. Строительство моста действительно оказалось трудным и необычным.

Далеко не все верили в благополучное его окончание. В те годы умы столичных обывателей занимало строительство одновременно трех грандиозных сооружений: Исаакиевского собора, Благовещенского моста и Московской железной дороги. С легкой руки известного остролова Александра Сергеевича Меншикова, ироничные петербуржцы любили повторять: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши, мост мы увидим, но дети наши не увидят, а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят».

Подтверждение этих настроений мы находим в городском фольклоре. Рассказывали, что Николай I, зная о характере стройки, распорядился повышать Кербедза в звании за каждый удачно возведенный пролет моста. Узнав об этом, Кербедз, как уверяют злые языки, тут же пересмотрел проект в пользу увеличения количества пролетов. Так это или нет, проверить невозможно, однако известно, что, начав возведение моста в скромном чине капитана, Кербедз закончил его в звании генерала.

Любопытна дальнейшая судьба Благовещенского моста. К 1930-м годам мост, который в то время назывался мостом Лейтенанта Шмидта, исправно прослуживший более восьмидесяти лет, требовал коренной реконструкции. Реконструкцию поручили одному из крупнейших специалистов в области мостостроения Григорию Петровичу Передерью. Однако Передерий предложил не столько реконструкцию, сколько полную перестройку моста. Точнее, это было вообще возведение нового моста на старых опорах, с центральным разводным пролетом, вместо существовавшего бокового, со стороны Васильевского острова. Даже во внешнем оформлении были сохранены только прежние перильные ограждения. Тогда-то и родился в Ленинграде беззлобный каламбур, до сих пор сохранившийся в арсенале городского фольклора: «Передерий передерил». Впрочем, и старый мост Кербедза продолжает служить до сих пор. Его пролеты перевезли в Тверь и перекинули через Волгу.

Для полного представления о деятельности Кербедза в Петербурге следует сказать, что с 1872 года он возглавлял комитет по устройству Петербургского и Кронштадтского портов. Тогда же под его руководством был разработан окончательный проект знаменитого Морского канала по дну мелководной Невской губы от внешнего рейда Кронштадта до Морского порта на Гутуевском острове в Петербурге.

Последние годы жизни Кербедз провел в Варшаве. Там же он умер и похоронен на кладбище Повонзки.

Говоря о вкладе поляков в историю Петербурга, нельзя не вспомнить о почетном члене Академии наук и почетном гражданине Петербурга, известном путешественнике и исследователе Средней Азии Николае Михайловиче Пржевальском.

Пржевальский принадлежал к старинному польскому шляхетскому роду. Его дальним предком был воин Великого княжества Литовского Карнила Перевальский, отличившийся в Ливонской войне. Серебряные лук и стрела на красном поле, изображенные на родовом гербе Пржевальских, были дарованы за воинские подвиги в сражении с русскими войсками при взятии Полоцка армией Стефана Батория. Это, впрочем, не помешало Пржевальскому по окончании академии отправиться добровольцем в Польшу для участия в подавлении польского восстания. В 1863 году он был произведен в поручики и занял должность преподавателя истории и географии в Варшавском юнкерском училище.

Героem петербургского городского фольклора Пржевальский стал благодаря своему удивительному внешнему сходству с И. В. Сталиным. Причем интересно, что заметили это сходство только после смерти вождя всех народов и покровителя всех путешественников в 1953 году, хотя памятник Н. М. Пржевальскому стоит в Адмиралтейском саду с 1892 года. Это и понятно. Изображения вождя, еще совсем недавно тиражируемые в миллионах экземплярах на бумаге, холсте, в камне и бронзе,

начали постепенно исчезать с улиц и площадей Ленинграда. А тут, в самом центре, на видном месте, и так похож.

И родилась одна из самых невероятных ленинградских легенд. Будто бы однажды, путешествуя по Средней Азии, Пржевальский неожиданно отклонился от маршрута, завернул ненадолго в Грузию, встретился там с некоей красавицей Екатериной Георгиевной, будущей матерью Сталина, и осчастливил ее, став, как утверждает эта фантастическая легенда, отцом ребенка. Поди проверь. Но вот уже многие годы у основания памятника великому путешественнику появляются букетики цветов. Говорят, их приносят пожилые женщины — верные и твердые последовательницы Сталина.

Смушает только верблюд у подножия памятника. Карликового роста, прилегший отдохнуть на землю, он кажется случайным и необязательным под бюстом импозантного мужчины в мундире гвардейского офицера с погонами. Таким, впрочем, он казался и при установке памятника. Сохранилась легенда о том, что Географическое общество, членом которого был Пржевальский, еще тогда указывало городским властям на нецелесообразность образа «корабля пустыни» в непосредственной близости с морским символом Петербурга — Адмиралтейством. Не вняли. И тем самым открыли небывалые возможности для мифотворчества. На настойчивые вопросы все тех же туристов: «А верблюд-то почему?» — современные молодые экскурсоводы могут ответить: «А это символ долготерпения русского народа». И рассказывают легенду о каком-то придурковатом полковнике, который в 1950-х годах, проходя Александровским садом к Главному штабу, у памятника Пржевальскому переходил на строевой шаг и отдавал честь великому путешественнику.

4

Отдельной главой в истории русской культуры следует отметить особый вклад поляков в развитие петербургской школы балета, немислимого без всемирно известных имен Матильды Кшесинской и Вацлава Нижинского.

Ведущая балерина Мариинского театра Матильда Кшесинская, о которой современники говорили столь же восторженно, сколь и неприязненно, на самом деле на рубеже XIX и XX веков была наиболее яркой звездой петербургского балета. Она происходила из широко известной в Европе театральной семьи. Дед Матильды Феликсовны был знаменитым скрипачом, которого современники сравнивали с самим Паганини, отец — танцовщиком, а мать — актрисой. Балериной была и старшая сестра Матильды Юлия, закончившая балетную школу раньше Матильды. Благодаря этому семейному обстоятельству злые языки издевательски называли Матильду «Кшесинской Второй». По аналогии, но в противоположность высокому официальному статусу ее любовника Николая Второго.

Между тем на выступления Матильды Кшесинской сходилась буквально «весь Петербург». Но бурные, неистовые аплодисменты восхищенной ее мастерством и дарованием театральной публики не могли скрыть от петербургской молвы ее вздорного характера обыкновенной, но весьма изощренной интриганки. Директор Императорских театров В. А. Теляковский писал о Кшесинской как о «нравственно нахальной, циничной, наглой балерине, живущей одновременно с двумя великими князьями». А сама Кшесинская этого не только не скрывала, но при всяком удобном случае этим обстоятельством пользовалась. Не случайно вместе с прозвищами Королева Пуантов и Великолепная Матильда в Петербурге ее называли Мадам Эпатаж, Самодержавный Каприз и Царская Ведьма.

При этом не надо сбрасывать со счета и другие легенды, несколько по иному характеризующие великую балерину. Рассказывают, что когда один из великих князей, в то время наследник престола Николай Александрович однажды предложил Матильде Кшесинской руку и сердце, то та решительно отказалась, хорошо понимая, что в этом случае будущему императору «вместо родительского престола пришлось бы удовольствоваться лишь тронном царя Польского». И вопреки тому, что о ней говорили в петербургском «свете» и за кулисами Мариинского театра, принять такую жертву Матильда якобы отказалась.

Известно, что у Матильды Кшесинской была любимая племянница Целина. Девочку можно видеть на многих фотографиях из семейного альбома балерины рядом с Матильдой. Если верить городским сплетням, то Целина вовсе не племянница, а ее собственная дочь от Николая II. В качестве доказательства биографы балерины приводят многочисленные временные и хронологические совпадения.

В 1904–1906 годах в Петербурге по проекту модного в то время архитектора, одного из наиболее ярких представителей петербургского модерна А. И. Гогена Кшесинская построила особняк. Здание поражало современников утонченной роскошью и сдержанным уютом интерьеров, свободной внутренней планировкой помещений и живописной асимметричностью наружной композиции, смелым и неожиданным сочетанием новых и традиционных отделочных материалов.

Несмотря на то, что историкам известен документ, согласно которому Матильда Кшесинская внесла 88 тысяч рублей собственных денег на строительство особняка, в Петербурге до сих пор живет легенда о том, что Николай II, будучи уже императором, одаривал свою прекрасную фаворитку многочисленными особняками. Один из них будто бы находился в Крыму, другой — под Петербургом и, наконец, третий — напротив Зимнего дворца на Петербургской стороне. Между Зимним дворцом и особняком Кшесинской будто бы существовал даже подземный ход. Надо сказать, что некоторая доля правды в этих сплетнях все же была. Во-первых, по оценке современных историков, в начале XX века строительство такого особняка должно было стоить не менее одного миллиона рублей, что вряд ли было по силам балерине императорского театра, даже если она и была Кшесинской. И во-вторых, в Петербурге был хорошо известен другой особняк, на Английском проспекте, 18, который монарх и в самом деле подарил Матильде Федоровне.

Судьба особняка Кшесинской была типичной для советского периода отечественной истории. В апреле 1917 года в него въехали большевики. В особняке разместился Центральный комитет партии большевиков и так называемая Военная организация РСДРП, или «Военка», как ее называли в народе. Тогда же, согласно легендам, во дворе особняка были зарыты огромные деньги, будто бы полученные большевиками от германского генерального штаба для организации революционного переворота в России. Между прочим, через 80 лет эта фантастическая легенда трансформировалась в предание о том, будто бы этот клад зарыли не большевики, а сама Матильда Кшесинская перед бегством из Петрограда.

В 1909–1910 годах рядом с особняком балерины, на участке № 4 по Большой Дворянской улице архитектор Р. Ф. Мельцер построил особняк для известного промышленника и торговца, владельца лесопильных заводов, члена совета петербургского учетного и ссудного банков В. Э. Брандта. Исключительно близкое соседство особняка Брандта с особняком Матильды Кшесинской, построенным в тот же период, породило в Петербурге легенду об интимной связи владельцев обоих особняков. Особенной популярности легенды среди обывателей способствовал бронзовый барельеф на стене особняка Брандта перед боковым входом в дом балерины. Огромный, размером чуть ли не в дверной проем барельеф изображает молодого человека

в охотничьем костюме и юную даму с большим католическим крестом на груди. Кавалер приглашает даму войти в дом. В изображенных легко узнавались хозяева обоих особняков, тем более что между зданиями, ныне отделенными друг от друга глухой каменной стеной, в прошлом, говорят, существовала калитка. Изображение было столь реалистичным, что домыслить недостающее было делом нехитрым. С известной долей условности этот чудом сохранившийся до нашего времени барельеф можно считать своеобразным памятником Кшесинской.

В феврале 1917 года Матильда Кшесинская покинула Петроград и поселилась в Европе. Она была потрясена крушением монархии, которой была искренне предана. Не только по убеждениям, но и по любви к двум великим князьям — Сергею Михайловичу, от которого родила сына, впоследствии усыновленного Андреем Владимировичем и ставшего Владимиром Андреевичем, и Андреем Владимировичу, с которым в 1921 году вступила в брак. С 1920 года жила во Франции. Там она пристрастилась к игре в рулетку. В память о печальных событиях 1917 года ставила только на цифру 17, за что французы ее так и прозвали — Мадам Дизсептьем (*dix-sept* — семнадцать).

Кшесинская прожила долгую жизнь и скончалась в 1971 году во Франции, в возрасте 99 лет, не дожив нескольких месяцев до своего столетия. Покоится русская балерина Матильда Кшесинская на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем под фамилией Романовская-Красинская. С добавлением: «заслуженная артистка императорских театров Кшесинская». Первая часть ее двойной фамилии происходит от фамилии великого князя Андрея Владимировича Романова, с которым она вступила в брак в 1921 году, вторая — от графов Красинских. По семейному преданию, от них ведут свой род Кшесинские.

Не меньшей славой в балетном мире пользовался и Вацлав Нижинский, «Гений балета», как его окрестили современники. Особенной известностью пользовались его знаменитые «зависания в воздухе», благодаря чему его прозвали Летающим Человеком. Из Мариинского театра Нижинского уволили из-за разразившегося скандала после того, как он решил станцевать в балете «Жизель» в короткой рубашке и трико без обязательных в то время обычных бархатных штанов до колен. Вызывающий наряд танцора буквально шокировал публику. С тех пор он стал танцевать только в труппе Дягилева, гастролировавшей в Европе. Впрочем, согласно одной из легенд, скандал спровоцировал сам Дягилев, предварительно договорившись с Нижинским. Согласно другой — Нижинского изгнали из театра по настоянию царской семьи, которая таким образом выразила свое монаршее неудовольствие любовной связью танцовщика с Дягилевым.

Так или иначе, слава, доставшаяся России после «Русских сезонов» Сергея Дягилева, в значительной мере возникла благодаря великому артисту балета Вацлаву Нижинскому. Нижинский умер в Лондоне неизлечимо больным человеком. Прах его был перевезен в Париж и захоронен на кладбище Монмартр.

К 100-летию «Русских сезонов» в Варшаве, в фойе Большого театра была установлена бронзовая скульптура Вацлава и Брониславы Нижинских в образе Фавна и Нимфы, исполненная русским скульптором Геннадием Ершовым.

В 1906 году в Петербурге родился один из величайших композиторов XX века Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Его дед, поляк по происхождению Болеслав Петрович Шостакович, по делу о покушении на Александра II был осужден на ссылку в Сибирь. Там он женился на сибирячке, в результате чего родился отец будущего композитора Дмитрий Болеславович.

В 1923 году Дмитрий Дмитриевич Шостакович окончил Петербургскую консерваторию. Из раннего фольклора о нем известна легенда, как по окончании пред-

ставления пьесы Владимира Маяковского «Клоп» на сцену одновременно вышли маленький, шуплый, никому не известный автор музыки Шостакович и могучий, огромного роста, знаменитый поэт. Раскланявшись с публикой, Маяковский великодушно протянул Шостаковичу два пальца. И в ответ на глазах изумленной публики композитор, похоже, сам не понимая, что делает, подал поэту свой едва заметный мизинец. Говорят, после этого Шостакович чуть ли не две недели пролежал в нервной горячке.

Похоже, что серьезных сомнений в его гениальности не было ни у кого. И не только у преподавателей и друзей молодого композитора, но и у него самого. Не зря его называли «Современным Бетховеном». В 1924 году, сразу после переименования Петрограда в Ленинград, если верить фольклору, Шостакович воскликнул: «Значит, когда я умру, город могут назвать Шостаковичградом?» Понятно, что это выглядело не более чем юношеской реакцией на очередную потерю Санкт-Петербургом своего исторического имени, но все-таки... Шостакович не мог не догадываться о своей будущей роли в музыкальной культуре страны. Сохранился характерный анекдот: Шостакович стоит в очереди в гастрономе «Елисейев». К нему подходит алкоголик и спрашивает: «Третьим будешь?» Композитор отвечает: «Только первым». — «Тоже неплохо», — в тон ему говорит алкоголик.

Между тем легко увидеть довольно сдержанное, если не сказать, ироническое отношение молодого Шостаковича не только к вождю мирового пролетариата, но и к советской власти как таковой. По свидетельству очевидцев, он любил подшучивать над культом Ленина, царившим в большевистской России. Известно, что Владимира Ильича Ленина в Советском Союзе называли по отчеству. Отчеству придавали значение имени. В Ленинграде был Дом культуры имени Ильича и даже переулок Ильича. У Шостаковича это, видимо, вызывало раздражение. «Люблю музыку Ильича, — иногда восклицал он и, выдержав паузу, добавлял: — Петра Ильича Чайковского, разумеется». Известно, что Мравинский и Шостакович называли друг друга «братьями по дням», намекая на название запрещенной в Советском Союзе книги И. А. Бунина «Окаянные дни», в которой писатель воспринимал революцию как национальную катастрофу.

Об отношении Шостаковича к властям предержавшим можно судить по маленькой хитрости, которую позволял себе композитор. Известно, что он был одним из тех, кто практически всегда подписывал коллективные письма против своих собратьев по искусству. Но, как утверждает фольклор, делал это весьма своеобразно. Брал лист с текстом, переворачивал его вверх ногами и только тогда ставил подпись. После знаменитых постановлений ЦК по вопросам культуры Шостакович долго не мог прийти в себя. «Я ему завидую», — говорил он о погибшем Михоэлсе.

Даниил Гранин рассказывает историю, случившуюся с военным дирижером и композитором, по совместительству служившим в ЦК партии музыковедом, Павлом Ивановичем Апостоловым. Апостолов люто ненавидел Шостаковича. Он был автором всех разгромных статей о его музыке в партийной печати и разделов, посвященных музыке, в постановлениях по вопросам культуры, выходивших от имени ЦК партии. Без яростной злобы в адрес Шостаковича в них не обходилось. Об этом все знали и старались внимательно следить за их случайными пересечениями на музыкальных спектаклях и концертах. Однажды во время исполнения в Москве симфонии Шостаковича вдруг из первых рядов поднялся человек и направился к выходу из зала. Увлеченная музыкой публика не придавала этому значения. Но когда симфония окончилась и двери распахнулись, все увидели на полу мертвое тело Апостолова. В толпе пронесся мистический шепот: «Возмездие, вот оно, возмездие».

Травля Шостаковича была повсеместной и изощренной. В январе 1936 года в газете «Правда» появилась редакционная статья «Сумбур вместо музыки» об опере

Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», после чего поток грязи, вылитый на композитора, приобрел космические размеры. Дошло до того, что на арене цирка известный клоун Карандаш посадил за рояль свою собаку Кляксу. Клякса начинает бегать по клавиатуре. Выходит напарник клоуна: «Карандаш, что это вы делаете?» — «Ах, не обращайтесь внимания, это она играет новую симфонию Шостаковича».

Трагедии Ленинграда в годы Великой Отечественной войны Шостакович посвятил одно из лучших своих произведений — Седьмую («Ленинградскую») симфонию. Он писал ее, находясь в осажденном городе, вместе с ленинградцами мужественно перенося все ужасы первых месяцев блокады. 9 августа 1942 года симфония была впервые исполнена в Большом зале Ленинградской филармонии оркестром под управлением К. И. Элиасберга. Ленинградцы по достоинству оценили талант композитора. День исполнения симфонии они называли «днем победы среди войны», а само исполнение — «залпом по Рейхстагу».

5

Социально-политическая активность поляков неожиданно сблизила такие отдаленные друг от друга географические территории, как Польша и Сибирь. Один за другим туда по приговорам судов отправлялись в ссылку, на каторгу и на поселение участники восстаний, политически неблагонадежные и просто недостаточно верноподданные граждане присоединенной к России Польши. Название Сибири, этой далекой и загадочно пугающей восточной части Российской империи, замелькало в анкетах, биографиях и жизнеописаниях многих деятелей культуры. Так что Дмитрий Шостакович был не единственным, о ком можно сказать: «родом из Сибири».

Отцом замечательного петербургского писателя Александра Степановича Грина был ссыльный поляк, потомственный дворянин, участник польского восстания 1863 года.

Биография Грина полна мистических тайн и фантастических загадок. В значительной степени это связано с тем, что он состоял членом партии эсеров и преследовался за антиправительственную агитацию. Его подлинная фамилия Гриневский. Впервые в Петербург Грин приехал в 1905 году, нелегально, хотя охранка о нем хорошо знала и тщательно следила за его передвижениями. В их отчетах он числится под кличкой Невский. Это была вторая часть его подлинной фамилии. Первая ее часть — Грин, которая на самом деле была гимназическим прозвищем будущего писателя, впоследствии превратилась в авторский псевдоним.

В 1906 году Грина арестовали и сослали в Тобольскую губернию. Оттуда он сбежал и вернулся в Петербург, но в 1910 году был вновь арестован и на этот раз смог вернуться в столицу только в 1912 году.

В Петербурге его познакомили с Куприным, благодаря которому Грин вошел в литературные и издательские круги столицы. После революции жил в Доме искусств на Мойке. Виктор Шкловский вспоминает, что высокий, изможденный голодом, мрачный и тихий Грин был похож на «каторжника в середине срока». Здесь он начал активно писать и печататься. Здесь же родились и первые легенды о Грине. Так, по одной из них, он был сослан на каторгу в Сибирь не за свою революционную деятельность, а за то, что убил жену.

Другие легенды связаны с творчеством этого необыкновенного писателя. Заманчивый и великолепный фантастический мир, созданный им в своих повестях и рассказах, взбудоражил общественное мнение. Вскоре оно разделилось. Одни признава-

ли его необычный творческий дар, другие говорили, что Грин никакой не писатель, а обыкновенный уголовник. Будто бы однажды ему удалось украсть сундук, набитый старинными английскими рукописями. Хорошо зная иностранные языки, он постепенно извлекал тексты из таинственного сундука, переводил их и выдавал за свои произведения.

Как бы то ни было, все единодушно признавали, что Грин — писатель глубоко петербургский. Его лучшие произведения «Алые паруса», «Крысолов», «Корабли в Лиссе» и другие могли быть написаны только в этом городе. И действительно, в волшебных городах с загадочными названиями Лисс и Зурбаган, созданных его творческим воображением, легко улавливается неповторимый аромат петербургской атмосферы, запах гранитных набережных Невы и близкое дыхание Финского залива. Это была необыкновенная страна Гринландия, жить в которой стремились многие поколения его благодарных читателей. Не случайно в Петербурге до сих пор живет весенняя примета. Юные выпускницы петербургских школ, беззаветно веруя в свое недалекое счастливое будущее, связывают свои судьбы и свои надежды с гриновскими алыми парусами, которые им удастся увидеть в утренних грезах. В том числе и потому, что свято верят в романтическую легенду, будто прообразом прекрасной Ассоль стала жена Александра Степановича Грина Нина Николаевна.

В последние годы жизни Грин бедствовал. Его перестали печатать. Неоднократные просьбы о денежной помощи отклонялись. «Грин — наш идеологический враг, — заявила на заседании Союза писателей Лидия Сейфуллина. — Союз не должен помогать таким писателям! Ни одной копейки принципиально!» И вдруг неожиданно пришел перевод на 250 рублей. Сохранилась легенда, что причиной этому стала последняя шутка Грина. Будто бы он послал в Союз писателей телеграмму: «Грин умер вышлите двести похороны».

Одновременно с Грином в Доме искусств на Мойке, или ДИСКе, как его называли современники, жил поэт-символист, переводчик и мемуарист Владимир Алексеевич Пяст, «небольшой поэт, но умный и образованный человек», — как говорил о нем один из современников. Пяст в буквальном смысле слова вырос среди книг. Его мать имела прекрасную личную библиотеку, превращенную ею в общественную, доступную для всех желающих читальню.

Подлинная фамилия Пяста — Пестовский. Пяст — это псевдоним. Его появление связано с семейной легендой, согласно которой он является потомком старинного польского королевского рода Пястов, правивших в Польше с X по XIV век. Может, оно и так. Однако, по другим версиям, польской крови в жилах Пяста нет. По отцу он будто бы был прибалтийским немцем, а по матери — грузином.

Семейная легенда отложила известный отпечаток на характер поэта, что в известном смысле позволяет верить в ее достоверность. Он был гордым и заносчивым, как польский шляхтич, превыше всего ставил собственную независимость от людей и обстоятельств. Никогда ничего не просил. Некоторое время, живя в Доме искусств и в полном смысле слова страдая от голода, по ночам вышагивал по коридорам и громко читал стихи. Чтение напоминало «дикие возгласы», которые не давали покоя обитателям ДИСКА. «Безумный Пяст», — говорили о нем соседи по Дому искусств, пользуясь прозвищем, придуманным им самим. Запомнились его вечные клетчатые брюки, которые он носил бессменно зимой и летом. Среди его друзей и знакомых их называли «двухстопные пясты».

По свидетельству современников, его характер проявлялся во всем. Так, после появления в печати поэмы Александра Блока «Двенадцать», он, будучи лучшим другом поэта, перестал подавать ему руку и однажды отказался выступать вместе

с Блоком на литературном вечере только потому, что в программе была объявлена поэма «Двенадцать».

Революцию Пяст не принял и не скрывал этого. Может быть, поэтому его несколько раз арестовывали и отправляли в ссылку. Последний раз сослали в Вологодскую губернию. Там он и умер, будто бы от рака. Впрочем, сохранилась одна непроверенная легенда о том, что гордый Пяст покончил жизнь самоубийством, застрелившись из пистолета.

6

В сюжете о Мицкевиче мы уже говорили об отношении поляков к России как к государству, поработившему их родину Польшу. В значительной степени именно этим обусловлено заметное участие поляков сначала в террористических актах, направленных на власть предрержащих, а затем и в революционном движении. Так, в двух из восьми покушений на императора Александра II непосредственное участие принимали поляки. Одно покушение в Париже совершил Антон Березовский, а другое, приведшее к смерти императора, в Петербурге — Игнатий Гриневицкий. В советское время его именем был назван мост через канал Грибоедова, возле которого было совершено убийство. Это производило впечатление некоего убогого подобия памятника убице рядом с величественным мемориальным храмом-памятником убитому императору.

Оба террористических акта считались мезтью поляков за подавление польского восстания 1863 года. Большевики к индивидуальному террору как к политической борьбе относились отрицательно. Однако это не помешало им после захвата власти организовать и возглавить массовый государственный террор. Теоретиком и практиком таких методов борьбы со своими классовыми и идеологическими врагами стал «пламенный революционер и верный ленинец» Феликс Эдмундович Дзержинский. Достаточно сказать, что именно ему молва приписывает инквизиторский тезис: «Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка» — и слова, будто бы сказанные им при назначении на пост председателя Чрезвычайной комиссии: «Право расстрела для ЧК чрезвычайно важно». Похоже, о такой возможности он мечтал с детства. Во всяком случае, сам он будто бы однажды признался: «Еще мальчиком я мечтал о шапке-невидимке, чтобы пробраться в Москву и уничтожить всех москалей».

В биографии Дзержинского есть еще одна довольно смутная страница, до сих пор порождающая многочисленные домыслы, версии и предположения. В юности, по одной из легенд, он случайно застрелил свою сестру Ванду. Так ли это, и если так, то как это могло в дальнейшем сказаться на его характере, можно только догадываться.

Собственно, петербуржцем Феликс Дзержинский был очень короткое время. В октябре 1917 года он стал членом петроградского военно-революционного комитета, затем был назначен председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), которая до переезда советского правительства в Москву в 1918 году находилась на Гороховой улице, 2. Дальнейшая жизнь Дзержинского целиком связана с Москвой.

Но судьбе было угодно, чтобы имя Железного Феликса, как его называли в народе, в петербургском городском фольклоре все-таки осталось. Более того, оно стало неким мистическим символом начала и конца большевистской власти.

Дзержинский происходил из религиозной польской семьи и воспитывался в строгих католических правилах. Одно время он даже подумывал о религиозном слу-

жении. Но затем подался в революционное движение и стал его ревностным проводником.

Сохранилась удивительная легенда, связанная с поисками подходящего здания для работы печально знаменитой Чрезвычайки. Фольклор утверждает, что бывший дом президента Медицинской коллегии И. Ф. Фитингофа на Гороховой, 2 был выбран не случайно и вовсе не потому, что в начале XX века в нем располагалось петербургское градоначальство, в составе которого находилось знаменитое Охранное отделение, правопреемницей которого можно было бы считать ВЧК.

Нет, утверждает городской фольклор, тому были иные причины, которые корнями своими уходили в начало XIX века, в эпоху императора Александра I. В то время в Петербурге стало широко известным имя дочери действительного статского советника Фитингофа, модной писательницы баронессы Юлии де Крюденер, которая после неожиданной смерти своего мужа впала в мистицизм и, обладая незаурядной силой внушения, начала пророчествовать. Последовав за Александром I во Францию, эта «Петербургская Кассандра» долгое время жила в Париже и возвратилась в Петербург только в 1818 году.

Однажды, проходя по Гороховой мимо дома своего отца, она впала в прострацию и увидела, как по стенам ее квартиры стекали потоки крови. Кровь проникла в подвалы, заполняя их доверху. Очнувшись от жуткого видения, она обернулась к сопровождавшим ее друзьям и будто бы воскликнула: «Через сто лет в России будет так же, как во Франции, только страшнее. И начнется все с моего дома».

Говорят, Дзержинский был хорошо знаком с мистическим пророчеством баронессы де Крюденер. И то ли собирался всей своей деятельностью на посту председателя Чрезвычайной комиссии опровергнуть его, то ли хотел доказать, что речь в предсказании шла о «кровавом царском режиме» и к советской власти никакого отношения иметь не может. Но именно вспомнив о пресловутой баронессе и ее пророчестве, Дзержинский будто бы заявил: «Здесь, в этом доме, и будет работать наша советская чрезвычайная комиссия». Нет надобности повторять, что из этого вышло.

Шли годы. Менялись аббревиатуры: ВЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. И неизменной оставалась суть деятельности всех этих организаций — правопреемник знаменитой ВЧК, во главе которой стоял негибимый ленинец Феликс Дзержинский. На протяжении всех лет существования советской власти коммунисты пытались представить его как человека, беззаветно преданного делу коммунизма. В глазах простых советских людей он должен был выглядеть рыцарем, положившим свою жизнь ради светлого будущего всего человечества. Этаким беззаветно преданным романтиком революции. Образ Дзержинского широко использовался в советской пропаганде. Вот как об этом говорится в одной из речевек советских пионеров и школьников:

Будь, как Дзержинский,
Честным и смелым,
Верность Отчизне
Доказывай делом!

Этот широко разрекламированный образ успешно использовался в театре, кино, художественной литературе, других жанрах советского искусства. Достаточно напомнить знаменитые строчки из поэмы Владимира Маяковского «Хорошо!»:

Юноше, обдумывающему житье,
решающему
сделать жизнь с кого,

скажу не задумываясь:
Делай ее с товарища Дзержинского.

Понятно, что город трех революций Ленинград не мог отстать от других городов в прославлении «верного ленинца» Феликса Дзержинского. Первый памятник ему, созданный скульптором А. С. Крыжановской, был открыт 8 сентября 1930 года на территории Лопухинского сада, тогда же переименованного в сад Дзержинского. Двухметровая фигура «бесстрашного рыцаря революции» в характерной кожанке и сапогах стояла почти скрытая от оживленного Кировского проспекта, как тогда назывался Каменноостровский проспект, густыми кустами разросшейся сирени. По преданию, ленинградские власти будто бы специально «прикрыли» выполненного из алебастра Железного Феликса, так как в чекистских кругах было известно, что Сталин недолюбливал друга и соратника Ленина. По другому преданию, однажды на вывеске «Сад Дзержинского» исчезла заглавная буква «С», и ленинградцы долгое время приглашались войти в «ад Дзержинского». Только после смерти «великого кормчего» в 1953 году кусты вокруг памятника были вырублены. Но в 1992 году памятник Дзержинскому был все-таки демонтирован.

В 1952 году на территории Высшего военно-морского училища имени Ф. Э. Дзержинского была установлена статуя Дзержинского. Скульптура была выполнена из бронзированного бетона на гранитном постаменте.

Наконец, в 1981 году в Ленинграде, на улице Воинова (ныне Шпалерной), в непосредственной близости от Смольного был открыт памятник этому романтику революции. О его открытии сохранилась удивительная легенда. Как обычно, по случаю торжества был организован многолюдный митинг с оркестром, лозунгами, речами, прессой и другими неизменными атрибутами того времени. Когда отговорили дежурные слова и отзвучали привычные праздничные марши, наступил момент рождения нового памятника. И тут, как рассказывает легенда, в отлаженном ритуальном действе произошел сбой. Когда к подножию упало белоснежное покрывало, онемевшие от изумления участники торжества увидели на бронзовой шее неподкупного ленинца затянутый петлей кусок металлического троса. Видимо, монтажники оставили его при установке памятника. Эффект ужаснул присутствовавших. Над площадью повисла зловещая тишина. Только через несколько минут, показавшихся вечностью, среди растерянной толпы, продолжает легенда, суетливо забегали молчаливые и деловитые юноши в штатском, высматривая и тут же конфискуя фотоаппараты, теле- и видеокамеры.

Кажется, это был последний монумент коммунистической эпохи в Ленинграде.

Впрочем, как в польском, так и в российском народе Дзержинскому воздвигнуты свои памятники. О возглавляемой им ВЧК, аббревиатуру которой расшифровывали «Всякому Человеку Конец», слагали частушки:

Эх, яблочко,
Куда катишься?
В ВэЧеКу попадешь,
Не воротишься.

Его самого называли Козлобородый, Красный Палач и Упырь Феликс. О нем рассказывали анекдоты, достойные стать жемчужинами в арсенале петербургского городского фольклора. Вот только один из них: «Товарищ Дзержинский, к вам польский посол». — «Введите».

После подавления польского восстания 1863 года царское правительство закрыло все университеты на территории Польши. Это привело к массовому наплыву польской студенческой молодежи и научной интеллигенции в Петербург. Согласно сетевой энциклопедии Википедии, только с 1890-го по 1910 год количество поляков в Петербурге увеличилось чуть ли не вдвое и достигло 65 000 человек. К началу XX века в столице было 27 католических костелов и каплиц (часовен), основными прихожанами которых были поляки. Однако последовавшие затем события 1917 года, Гражданская война и сталинские репрессии привели к тому, что уже к 1939 году количество поляков едва превысило отметку в 20 000 человек. Стремительный отток поляков из Петербурга не прекращается до сих пор. К 2010 году, согласно официальному сайту Всероссийской переписи населения, на который ссылается интернет-энциклопедия Википедия в статье «Поляки в Петербурге», их осталось, страшно сказать, всего 2647 человек.

Однако понятие «Польский Петербург» сохранилось. И не только благодаря храмовым сооружениям, разбросанным по всему городу, или Московским воротам с обидной, если не сказать, оскорбительной для поляков посвятельной надписью, составленной лично Николаем I: «Победоносным российским войскам, в память подвигов в Персии, Турции и при усмирении Польши в 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831 годах». Но в значительной степени благодаря бережно хранимому в совокупной памяти петербуржцев богатому городскому фольклору о петербургских поляках, вся жизнь, деятельность и творчество которых являются неотъемлемой частью петербургской истории и культуры, о чем мы и старались рассказать читателям в этом очерке.



Путь к читателю

Марина КЛЕМЕНТЬЕВСКАЯ

БОРИС ВИКТОРОВИЧ ШЕРГИН. (НЕ)ЮБИЛЕЙНОЕ

Шергин. Это имя как пароль, который помогает отличить своего человека от чужого. Так с большой любовью и огромным уважением писала о нем исследовательница его творчества Е. Ш. Галимова.

Мне, студентке филологического факультета, на ум приходит немного другое: называешь фамилию Шергина преподавателю — улыбается и кивает, знает, помнит; называешь студенту — в глазах недоумение, смущение, но стоит напомнить мультфильмы по его сказкам — улыбается, это из самого детства, такое не забывают. Удивительно, но все, что удается наскрести в памяти студента о мастере слова, мастере сказа Борисе Шергине — это пара мультфильмов. Ну, хоть что-то, совсем исчез он из памяти молодежи.

Впрочем, забывать его стали еще при жизни. Последние годы слепой писатель жил более чем бедно, а на его похоронах людей было ужасающе мало. Странно? Причины вполне понятны тому, кто читал рассказы Шергина и хоть немного знает историю России советского периода.

Разве мог быть принят советской властью молитвенный свет его произведений? Разве нужны были такие люди, каких он описывает и какими призывает быть? Удивляешься скорее, как такое могло быть напечатано, как автор избежал преследований, как мог почти всю свою жизнь обитать в Москве, оставаться членом Союза писателей, выступать на радио. Впрочем, и этому есть разумное объяснение. Любой запрет, любые гонения на автора — ведь это уже своего рода реклама. Власти избрали для Шергина другую казнь — казнь забвения.

Марина Валентиновна Клементьевская родилась в 1994 году. Бакалавр кафедры русской литературы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Живет в Санкт-Петербурге.

Видимо, поэтому, хотя со смерти писателя прошло не так уж много времени, в его биографии остается так много неясного, а исследование его жизни и творчества напоминает работу детектива. Ведь мы даже не можем с полной уверенностью сказать, что в этом году ему исполняется именно 120 лет, а не 123 года.

Всю жизнь Шергин указывал годом своего рождения 1896-й. Причем не только напрямую, но и косвенно. Например, в автобиографии для журнала «Нева» он писал: «Когда мне было 19 лет, в архангельских газетах появились первые мои рассказы о Севере, о северных людях». И ведь первый рассказ его был опубликован именно в 1915 году. И все поздравления с юбилеями от Союза писателей появлялись в печати в соответствии с 1896 годом рождения.

Однако вскоре после смерти Шергина была обнаружена метрическая книга, в которой его рождение зафиксировано под 1893 годом. Загадкой остается, почему Борис Викторович всю жизнь называл другую дату. И которая из них правильная. Ведь человек такой глубокой веры, такой удивительной нравственности не мог всю жизнь обманывать. А попытки прижизненной критики сделать из Шергина шутика-мистификатора не выглядят убедительными и скорее похожи на продолжение кампании по забвению.

Впрочем, на этом биографические загадки не заканчиваются. Известно, что, будучи совсем молодым, Шергин потерял ногу и был вынужден всю оставшуюся жизнь носить протез. Однако саму катастрофу биографы описывают по-разному: одни утверждают, что писатель попал под трамвай, другие — что это была вагонетка на принудительных работах во время интервенции. Сложно представить ситуацию, в которой человек, потеряв ногу и став на всю жизнь инвалидом, забыл бы о причине своего несчастья. Значит, дело не в памяти, а в чем-то другом. В чем? Здесь, впрочем, все немного понятнее: он мог изменить вагонетку на трамвай в своей автобиографии потому, что во время интервенции работал на белых и не хотел упоминать об этом в советское время.

Есть и еще один факт из биографии Шергина, на который стоит обратить внимание. Писатель, все творчество которого посвящено Архангельску, Поморью, Белому морю (его он трепетно называет Гандвиг), совсем молодым уехал из родного города в Москву, отучился в Строгановском училище и почти всю жизнь прожил в столице, которой, кстати сказать, не посвятил ни одного, если не считать дневников, произведения.

Таким образом, практически все произведения Шергина, действие которых происходит на Севере, написаны были далеко от места действия — в Москве. Знаменитый северный писатель провел на Севере только детство и раннюю юность.

С этим связана, должно быть, та особая, ласковая, трепетная интонация, которую приобретает сказ писателя, когда он описывает свою далекую недостижимую Родину, ведь из-за ухудшающегося зрения и инвалидности, а также из-за тяжелого материального положения поездки в Архангельск стали для него недопустимой роскошью, мечтой, светлым сном об утерянном рае. Слово «рай» здесь совсем не случайно — в беседе с писателем и художником Юрием Ковалем Шергин так ответил на вопрос о том, что такое для него рай: «Это — мое детство в Архангельске, живы отец и мать...»

Впрочем, возвращение было невозможно и по другой причине: тот Архангельск, который с трепетом вспоминает Шергин, например, в рассказе «Двинская земля», к тому времени уже не существовал больше нигде, кроме воспоминаний самого писателя. Время шло, город менялся. Отгремела революция, и Архангельск из чудесной деревянной сказки, в которой господствовал патриархальный быт XVII века, превратился в один из индустриальных областных центров СССР.

И только в рассказах Шергина, как в волшебном заповеднике памяти, сохранились образы этого сказочного мира, населенного людьми воистину удивительными, духовными и душевными, такими, какими их запомнил маленький Борис Шергин.

Все в шергинском Архангельске ладно, красиво: «Улицы в Архангельском городе широки, долги, прямы. На берегу или у торгового звена много каменного строения, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками, зеленью, ультрамарином, белилами.

Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие «мостки» для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым — весело и резво».

Очень приятно было бы верить, что только революция виновата в исчезновении этих удивительных поморов-богатырей, этого сказочного быта, этого изумительного города, в котором даже деревянные «мосточки» помогают быстрее и легче бежать по миру. Но, право, не обманула ли писателя память? Иными словами, был ли тот сказочный город, о котором пишет Шергин, на самом деле или красота его была только в глазах смотрящего, а точнее — вспоминающего?

Этнограф академик Максимов, посетивший город в конце XIX века, описывает его совсем в других красках: бедность, упадок торговли, обилие немцев, скупая архитектура, затухание народных ремесел, люди — неприветливые, неразговорчивые. Как же так, почему такие разные описания дают два этих автора? Почему, прочитав рассказы Шергина, группа молодых людей начала копить деньги на поездку в Архангельск (так гласят воспоминания друзей писателя), а после слов Максимова ехать туда совсем не хочется? Кто из них прав?

Видимо, по-своему правы оба. Ведь Шергин пишет не документальные очерки, а художественные произведения, и требовать от него объективности и точности изображения мы не вправе. Кроме того, пишет он не о реальном Архангельске, а о том прекрасном, сказочном, почти райском воспоминании детства, которое видится ему вдали от утраченной родины.

Идеализация? Да. Ложь? Нет. Скорее, светлая мечта-воспоминание о рае, населенном людьми, напоминающими святых и ангелов. Вот как, например, говорит героиня рассказа Шергина «Гость с Двины» своему благодетелю Андрею Двинянину: «Господине, господине! Человек ты или ангел? От сотворения мира не слыхана такая великая и богатая милость!»

Ведь это есть у многих авторов, правда, чаще в поэзии. Вспомнить хотя бы описания райских куш в ранней лирике Набокова. Проза Шергина наравне с этими произведениями дает читателю возможность уйти от темной, тяжелой, гнетущей обыденности к светлой сказке, к почти что утопической Архангельской стороне. Дает возможность отдохнуть, помечтать, представить себе место, где добро всегда торжествует, где детство всегда счастливое, родители — внимательные и справедливые, люди вокруг честные и праведные, где за зимой всегда придет лето, а за летом — зима, и закончится судоходная пора, и все вернутся домой. Где смерть не страшна, ведь она не все заберет у человека, а только свое. Где природа все видит, все слышит, всех рассудит по справедливости.

Где «от Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвиг. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат и леса стоят. Где берег возвыше,

там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо».

Этой мечтой, наверно, жил и сам Шергин, в ней спасался от жизненных тягот и невзгод. А их было предостаточно. По воспоминаниям писателя, однажды, встретив его, профессор Маргулис, обычно довольно скупой на сантименты, сказал: «Не много ли для одного человека?»

Много, очень много пришлось пережить, перестрадать. Из-за травмы Шергин вынужден был отказаться от любимой невесты — не хотел, чтобы ей пришлось связать свою жизнь с калекой. В Москве он жил в темном полуподвальном помещении, жил очень бедно, почти нищенствовал. Одолевали болезни, мучили головные боли, стремительно слабело зрение, последние произведения записывали под диктовку автора его родственники: сестра, племянник. Много несчастий ему пришлось пережить. Но ни одно из них не смогло заставить его отказаться от веры в людей, от светлого взгляда на мир.

Да, печатали Шергина неохотно, но ведь и писал он не так много. Зато каждое свое произведение оттачивал, обкатывал, как ясную жемчужинку. Каждый раз, переиздавая свои старые рассказы, Шергин что-то в них меняет, подправляет, уточняет. Чаще всего меняются знаки препинания. Казалось бы, мелочь. Но ведь именно они отражают интонацию, с которой звучит печатное слово сказителя, запечатленная речь его. Каждая новая редакция рассказов оказывается словно бы фотографическим снимком того, как произносил их сам автор, который очень большое внимание уделял звучанию своих произведений. Это действительно сказания, попавшие в писания, если воспользоваться словами самого Шергина.

Каждое свое произведение он много раз в разных вариантах рассказывал, выступал с ним и только после этого запечатлевал — записывал и публиковал. Но и на этом история не заканчивалась: словно живые, произведения Шергина продолжали меняться в его выступлениях, а значит, и на бумаге — и в каждой следующей книге наравне с новыми появлялись переработанные варианты старых рассказов.

Такая тщательная, никогда не прекращавшаяся работа Шергина над произведениями позволила Федору Абрамову, земляку писателя, назвать его мастером слова. Постоянное внимание к словам, к интонациям — вот, быть может, главные характеристики стиля Шергина. Его произведения напоминают наполненные самоцветами шкатулки: внимательный читатель обнаружит в них и изумруды старославянизмов, и причудливые кораллы поморских словечек, и потемневшее золото архаизмов, и разноцветные ракушки диалектизмов. Шергин играет с ними, подбирает яркие древние формы слов, но каждый раз их сочетание не кажется аляповатым: вкус автора, его внимание к слову позволяет сохранить стройность речи, ее органичность и ясность.

Все в его произведениях имеет смысл, каждое слово выполняет свою особую функцию: придает речи торжественность и молитвенную сосредоточенность, или, напротив, слегка подтрунивает над простоватыми жителями Поморья, передавая их меткие просторечные выражения, или помогает глубже погрузиться в жизнь мореплавателей и кораблестроителей через их особую терминологию. Каждый персонаж мира рассказов Шергина говорит по-своему, со своими особыми интонациями, выражениями, каждому дана своя речевая характеристика. Даже если автор не описывает внешний облик персонажа, читатель может представить его себе по тем репликам, которые он произносит.

Такая органичность соединения очень разных пластов лексики объясняется биографией Шергина: так говорили у него дома, когда он был маленьким. Судостроительные и мореходные термины он слышал от своего отца, который ходил

в море и строил корабли. Диалектные выражения и архаизмы — от бабушек и тетушек. А церковнославянскую лексику он узнал от матери, которая очень любила старинные религиозные книги и была настоящим знатоком старообрядчества. И вот прожив немало времени в Москве, Шергин сохранил речь своих родных и наделил ею своих персонажей.

Так, может быть, в этом особом языке и нет никакой заслуги автора, может, он просто не умел писать иначе, может, это и была его настоящая речь, речь архангельского мужичка, в которой намешаны и диалектные словечки, и устаревшие, и даже просторечные выражения? Нет, Шергин был образованным и высококультурным человеком. Он окончил Строгановское художественное училище в Москве, занимался наукой — изучал фольклор родного края, работал в Институте детского чтения. Если недостаточно биографических данных, обратимся к его произведениям.

Только невнимательному читателю может показаться, что все они написаны одним и тем же языком. На самом деле каждый рассказчик Шергина говорит по-своему: модная портниха то и дело добавляет в свою речь французские фразочки, молодой моряк — морские термины, художник — профессиональные названия материалов... А в речи рассказчика автобиографических текстов Шергина можно выделить несколько регистров.

Один — это торжественная высокая речь, в ней много архаизмов, а вот просторечные выражения в ней отсутствуют, синтаксические конструкции построены по всем правилам риторики:

«Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.

В море долги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на струны, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб, — голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится».

А другой — это веселый сказ одного из «своих», из архангельских, тут не будет архаизмов, зато много диалектизмов, просторечий, синтаксис близок к разговорному: «Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь... Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь».

Переходы от регистра к регистру, как и, например, в произведениях протопопа Аввакума, которого очень любил Шергин, обусловлены тематикой повествования: если речь идет о величии Архангельской земли, о героических поступках ее сынов, то регистр будет высокий, торжественный, если же рассказчик повествует о смешных эпизодах из собственной жизни, то и регистр будет соответствующим — веселым, почти комическим. Шергин будто бы подбирает разные интонации, которые когда-либо были им услышаны на Родине.

Он вообще был очень внимательным слушателем, и сюжеты многих его рассказов основаны на том, что он слышал от жителей Поморья. Таков, например, рассказ «Митина любовь»: по воспоминаниям Шергина, он услышал эту историю от молодого солонбальского моряка, запомнил и на основе его повествования создал этот чудесный рассказ. И это только один из множества подобных случаев.

В чем же тогда мастерство Шергина, если почти все его сюжеты придуманы не им самим? В умении слушать и оттачивать услышанное повествование, придавать ему форму. Здесь как нельзя кстати оказывается высказывание Федора Сологуба о творчестве: «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт». Точно так же поступает и Шергин: он берет необработанный, неограниченный алмаз народной речи и создает из него истинный бриллиант русской литературы, берет свои детские воспоминания об Архангельске и творит

сладостную легенду об удивительном городе и удивительных людях, его населяющих, легенду о рае на земле.

К несчастью, советской критике это не могло понравиться. Вышедшая в 1947 году книга «Поморщина-корабельщина» была встречена очень плохо. Всему виной доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и последовавшие за ним изменения в политике Союза писателей. Критики обвинили Шергина в идеализации изжившего себя патриархального быта, говорили, что его произведения «пахнут церковным ладаном и елеем», наполнены псевдонародной идеологией.

И Шергин снова, как это было в книге «У песенных рек» (1939), в которой он опубликовал цикл «Сказы о вождях», вынужден был пойти на поводу у советских критиков и цензоров: из вышедшей в 1957 году книги «Поморские были и сказания» убраны многие диалектные слова; убрана церковная лексика («крестовые братья» стали вдруг «названными»); убраны слова о поморской Валгалле — Гусиной земле, где птицы беседуют с мертвыми; убраны слова о Страшном суде, об отходной, которую поют погибающие в открытом море перед смертью; название старообрядческой книги «„лица“ — миньютюры „Винограда российского“» заменено на нейтральное «разноцветные рисунки».

Убрано все то, что вызвало нарекания критиков. Все то, что составляло особую прелесть языка Шергина, особую духовную глубину его художественного мира. Но уже в следующей книге «Океан-море русское», спустя всего два года, все возвращено к старой редакции, яркая, живая манера повествования Шергина восстановлена.

Этим эпизодом, увы, не исчерпываются литературные мытарства Шергина. В 1950-е годы обрушилась на него история с так называемым подлогом: он помог полярнику К. С. Бадигину — дал ему свой список древней рукописи «Хождение Ивана Олельковича сына Новгородца», на которой тот построил свою диссертацию о кораблестроении в Древней Руси. Защита прошла успешно, но вскоре разразился ужасный скандал: подлинность рукописи была подвергнута сомнению, Шергина обвинили в подлоге. Группа ученых из Пушкинского Дома вынесла неутешительный для писателя вердикт: рукопись поддельная.

Каждый человек, хоть сколько-нибудь знакомый с биографией Шергина, с его отношением к миру, с его требованиями к себе, мог бы понять, что умышленный подлог был бы для него совершенно невозможен. Наиболее вероятным кажется объяснение, данное самим писателем: он не стремился слово в слово переписать рукопись, он копировал ее для своих личных целей, и потому ни о какой филологической точности тут не может быть и речи — она попросту не была ему нужна. А именитые лингвисты ждали точного воспроизведения древней рукописи и анализировали представленный им текст с этих позиций.

Кроме того, Шергин готовил рукопись для своих выступлений перед юношеской аудиторией, а значит, нет ничего удивительного в том, что многие сложные для детского уха древние формы были им упрощены, заменены более современными. Невнимание ученых к таким подробностям истории создания шергинского списка «Ивана Новгородца» и повлекло за собой печальный для автора итог: Шергин объявлен лжецом, обманщиком, его никто не хочет слушать, выступления его прекращаются, издатели не хотят публиковать его произведения. Всю оставшуюся жизнь писатель вынужден был доказывать свою невиновность, разгадывать, пожалуй, роковую загадку собственной жизни: был ли он обманщиком или нет.

Загадка эта, впрочем, до сих пор не получила окончательного решения. Как уже было сказано выше, работа филолога над биографией и текстами Шергина оказывается сродни работе детектива, следователя: поиск свидетелей, доказательств, разгадывание тайн его жизни, попытки оправдать автора удивительных рассказов, очистить

историю его жизни от наносной грязи, от лжесвидетельств, от попыток его оговорить. Ведь и этого тоже немало: ученые, например, пытались объяснить историю с подлогом пристрастием Шергина к алкоголю — совершенно невозможное для праведника и приверженца старообрядческих идей, каковым являлся писатель.

В романе Рэя Бредбери «451° по Фаренгейту», как мы помним, сказано: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их». Книги Шергина никогда не запрещали, их автор не был репрессирован, но с ними поступили хуже. Их автора оговорили, сделали так, чтобы ему не верили, чтобы его не читали. Что же было такого в произведениях Шергина, чтобы с ними так поступили? Разве есть в них что-либо антисоветское? Не думаю. Напротив, во многих своих рассказах Шергин пытался примирить патриархальный быт поморов с новой советской жизнью.

Например, в рассказе «В отnose морском» герои едва не погибают в открытом море из-за того, что не хотят вступать в организуемые советской властью артели, противопоставляют себя коллективу. А в рассказе «Лебяжья река» мастера осваивают «новую тематику»: расписывают блюда самолетами, кораблями, советскими звездами. Между прочим, такие работы — это не выдумка автора: блюда и шкапулки, украшенные изображениями советских чудес техники вплоть до подводных лодок, можно встретить в музеях Архангельска.

И все-таки самые светлые рассказы Шергина связаны с дореволюционным Архангельском, с древними легендами, многие из которых наполнены религиозным чувством. Главным для героев его произведений оказываются семья, дом, природа, а не политические проблемы. Революция для них прошла незаметно, прошла мимо них. Быт их напоминает дореволюционный жизненный уклад.

Новые советские ценности не перекрывают для них то, что было важно для поморов всегда: внимательное и чуткое отношение к детям, к своей семье, честность по отношению к товарищам, милосердие к слабым, уважение к старшим, любовь к старинным книгам и преданиям и, конечно, глубокая привязанность к морю. Классовая борьба, социализм, партия оказались для этих людей пустым звуком. Им это было не нужно. А потому и они оказались не нужны советской власти.

Устой и принципы, которые Шергин воспевал в своих произведениях, отнюдь не были антисоветскими, до прямых высказываний против нового режима он доходил только в своих дневниках. Но не были они и советскими. Шергин призывал в своих произведениях к вечным идеалам человечности, а не к преходящим ценностям советской эпохи. Результатом этому стала та самая казнь забвением, о которой речь шла выше.

Непонятно только одно. Советская эпоха закончилась. Почему же не возвращается на пантеон великих русских писателей Борис Викторович Шергин? Впрочем, может быть, здесь все и не так плохо. Недаром ведь издающиеся сейчас тома собрания сочинений почти сразу после выхода становятся библиографической редкостью. Издание это очень красивое, с иллюстрациями — картинами самого Шергина, художника по образованию, и его фотографиями. Единственное, чего не хватает этим книгам, — хорошего комментария.

Своеобразие языка Шергина, обилие архаизмов и диалектизмов, его яркие описания поморского быта оказываются непонятными современному читателю. А если этот читатель к тому же не архангелогородец, то от него ускользают и всевозможные указания на совершенно конкретные места города, о которых идет речь в произведениях Шергина. Иными словами, если мы хотим, чтобы талант этого удивительного сказителя открылся как можно большему количеству читателей, комментарий просто необходим.

Но что может дать современному человеку Шергин? Зачем нам сейчас вспоминать о нем? Помимо удивительной красоты слога, произведения Шергина способны подарить читателю убежище от житейских невзгод. Они наполнены светлой радостью, ясным чувством «веселья сердечного», как назвал это сам автор. Читая его рассказы, ощущаешь, каким удивительно прекрасным может быть человек, если он честный, милосердный, внимательный к чужим горестям, умеет радоваться чужому счастью, если он находится в гармонии с миром, если он живет творчеством, если жизнь его полна весельем и радостью.

Но радость эта особенная. Радость возникает у героев Шергина только от свершения праведных дел, только тогда, когда радуются все вокруг. Радость для них невозможна, если она достигается за счет горестей для других. Так, например, не может обрести счастье Кирик в рассказе «Любовь сильнее смерти», потому что для его достижения он убил своего названного брата Олешу. Не может быть счастлив и Егор в рассказе «Егор увеселялся морем», пока не устраивает жизнь своей жены и любимого ею человека. Шергинское чувство радости всегда сопряжено с радостью ближнего, это всегда сорадование.

Веселье сердечное — это и то, что должно сопутствовать любому делу, будь то кораблестроение, хождение в море или художественное творчество. Шергинские мастера, а это особый пласт текстов — рассказы о мастерах своего дела, народных художниках и корабелях, каждую работу выполняют на совесть, как истинное произведение искусства. Но это не те произведения искусства, удел которых — пылиться в музеях. Каждая созданная ими вещь имеет практическое применение: это ткань, из которой можно сшить красивую добротную одежду, это мебель, которая украсит любую комнату и будет долго служить своему хозяину, это корабль, который понесет в море славную команду поморов. Художество и практическое применение для шергинских мастеров нерасторжимо связаны друг с другом, только тогда созданные ими вещи способны подарить то самое веселье сердечное и мастеру, и хозяину.

Но ошибкой было бы считать, что все произведения Шергина только о мастерах и их работе. Мир его рассказов велик и многогранен, в нем есть семья, дружба, любовь, жизнь и смерть, приключения, злоключения, всесильная морская стихия и уют дальнего родного берега. Он не ограничивается мастерской и трудовыми буднями. Неизменным остается только место действия — Архангельская земля, светлый образ которой проходит через все произведения Шергина.

При том, что в его рассказах мы можем встретить персонажей удивительной нравственности, Шергин никогда не опускается до банальных назиданий. Он только показывает нам, читателям, каким может быть человек, но не говорит при этом, что всем следует быть такими. Да ведь и герои его не картонные образцы добродетели — они тоже не всегда правы, не всегда поступают так, как велит им совесть. Однако, осознав свою ошибку, они всегда стараются ее исправить.

Произведения Шергина — это настоящий клад мудрости и веселья, и очень сложно найти человека, которого бы не заставили улыбнуться забавные рассказы о жизни иногда простоватых и наивных, но таких трогательных архангельских жителей. И очень жаль, что современный читатель не знает такого удивительно-го автора, каждый рассказ которого и есть то самое веселье сердечное. И не так уж важно оказывается, когда именно он родился, празднуем ли мы юбилей Шергина в этом году или нет, если это дает нам возможность сказать несколько слов о нем самом и о его произведениях.

Я встречала людей, которые никогда ничего не слышали о Шергине. Я встречала людей, которые слышали о нем, но ничего не читали. Но мне еще ни разу не встре-

тился человек, который бы читал рассказы Шергина и которому они бы не понравились. Каждый, познакомившись с этим удивительным автором, уносит в своем сердце частичку того самого веселья, той радости, которая, быть может, только одна и способна уберечь наш мир, сохранив в человеке человеческое. И в наших силах спасти эти удивительные рассказы от казни забвения, а значит, уберечь что-то в своей душе от гибели и разрушения.

PRO ET CONTRA

Владислав БАЧИНИН

ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕФОРМАЦИЯ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА (Теологическая эстетика исторического)

Многомерность Реформации

На европейскую Реформацию XVI века смотрят с самых разных точек зрения: исторических, теологических, философских, морально-этических и т. д. Но есть одна позиция, с которой ее почти не рассматривают. Это эстетическая точка зрения. Она небезынтересна и позволяет добавить к общей картине экстраординарного исторического макрособытия несколько новых, отнюдь не лишних штрихов.

Если мы, к примеру, захотим выстроить некую рациональную конструкцию, воссоздающую смысловые пропорции феномена Реформации, то нам вряд ли удастся обойтись без эстетических критериев. Эти пропорции просто обязаны будут подчиниться эстетическим требованиям. В противном случае вместо стройных и продуктивных культурно-исторических построений будут возникать не слишком вразумительные теоретические химеры с громоздящимися, торчащими в разные стороны конструктами, серьезно портящими общую картину величественного исторического действия.

Невероятная сложность той духовной проблематики, которая составляет содержание Реформации, требует серьезных усилий для ее освоения. Здесь уместно вспом-

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

нить одно высказывание Карла Барта. В 1964 году он в выступлении на парижском ТВ пояснил суть своей тринадцатитомной «Церковной догматики» с помощью простой динамической метафоры. Мол, тема божественного откровения, главная для него, — это очень красивая и величественная гора. А он — всего лишь путешественник, который многократно обходил ее, любуясь красотой и стремясь передать свои впечатления другим людям, чтобы и они приобщились к этой красоте.

Тема Реформации также требует подобных эстетически мотивированных обходов и описаний. В составлявших ее содержательное ядро смыслах и ценностях, в огненных всполохах героического и трагического, в эксцессах возвышенного и низменного, прекрасного и безобразного человек проявился во всей полноте своей природы.

Каждого, кто пробует окунуться в этот сложнейший материал, подстерегает опасность потонуть в нем. При этом наиболее уязвимыми оказываются позиции обладателей секулярного сознания, являющихся любопытствующими гостями в библейско-христианском мире. Гуманитария с атеистическим мышлением, даже если он умен и образован, трудно выдержать схватку с фактографической стихией исторических и богословских данных о лютеровской Реформации. И это не преувеличение. Тем, кто не имеет собственного религиозного опыта, просто невозможно постичь суть той духовной драмы, которая поначалу вспыхнула внутри молодого Мартина Лютера, а затем разыгралась на гигантской сценической площадке европейского континента.

Характерным примером крайне поверхностного истолкования событий Реформации служит известная работа Ф. Энгельса «Крестьянская война в Германии» (1850). Это опыт максимального заземления высшего смысла и духовного пафоса Реформации, сугубо атеистическая попытка варварского препарирования реформационного дискурса и изгнания из него всякой мысли об его трансцендентной составляющей.

Энгельса совершенно не интересовало теологическое содержание споров между Лютером и его противниками. Для него это были всего лишь «яростные богословские перебранки», затемнявшие суть дела и потому достойные пребывания на отдаленной периферии проблемного пространства. Его собственный анализ был подчинен простой схеме из трех пунктов: 1) социальная среда рассечена на богатые верхи и бедные низы; 2) среди последних неотвратимо вызревают гроздь гнева; 3) антагонизм между бедными и богатыми движет всеми событиями, определяет динамику всех реформационных процессов.

Энгельса интересовали только два типа мотивов — экономические и политические. Все прочие, в том числе религиозные мотивы, для него второстепенны. Ему были важны только отношения межклассовой вражды. Потому мотивации реформаторов и их сторонников трактовались им с недопустимо грубой упрощенностью.

Склонностью к упрощениям отмечена и трактовка Энгельсом исторической динамики всей средневековой цивилизации. Эпоха, на протяжении которой религиозные мотивации доминировали в большинстве общественных движений, изображалась темными и дикими веками. Средневековье обвинялось в том, что будто бы стерло с лица земли античную цивилизацию, древнюю философию и юриспруденцию, вручило попам монополию на интеллектуальное образование, придало догматам церкви силу политических аксиом, превратило все науки в отрасли богословия. То есть получился зловещий карикатурный образ, достойный находиться в одном ряду с современными нам атеистическими карикатурами парижского еженедельника «Charlie Hebdo».

Между тем драма Реформации разыгрывалась не только на социально-политических подмостках, но и в духовном пространстве. Европа XVI столетия стала не только исторической площадкой ожесточенной борьбы церковных интересов

и ареной кровавых общественных антагонизмов, но и театром духовного кризиса, где в качестве действующих лиц выступили возвышенные богословские идеи теологов-реформаторов и героические религиозные мотивы двинувшихся за ними сотен тысяч европейцев из разных стран. Благодаря им Реформация явила собой героическую религиозно-историческую драму невиданной силы. И мощь эта была такова, что передать ее высокий дух и нравственный смысл мог разве что гений дантовского или шекспировского масштаба.

Гегелевский метод исторического эстетизма

В желании прибегнуть к эстетическим ресурсам гуманитарного познания нет ничего странного и неуместного. Гуманитарии всегда любили и умели пользоваться эстетическими критериями при выстраивании своих теорий. Известно немало видных аналитиков, которые пытались рассматривать отдельные фрагменты социально-исторической реальности в качестве произведений искусства. Достаточно сослаться на несколько примеров.

Так, Г.-В. Гегель использовал в своих лекциях по философии истории словосочетание «политическое художественное произведение». Он прилагал его к государству, то есть к предмету, казалось бы, не предназначенному для эстетических оценок. Философ рассуждал о типе античного греческого государства-полиса и говорил, что его демократические структуры демонстрировали «прекрасную телесность». Мол, даже рабство не мешало грекам, а напротив, способствовало утверждению «прекрасной демократии». А благодаря последней развивались пластичные, целостные характеры граждан. Греческий дух блистал нравственной красотой, крепостью, зрелостью и многими политическими доблестями.

Древние Афины, согласно Гегелю, были не просто городом, а настоящим «политическим художественным произведением», где у гражданина имелись великолепные возможности развиваться в «художественное произведение свободной индивидуальности».

Якоб Буркхардт: государство как произведение искусства

Во второй половине XIX века по стопам Гегеля двинулся швейцарский историк культуры, профессор Базельского университета Якоб Буркхардт (1817–1897). В его труде «Культура Возрождения в Италии» (1860) предметом исторической эстетизации стали уже не античные полисы, а итальянские государства эпохи Ренессанса, которые он также называл «произведениями искусства».

Сказались, вероятно, личные художественно-исторические пристрастия ученого. Буркхардт любил искусство и имел склонность к эстетическому оформлению своих восприятий реальности. А поскольку прошлое интересовало его больше настоящего, то обращенная в прошлое, ретроспективная эстетизация отдельных исторических реалий стала для него одним из методов осмысления социокультурной жизни Европы. Он увидел в средиземноморских ренессансных государствах социально-политические институты, чья жизнь определялась прежде всего состоянием их культуры.

Ни Гегель, ни Буркхардт не оставили нам развернутых концепций государства как произведения искусства. Их рассуждения не поднялись выше уровня красивой, интригующей метафоры. Они ограничились всего лишь общими историко-культурологическими декларациями. Но их попытки не остались незамеченными.

Самое удачное в эстетическом послые Гегеля—Буркхардта — это высказанная идея, набросанный ими теоретический эскиз *метода эстетической ретроспекции*. Данной идее невозможно отказать в продуктивности, поскольку она позволяет рассматривать не только государство, но и самые разные социально-исторические структуры и процессы в свете эстетических критериев. Однако для этого требуется добротный теоретический инструментарий, чувствительный к эстетическим свойствам духовных и материальных форм социально-исторической жизни.

Впрочем, далеко не всем благим намерениям на этом пути дано осуществляться. Когда в начале XXI века философы Москвы и Петербурга задумали произвести коллективный мозговой штурм темы «Государство как произведение искусства» да еще попытались приложить ее к российским реалиям, то общий познавательный результат этой акции оказался близок к нулю. Она так и осталась чем-то средним между гуманитарной авантюрой и философским курьезом. И это при том, что сама по себе идея Гегеля—Буркхардта очень не дурна. Правда, ей повредил не слишком удачно выбранный объект приложения, поскольку вряд ли можно отыскать предмет, менее всех отвечающий художественно-эстетическим критериям, чем российское государство. Но в принципе в социально-историческом мире существует множество систем, явлений и процессов, достойных научно-теоретического рассмотрения под эстетическим углом зрения.

К.-С. Льюис: мир как произведение искусства

Вполне удачным можно считать познавательный опыт К.-С. Льюиса, попытавшегося применить метафору *произведения искусства* к умозрительной модели мира. Он признавался, что когда погрузился в изучение средневековой культуры, литературы, философии, теологии, то пережил чувство изумления перед гармоничностью и совершенством той религиозно-философской модели мира, которая довлела над всем этим. Тонкий художественный вкус позволил Льюису оценить ее как культурный шедевр и назвать самостоятельным произведением искусства.

Действительно, в этом творении человеческого духа сошлись векторы творческой энергии множества выдающихся умов. В нем разрешились бесчисленные интеллектуальные противоречия между различными мировоззрениями и теориями. Общая модель оказалась несравнимо выше любых частных фантазий. Ни один из индивидуальных всплесков чьего бы то ни было воображения не достигал той духовной высоты, на которую она оказалась вознесена. Льюис, исполненный эстетического восторга и восхищения, стал даже само слово Модель писать с большой буквы.

Он увидел в ней не сухую умозрительную конструкцию, а прекрасно организованную множественность собранных воедино образов, символов, ценностей, норм, смыслов, идей, истин, идеалов. Он не уставал изумляться удивительно плотной смысловой пригнанностью разнородных элементов друг к другу.

Семантические, ценностные и нормативные пропорции этой Модели выглядели столь возвышенными и прекрасными, что и в XX веке этот гармоничный синтез способен дарить уму и чувствам человека неизъяснимые интеллектуальные и эстетические наслаждения.

Восторги Льюиса были не беспочвенны. Он, наделенный не только незаурядным художественным чутьем, но и сильными аналитическими способностями, в данном случае ничуть не переиграл. Можно сказать, что он занялся восстановлением справедливости. Ему захотелось, чтобы одно из главных достижений средневековой культуры было восстановлено в его эстетических правах. В работе «Отбро-

шенный образ» (1962) он писал: «Я надеюсь убедить читателя не только в том, что эта Модель вселенной — величайшее произведение искусства Средних веков, но и в том, что она в некотором смысле их главное произведение, в создании которого участвовало большинство отдельных произведений, к чему они то и дело обращались и откуда черпали значительную часть своей силы».

Подтверждение своим умонастроениям Льюис нашел у Псевдо-Дионисия, чью иерархическую модель Вселенной он сравнил с фугой.

Теоцентричная модель мира как плод творческих усилий средневекового христианского духа предоставляла богатую пищу уму, воображению богословов, философов, поэтов, художников. Она самым прямым и активным образом участвовала в их творческой деятельности, служила и ментальным фоном, и сеткой координат, и основанием дедуктивных усилий мысли, и организующей ценностной средой, и питательной почвой, и контекстуальным полем движений творческого духа. Ее культуротворческий потенциал выглядел неисчерпаемым, и Льюис это отчетливо осознал и по достоинству оценил. И понятно, что, не будь сам он христианином, мысли и оценки такого рода вряд ли родились бы в его гуманитарном сознании.

Но, пожалуй, самым главным в этой модели было то, что она служила очень простым и совершенно микроскопическим слепком с природы — с того величественного и прекрасного мироздания, которое сотворил Бог. Сам прибегнувший к эстетическому критерию, Он, согласно Книге Бытия, несколько раз оценивает мир как прекрасное творение собственного божественного искусства: «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1, 10, 12).

Х.-У. фон Бальтазар: мир как симфоническое произведение

Один из крупнейших теологов XX столетия Х.-У. фон Бальтазар двигался в том же направлении, что и Льюис. В своем трактате «Истина симфонична» он привел ряд точных по сути и блистательных по форме музыкальных метафор, характеризующих Божий мир, подчиненный трансцендентной силе Творца. Он писал: «Мир похож на огромный оркестр, настраивающий свои инструменты: из оркестровой ямы доносятся разрозненные звуки, между тем как публика заполняет театр, а дирижерское место еще пусто. И все же пианист извлекает из фортепиано звук *ля*, чтобы установить вокруг согласованное звучание, само же *ля* настраивается по некоему таинственному источнику. Также и выбор самих инструментов отнюдь не случаен: их качественные характеристики различаются между собой ровно настолько, чтобы образовать подобие координатной системы. Гобой, возможно, при поддержке фагота, составит хорошее дополнение к группе смычковых, но этого может оказаться недостаточным, если духовые не обеспечат связующий фон для этих противоположных партий. Выбор осуществляется исходя из единства, которое до поры до времени заключено в безгласной партитуре, но скоро, когда дирижер постучит по пюпитру, оно начнет все стягивать к себе, все увлекать за собой, и тогда станет ясно, зачем была нужна каждая отдельная часть».

Своим откровением Бог исполняет симфонию, относительно которой даже трудно определить, что богаче: единая мысль, выраженная в ее композиции, или полифонический оркестр, т. е. все творение, которое он приготовил для исполнения этой симфонии. Прежде чем Слово Бога стало человеком, мировой оркестр — многочисленные мировоззрения, религии, государственные проекты — наигрывал вразнобой, без всякого плана. Иногда возникало предчувствие, что эта какофо-

ния и сумятица — лишь „притирка“ инструментов и что *ля* пронизывает все эти звуки, словно обещание. „Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках...“ (Евр. 1,1). Затем пришел Сын, „наследник мира“ (Рим. 4,13), ради которого и был составлен этот оркестр. И по мере того как под его управлением этот оркестр исполняет симфонию Бога, обнаруживается смысл оркестрового многообразия».

Здесь мы видим, как разворачивается вереница музыкальных метафор: Творец — *автор симфонии*; божественный план упорядоченного бытия — *партитура*; человечество — *оркестр*; критерий истинности — *звук ля*; разноречивых отклоняющихся мнений, противоречащих друг другу интересов и мировоззрений — *какофония*.

Из ансамбля метафор рождается смысл огромной богословской, экзистенциальной, этической и эстетической силы, указывающий на присутствие в мире высшего организующего, обязующего и направляющего начала, которое гарантирует исполнителям и слушателям чудесную гармонию бытия, если те готовы строго и неукоснительно следовать всем его требованиям.

Бальтазар использует метафоры симфонии, какофонии, а далее и полифонии. Эта триада однокоренных, но разных по смыслу слов проливает свет на природу взаимодействия экзистенций с трансценденциями. Она заставляет обратить внимание на то, что Бог, вполне могший сотворить монофонически звучащий мир, создал неизмеримо более сложную партитуру, предполагающую возможность обращения в симфонию любых форм многоголосия и разноголосия.

Все, что создается при участии Бога, несет на себе признаки совершенства, одухотворенности, гармонии. Вселенная, созданная Творцом, предстает как произведение божественного искусства, как шедевр Божественного Художника. Она — подлинно художественное целое, отвечающее самым высоким эстетическим критериям и вызвавшее чувство удовольствия у Самого Художника: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1.31).

Карл Барт: история как синтетическое произведение искусства

Карл Барт в своих размышлениях о Послании к Римлянам апостола Павла уделил большое внимание богословию истории. Для него история — это живая, дышащая стихия. Ее дыхание доносится до нас, и мы не можем не ощущать его. Потому нам следует с полным вниманием относиться к ней и при малейшей возможности стараться использовать ее духовную энергию себе на пользу. Без этого прагматического стремления мы будем глухи к голосу прошлого и не услышим тех, кто взывает к нам с поверхности океана исторического. Более того, для нас останется закрытым и немым «то неисторическое, невидимое, не постижимое, которое есть конец и начало всей истории». А оно, это невидимое, и есть самое важное и самое интересное, без чего историческое знание превращается в сухую мякину перечисляемых фактов.

Барт вводит читателя внутрь интересного парадокса, согласно которому история постоянно выкладывает перед нами «неисторические факты». Так, в Книге Бытия говорится о том, что Аврааму его *вера вменилась в праведность*. Это абсолютно неисторическое сообщение. Но это не мешает ему быть необыкновенно мощным по содержанию и смыслу. И для нас оно сохраняет всю свою силу, несмотря на прошедшие тысячелетия. Передается нам этот «неисторический факт» не человеческими усилиями, а волею Бога, голосом Бога, Словом Божьим. Оттого по прошествии десятков веков его суть ничуть не умаляется и не тускнеет.

Барт писал обо всем этом в начале XX века, а во второй половине того же столетия получит широкое распространение аналитическая конструкция, именуемая *археологией знания*. Но Барт предваряет эту новацию Мишеля Фуко и уже фактически говорит именно об археологическом настрое исторических изысканий. У него получается, что лучше всего для реализации археологического настроения подходит теологический инструментарий.

История необыкновенно богата неисторическими фактами, и от нас требуются острое духовное зрение, чтобы разглядеть их, а также острый духовный слух, способный слышать их голоса. В этом случае польза исторических знаний многократно приумножается. Для тех же, у кого такого слуха нет, «неисторическое прошлое» останется немым. Для них история Авраама будет всего лишь любопытным рассказом о странствиях некоего человека, не имеющим ни малейшего отношения к нам и нашей жизни. «История, — пишет К. Барт, — бессмысленна там, где исследуют источники, но не происходит их осмысления, там, где не существует осознания значимости человеческих событий в их неразрывном единстве. История бессмысленна там, где она — простое сосуществование культур или последовательность эпох, простое многообразие различных непосредственностей, различных индивидуумов, времен, отношений и институтов, центробежное движение и ускорение простых явлений».

То есть Барт, по сути, говорит о том, что невидимое в истории важнее очевидного, смыслы ценнее коллекций антикварных фактов. Ведь истина содержится не в фактах, лежащих на поверхности. Она в глубине, в археологических слоях сущего; ее не видно внешнему зрению. Только зрение внутреннее, духовное способно усмотреть ее.

Наша мысль и наша вера превращают темный сумбур событий прошлого в стройное, осмысленное, упорядоченное, логически непротиворечивое целое с соразмерными смысловыми пропорциями. Такая, преобразованная нашими духовными усилиями история становится «*синтетическим произведением искусства*».

Метафора произведения искусства позволяет Барту привести в единство все, что он думает об историко-археологическом познании, и придать своей конструкции не только внутреннюю стройность, но и внешний эстетический шарм.

У произведения искусства есть важное свойство — способность приближать к нам ту историческую реальность, внутри которой оно родилось и которую запечатлело. Через него, как через художественно-эстетический «мостик», чужое прошлое можно переместить в настоящее, привести в наш мир, приблизить к нашему пониманию. Произведение искусства, уже прозвучавшее в свое время, способно звучать и в наше время и бросать свой свет и на нашу жизнь. А это именно то свойство, которое следует ценить в исторических реалиях и, особенно, в тех «неисторических фактах», о которых Барт рассуждал на примере исторических реалий Книги Бытия и эпизодов из жизни библейского патриарха Авраама с его верой и праведностью. Как в произведении искусства мы ценим то, что относится не только к автору, но и к нам, так и в истории Авраама нам важно то, что относится не только к его, но и к нашей жизни.

Бездарные, нищие духом историки, не имеющие вкуса к «эстетике истории», склонны отодвигать предметы своих изысканий во временные дали и возводить барьеры отчуждения между прошлым и настоящим. Одаренные же историки, обладающие одухотворенным творческим разумом и эстетическим вкусом, умеют выстраивать диалогические отношения между прошлым и настоящим. Так, хороший учитель истории литературы всегда сможет представить ученикам принца Гамлета современником и собеседником, с которым интересно поговорить. А специалист по богословию истории, каковым, без сомнения, можно считать Барта, всегда работает на пограничной территории, между прошлым и настоящим,

в эстетическом пространстве истории как синтетическом произведении искусства. С такой позиции ему наилучшим образом видны «неисторические факты», имеющие непреходящую ценность для всех времен. Он извлекает их из исторических контекстов, окружает живыми мыслями, свежими образами и метафорами, делает главными героями своих исследовательских повествований и картин, помещает внутрь интригующих драм и одухотворенных симфоний, предоставляет им возможность прямого участия в духовных войнах сынов света против сынов тьмы.

Размышляя о прошлом, мы нуждаемся не только в новых мыслях, но и в свежих эстетических впечатлениях. Барт прямо говорит о том, что мы не вправе обольщаться и быть совершенно довольными своим духовным состоянием: «Мы знаем о нашей вере лишь то, что она всегда есть и неверие». Историк, не отличающийся крепким духовным здоровьем, охотно отдастся своим скептическим настроениям и сможет легко доказать, что судьба Авраама никак не связана с его судьбой. Но от этого его духовное здоровье не улучшится, внутренний кризис не разрешится, духовная болезнь не отступит.

И напротив, эстетически и этически чуткое внимание к краугольным «неисторическим фактам» такого рода, как судьба того же Авраама, помогает сохранять собственное духовное здоровье при погруженности в любые исторические глубины.

Восстановление эстетической справедливости

Итак, для чего нужна и что дает нам метафора произведения искусства применительно к Реформации? Если коротко, то ответ мог бы звучать так: прежде всего *ради восстановления эстетической справедливости*. Ведь фактически тот смыслообраз Реформации, что присутствует в массовом историческом сознании, пребывает ущемленным в своих эстетических правах. Потому метод исторического эстетизма, способный исправить методологические недочеты, — это не способ ее декорирования и приукрашивания, а дополнительное средство упорядочения наших представлений об этом сверхсложном макроисторическом процессе. Это похоже на ту ситуацию, когда живописные портреты Мартина Лютера кисти Лукаса Кранаха Старшего дополняют наши впечатления от лютеровских текстов, от биографических трудов историков. В данном случае художественное, эстетическое ничуть не мешает и не противоречит рационально-смысловому.

Самое простое из того, что нам обещает путь восстановления эстетической справедливости, это то, что прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое, присутствовавшие в живой исторической ткани и в духовной динамике Реформации, не будут оставаться в тени, а займут свое законное место в ее историческом смыслообразе. А это, в свою очередь, позволит обратить внимание на новые ценностные грани известных реалий, поможет высветить те их аспекты, которые прежде ускользали от внимания исследователей. Ведь в Реформации, кроме ее сугубо рационального содержания, присутствует еще и то, что невозможно измерить логарифмами исторической или социологической рассудочности.

Реформация — величественный, удивительный в своих особенностях, не имеющий аналогов феномен духовной жизни европейского человечества. В ней оказался сконцентрирован гигантский объем духовной энергии, которого хватило на несколько последующих веков многим сферам религиозной, социальной, экономической, политической, культурной жизни Европы Нового времени.

Аристотель и Реформация

Хорошим теоретическим подспорьем для философско-теологического анализа Реформации как целостного эстетического феномена может послужить концепция причинности, изложенная в трактате Аристотеля «Метафизика». Там мы находим интересное учение о четырех универсальных причинах всего сущего. Описанная философом четверица причин (каузальная тетрактида) являет собой рабочий эскиз универсальной познавательной конструкции. Лаконичная и вместе с тем исчерпывающая, она позволяет использовать ее при исследованиях самых разных явлений и процессов практической и духовной жизни.

Аристотель в своих размышлениях о причинно-следственных связях пришел к выводам о том, что в мире действуют четыре типа базовых причин: формальные, материальные, деятельные и целевые. У каждого свои задачи и функции, а все вместе они сопровождают живую систему на протяжении ее существования от начала до конца.

Особенности действия аристотелевской четверицы можно рассмотреть на таком конкретном художественно-эстетическом объекте, как, скажем, мраморная скульптура.

1. Формальная (формообразующая) причина.

Это причина, задающая форму чему-либо. Ее можно сравнить с замыслом скульптора, с тем задуманным, воображаемым образом будущего изваяния, который вначале зародился у художника в голове, а затем подвинул его на действия по практическому воплощению творческого плана-проекта.

2. Материальная причина.

Она представляет собой ту материю или материал, в котором воплощается задуманный план, проект, образ. В случае со скульптором и будущей скульптурой это будет мрамор, без которого она не может существовать и которому предстоит превратиться в изваяние.

3. Деятельная (деятельностная) причина.

Это инструментальное начало, которое непосредственно реализует имеющийся замысел. Конкретным орудием по превращению воображаемого образа в реальную скульптуру выступает резец в руке скульптора.

4. Целевая причина.

Это тот идеал, та сверхзадача, та желанная конечная цель, к которой устремлены энергетические векторы всех остальных причинных воздействий. Если скульптор трудится над изображением мраморной Афродиты, то целевая причина его усилий — достижение максимально возможного приближения изваяния к художественно-эстетическому идеалу женской красоты, гармонии и совершенства.

Каждая из четырех причин существует самостоятельно, в относительной автономии от других. Для того чтобы возник художественный шедевр, они должны соединиться в один общий причинно-следственный ансамбль с признаками необходимости и достаточности. Взятые вместе в пределах единого проблемного пространства, они позволяют объяснить появление, существование, динамику развития любого сложного социально-исторического явления. Они же показывают, что в судьбе феномена участвуют прошлое (материальные причины), настоящее (деятельные причины) и даже будущее (целевые причины).

Кроме того, в аристотелевской тетрактиде нельзя не заметить важной отсылки к *вечности* — к формообразующей первопричине, то есть к первоначалу сущего и должного.

Говоря о причинах, Аристотель иногда называет их началами, и в этом есть свой резон, поскольку все члены четверицы выступают исходными силами, порождающими факторами, побуждающими вещи к существованию. В размышлениях

о формообразующей причине великий философ сделал решительный шаг навстречу Богу, без которого в этом мире не происходит ни одно событие, не совершается ни одно действие, не возникает ни одна система, не начинается ни один процесс.

А теперь вернемся к Реформации. Громадный исторический материал, связанный с ее событиями, поддается более успешному осмыслению, если его расположить в соответствии с конфигурацией аристотелевского учения о причинности. Это позволяет увидеть весь Монблан фактов, входящих в макропроцесс Реформации, в его принципиальной полноте, архитектурной сложности и драматической противоречивости. Ведь именно единение четырех типов причин, слияние их силовых векторов привело к развертыванию Реформации как целостного и целенаправленного ансамбля явлений духовно-практической жизни.

Реформация как произведение драматического искусства

Реформация не сопоставима с произведениями статичных видов искусства: живописными, скульптурными, архитектурными. Ее нельзя рассматривать как статуарную историческую конструкцию. Но сопоставление с такими динамичными видами искусства, как театр (драма, трагедия) или музыка (симфония), может быть для нее достаточно продуктивным.

Реформация — не система, а процесс. Это лавина человеческих усилий, динамика преобразования-реформирования, струящийся поток духовно-практической жизни, изменявший те структуры, что попадались ему на пути: церковные и социальные системы, политические и правовые институты, индивидуальные взгляды, ориентации, убеждения, мировоззрения.

Реформация динамична по своей сути, подвижна в своих смысловых, ценностных и нормативных проявлениях. Она отмечена множеством коллизий, больших и малых эксцессов, вспышек и взрывов. Однако сопровождавшие ее конфликты смыслов, контрверзы ценностей, стычки норм не отменяют общей динамической целостности Реформации как единого, несмотря на внутреннюю противоречивость, ансамбля исторических событий. Так, шекспировская трагедия с бурей разыгрывающихся внутри нее страстей, разнообразием судеб, пестротой лиц и характеров остается художественным целым. Страсти действующих лиц, конфликты между ними не разрушают ее, а лишь придают ей те особые эстетические свойства, которые делают ее уникальным произведением театрально-драматического искусства.

Реформация — не коллекция разнообразных событий и фактов, не мозаичное панно из фрагментов духовной и практической жизни. Она — драматическое действие, развернувшееся в историческом времени, состоявшее из многих актов, развивавшееся по законам драмы, имевшее пролог, завязку, кульминацию, развязку и открытый финал. Ее духовный эффект может быть описан при помощи наглядной метафоры кругов, расходящихся по водной глади бескрайнего озера. Это историческая драма без последнего акта, где ее предпоследний акт продолжает длиться по сей день, и неизвестно, когда закончится.

В Реформации есть тайна. Это тайна Божьего участия в ее почти фантастическом проекте, который поначалу очень многим казался заведомо провальным. Когда никому не известный провинциальный монашек Мартин Лютер восстал на авторитет могущественного папы и всей Римской церкви и его шансы не только выиграть, но просто выстоять против мощнейшего института с гигантской властью и репрессивным аппаратом инквизиции были близки к нулю, а он все-таки победил, то эта победа показала, что Бог встал на его сторону, помог осуществиться невозможному,

сделал его непобедимым. Победа Лютера стала не теоретическим, не богословским, не философским, а практическим доказательством бытия Бога.

Реформация удалась потому, что отнюдь не Лютер, а именно Бог выступил в роли автора-драматурга, замыслившего исторический сюжет Реформации. Он — ее *формообразующая причина*, задавшая Реформации важнейшие формальные и содержательные параметры, обозначившая их временные и пространственные рамки. Бог нашел и вдохновил людей, способных воплотить Его замысел. Он позволил сочиненной Им исторической драме разыграться на европейских подмостках во всей ее удивительной духовной мощи, красоте и священном ужасе.

Когда Гегель в своих «Лекциях по эстетике» утверждал, что предметом эстетики является прекрасное в природе и искусстве, то он предложил слишком узкую трактовку, поскольку прекрасное обнаруживает себя в самых разнообразных сферах человеческой жизни, деятельности и культуры. И Реформация является несомненным средоточием многих проявлений прекрасного.

Ведь если автор замысла Реформации — Господь, Который абсолютно и безусловно прекрасен, то в ней непременно присутствует много такого, что можно смело назвать прекрасным. Несмотря на вмешательство архиврага, на попытки руководимых им духов зла осквернить то благое, что было в Реформации, прекрасное не исчезло. Оно далеко не всегда пребывает на поверхности. Но при желании его всегда можно увидеть. Более того, его следует выявлять, показывать, изучать и ценить.

Роль второй, то есть *материальной, аристотелевской причины* предназначено было исполнить европейскому человечеству. Гигантская социальная масса, великое множество людей, их умы, души и судьбы оказались в роли материала, в котором должен был воплотиться Божий замысел. Предстояла трудная и долгая работа, очень похожая на борьбу и постоянно облекавшаяся в формы всевозможных церковных, политических, социальных, богословских и прочих столкновений. Но во власти Господа было собрать воедино бесчисленное множество отдельных волей, нужд, интересов и направить их усилия в одно реформаторское русло.

Реформация — впечатляющая и вдохновляющая демонстрация борьбы Бога за человека, начавшего отходить от Него. Это яркое проявление любви Творца к своему творению, демонстрация намерения защитить и спасти его от угрожавших ему сил разрушения и гибели. Бог пожелал укрепить Свой союз с человеком, начавший заметно ослабевать и нуждавшийся в подобном укреплении.

Инициатива исходила свыше, из трансцендентного мира. Призыв Бога прозвучал. И Мартин Лютер оказался одним из тех немногих, наиболее чутких избранников, способных услышать зов и отозваться: «Вот я, Господи! Пошли меня!»

Бог поставил Лютера режиссером драмы Реформации. Ему Он поручил функцию *действующей причины*. Его мысль, слово и дело должны были сыграть роль резца в руке божественного Скульптора. Лютеровская режиссура новой исторической драмы задавала ей тон и строй на всю обозримую перспективу.

Лютер не был человеком театра и вообще искусства. Но эстетический язык не являлся для него чем-то чуждым и далеким. Будучи яркой, одаренной и одухотворенной личностью, он в своих размышлениях, мысленных диалогах, текстах и прямом общении постоянно пользовался эстетическими критериями. В его суждениях повсеместно встречаются оценки, опирающиеся на понятия прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического и т. д. И это способствовало тому, что его творческие инициативы производили сильное впечатление как на единомышленников, так и на оппонентов.

У Лютера как режиссера нашлось немало помощников. Единомышленники и соратники реформатора, видные европейские интеллектуалы-теологи, князья

и подданные, священнослужители и их паства, крестьяне и ремесленники не позволили центробежным силам социально-исторического взрыва разорвать на части «текст Божьего замысла» и сделали все, чтобы замысел осуществился. В помощь им Бог включил механизмы действия *целевых причин*. Он вложил в героев исторической драмы представления о целях, к которым они должны стремиться и к которым они действительно решительно и неустрашимо двинулись.

Оптика исторического воображения

Метафора драмы, приложенная к Реформации, не упрощает ни ее образа, ни ее ключевых смыслов. Напротив, благодаря ей аналитическое мышление, призывавшее к себе в помощники еще и творческое воображение, начинает работать в новом, более сложном режиме понимания и истолкования.

Такой режим — не новость для гуманитарного сознания. В свое время И. Кант ратовал за то, чтобы в познавательной деятельности мышление не действовало в одиночку, чтобы с ним сотрудничали чувственность и воображение, чтоб штурм любой сложной гуманитарной проблемы велся сразу по трем направлениям и был триединым процессом, когда мысль, чувства и воображение движутся в одной упряжке.

В драме Реформации налицо большое количество *рационально не прочитываемых реалий*, которые не вмещаются в форматы рассудочных схем. Перед ними секулярный разум, как правило, ступшевывается и норовит проскочить мимо. Убежденные материалисты-атеисты вообще предпочитают двигаться исключительно в русле лобового, бесцеремонного игнорирования всего того, чем интересуется богословие. Выше уже приводился образчик такой объяснительной стратегии, продемонстрированной Ф. Энгельсом в его очерке «Крестьянская война в Германии». Жесткий редукционизм, объявляющий трансцендентное несуществующим, всё духовное второстепенным, а экзистенциальное малосущественным, напоминает своим беспощадным прозаизмом дамоклов меч. Под лезвие такой топорной социальной герменевтики попадает и эстетическое воображение.

Но для полноценного понимания истинной природы Реформации творческий потенциал продуктивного воображения оказывается очень кстати. Он обещает несомненный положительный эффект — расширение имеющегося проблемного поля, приумножение познавательных возможностей, обогащение спектра наличных смысловых оттенков. Воображение готовится проявить себя не только в качестве простого помощника-иллюстратора, но и в инициативной роли креативного проблематизатора, маркирующего новые ансамбли интригующих смыслов и облекающего в зримые образы то невидимое, что присутствует в этих смыслах.

Одним лишь умом невозможно постичь реальность участия Бога в событиях Реформации. По этой причине знания о них существуют не только в понятийных, но и в образных формах. Те и другие равно необходимы. Не случайно Н. Бердяев утверждал, что для гуманистичнее наилучший путь — это мыслить не понятиями, а конкретными образами. А лучше всего — отдавать должное и тем и другим, сочетая их эвристические ресурсы на принципах взаимодополняемости.

При таком подходе получается, что гравюры Альбрехта Дюрера смогут предложить нам пищу для размышлений о Реформации, не уступающую своей интеллектуальной калорийностью теологическим трактатам Лютера и Меланхтона. При этом художественнообразные представления и понятийно-рациональные сведения могут быть как синхронно-унисонными, так и взаимно противоречащими друг другу. Однако в любом случае эффект взаимодополняемости им обеспечен.

Образы, генерируемые воображением, являются познавательным ресурсом, который может быть обозначен формулой «восполняющего понимания» (М. Бахтин).

Образы Дюрера, Брейгеля, Гольбейна и других мастеров эпохи Реформации придают ее пониманию особый оттенок. Они способны пробивать в нагромождениях теоретических конструкций что-то вроде больших окон, в которые способна устремляться творческая энергия исторического воображения. А оно, в свою очередь, позволяет восполнять те пробелы, которые образуются между разнородными представлениями о Реформации, в том числе и теми, которые на первый взгляд представляются крайне субъективными.

Что же касается тех узких, плоских, скудных смыслообразов, которые предлагаются атеистами-материалистами и внутри которых, говоря словами поэта, «простора нет воображенью... и нет работы голове», то они не представляют особой ценности ни для историков, ни тем более для философов и теологов, работающих с религиозно-богословским материалом Реформации.

Новые смыслы возникают, отыскиваются, обретаются нечасто. Новые же образы рождаются гораздо проще, легче и чаще. Воображение способно приходить на помощь мышлению, готово выступать в роли смыслообразующей и смыслообъясняющей силы.

Из одного образа можно начертать огромное количество смыслов. А раз так, то воображение, рождающее образы, заслуживает к себе самого почтительного отношения со стороны гуманитарного сознания, всегда нуждающегося в новых смыслах. Особенно в тех случаях, когда мысль устремляется к пределам, где завершается мир относительного и открывается мир абсолютного, трансцендентного бытия.

Рождающиеся образы, проясняющие смыслы и восполняющие понимание, охотно свидетельствуют не о другой реальности, а о той же самой, но увиденной иначе, как бы с другой стороны, под иным углом зрения, другими глазами. В результате происходит смысловое переформатирование объекта.

При появлении дополнительного ракурса в поле зрения могут попадать свойства, которые до этого не были видны и даже не подозревались в нем. Более того, в общий строй исторического сознания привносится дополнительная интеллектуальная живость, которой ему порой не хватает и которая никогда не бывает лишней. Строгая дисциплинированная сдержанность исторической мысли дополняется эстетически-игровой легкостью исторического воображения. В результате тяжеловесный «конь» основательной рациональности и «трепетная лань» летучей образности начинают тянуть «телегу» исторического познания уже вдвоем, не мешая, а помогая друг другу, составляя то единое, дружное целое, в котором ни один из участников не стремится возвыситься над другим.

Такие фундаментальные метафоры, как *драма*, — это не только выразительные языковые средства, но и важные инструменты мироосмысления. Они играют роль не столько изобразительную, сколько маркирующую, опознавательную, смыслоуказующую. Благодаря им в наши представления о Реформации привносятся дополнительные смысловые оттенки. Раздвигаются рамки интерпретационных возможностей, подключаются новые ресурсы образного мышления и творческого воображения. Высвечиваются важные содержательно-смысловые грани, прежде остававшиеся в тени. Обретают отчетливость, выпуклость, стереоскопичность такие черты и свойства, которые далеко не всегда можно разглядеть сквозь «узкую щель рассудка».

Когда мы воспринимаем Реформацию как творческое произведение Божьего искусства, как захватывающую драму духовной брани, нам уже не грозит туповатое непонимание природы неисчислимых противоречий и конфликтов, сопровождавших это событие. Метафоры защищают нас от недоумений и огорчений перед

картинами разгулов темных страстей, грозивших затушить реформаторский пламень. Ведь это не поэтическая идиллия, не безмятежная пастораль, а историческая *драма!* А в драме всё как в драме: дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца человеческие. Перед эпической мощью этой невыдуманной драмы бледнеют вымышленные эпосы и «Божественной комедии» Данте, и «Человеческой комедии» Бальзака, и трагедии Шекспира, и романы Достоевского.

РЕЦЕНЗИИ

МУСУЛЬМАНЕ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях / Р. И. Беккин, А. Н. Тагирджанова. М.-СПб.: Институт Африки РАН, 2016. — 640 с.

«Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» безусловно является той книгой, после выхода в печать которой невольно задаешься вопросом, почему она не была написана и издана раньше, настолько очевидна ее необходимость для формирования облика Санкт-Петербурга как многонационального и многоконфессионального города. Как отмечают авторы не только этой книги, но и ряда других по истории изучения ислама и жизни мусульман в России, мусульманское население появилось в Петербурге с момента его основания, поскольку город нуждался в строителях и Казанская губерния поставляла в столицу порядка 5–8 тысяч «рабочих» людей ежегодно. Наряду с выходцами из Казанской губернии петербургские татары были представлены жителями Симбирской, Пензенской, Нижегородской губерний, а также таких городов, как Казань, Курмыш, Сергач и Касимов. Со временем на месте их компактного проживания на Петроградской стороне появилась Татарская слобода, а рядом с ней и Татарский рынок, которые отмечены на одной из первых карт Санкт-Петербурга¹. Однако существенный рост татарского населения начался в конце XIX—XX веков и был обусловлен реформами и последовавшим за ними ростом промышленности. Помимо татар, в столице Российской империи в это время проживали персы, азербайджанцы, турки, калмыки, кабардинцы, лезгины, черкесы, абхазы, осетины, башкиры, казахи, бухарцы и арабы, но именно татары составляли несомненное большинство. Поэтому неудивительно, что они, а вместе с ними и представители других народов, исповедовавших ислам и проживавших в Петербурге, внесли существенный вклад в формирование облика столицы Российской империи. В современном мире межнациональные и межконфессиональные отношения под влиянием разного рода общественных и политических обстоятельств порой превращаются в проблему, вынуждая искать ответы на многочисленные вопросы в историческом прошлом. Применительно к истории России наиболее показательным временем является рубеж XIX—XX веков — время, когда в состав Российской империи входили губернии Царства Польского, Западного края, Новороссии, Кавказского и Закавказского регионов, Среднего и Нижнего Поволжья, Башкирии, Средней Азии, а также анклав в Центральной

¹ Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. Ислам и православно-мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии. М., 2000. С. 128.

России и Сибири с проживающим на них католическим, мусульманским и иудейским населением¹. Книга «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» позволяет читателю пройти по Петербургу в исторический период с XVIII века по 30-е годы XX века и посмотреть, как и чем жили петербургские мусульмане в то время.

Работы, посвященные изучению истории, по преимуществу татарского населения Санкт-Петербурга, появлялись и раньше, в частности, одним из важных сочинений является исторический очерк Д. А. Аминова «Татары в Санкт-Петербурге», СПб., 1994. Также информацию о мусульманах и мусульманских институтах в Петербурге можно найти в словаре под ред. Д. З. Хайретдинова «Ислам в Санкт-Петербурге», М., 2009; в книге И. К. Загидуллина «Исламские институты в Российской империи», Казань, 2007; в многотомном труде под ред. С. М. Прозорова «Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь» Т. 1, М., 2006, а также вып. 1–5, М., 1998–2012; в работе Ю. А. Гаврилова и А. Г. Шевченко «Ислам и православно—мусульманские отношения в России в зеркале истории и социологии», М., 2000; в монографии А. К. Тихонова «Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти XVIII—начале XX в.», СПб., 2008. Непосредственное отношение к теме «Мусульмане Санкт-Петербурга» и к данному историческому путеводителю имеют книги А. Н. Тагирджановой «Мусульмане в жизни и культуре Петербурга (XVIII—XIX вв.)», СПб., 2013 и «Мечети Петербурга: проекты, воплощение, история мусульманской общины», СПб., 2014.

Книга «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях» примечательна тем, что в ней в определенной логической последовательности собраны основные сведения о жизни мусульман в Петербурге, в первую очередь в период существования Российской империи и нескольких десятков лет после ее гибели. Один из авторов путеводителя — Р. И. Беккин — пишет в предисловии к изданию о том, что он «старался уделить больше внимания судьбам, а не истории зданий» (с. 14), так что мусульманский Петербург раскрывает читателю свои секреты главным образом через истории судеб выдающихся российских деятелей мусульманского вероисповедания. Именно они ходатайствовали в пользу открытия Соборной мечети, издавали мусульманские газеты и журналы, печатали книги, организовывали магометанские приходы, участвовали в мусульманских съездах, учреждали благотворительные общества, открывали рестораны, служили в рядах Собственного Его Императорского Величества Конвоя, хоронили единоверцев на Татарском участке Ново-Волковского кладбища.

В путеводителе читатель найдет восемь маршрутов по Санкт-Петербургу и семь — по пригородам Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, еще три маршрута по примечательным объектам Санкт-Петербурга, не вошедшим в основные маршруты. И речь не идет о выборе какого-то одного маршрута, потому что каждый из них по-своему интересен, за каждым местом — события и судьбы ярких, талантливых, выдающихся людей своего времени. У читателя этого исторического путеводителя появляется уникальная возможность поговорить с этими людьми, узнать об их стремлениях и сомнениях, жизненно важных потребностях и способах их удовлетворения. На страницах этой книги находят свое отражение и взаимодействие мусульман с российским правительством, конфликты и противоречия, уступки и попытки правительства договориться с видными общественными и религиозными деятелями. Есть здесь и сведения об изучении мусульманского Востока российскими учеными-востоковедами, и описания музейных и рукописных

¹ Тихонов А. К. Католики, мусульмане и иудеи Российской империи в последней четверти XVIII — начале XX в. СПб., 2008. С.11.

коллекций. В частности, один из маршрутов, а именно маршрут № 4 «Для научных занятий без всяких формальностей...» (Дворцовая набережная), пролегает вдоль Дворцовой набережной — от Зимнего дворца до дворца Дмитрия Кантемира — и знакомит читателя с коллекциями мусульманского искусства Государственного Эрмитажа, рукописным фондом Азиатского музея (Институт восточных рукописей РАН) и домом первого профессионального исламоведа в России. Однако авторы не упоминают дворец великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II (Дом ученых), в котором среди других прекрасных залов есть будуар в мавританском стиле — одном из наиболее популярных стилей 1870—1890-х годов в интерьерах и архитектуре Петербурга, связанных с восприятием мусульманской культуры. Допускаю, что это обусловлено тем, что за историей этой комнаты не стоит имени какого-либо выдающегося мусульманского общественного или политического деятеля, как в случае, например, с домом эмира Бухарского, но мне кажется, что упоминание интерьеров в мавританском или турецком стилях, а их в городе немало, в данном путеводителе могло бы быть интересно читателю. Нет в путеводителе и дворца знатного дворянского рода князей Юсуповых по адресу: наб. реки Мойки, 94, как и истории представителей этого рода. Очевидно, что речь в данном случае идет об ориентальном направлении в рассмотрении ислама и жизни мусульман в Санкт-Петербурге, зачастую искаженных, экзотических и шаблонных образах мусульманского Востока, но и за этими образами нередко стояли вполне реальные путевые наблюдения и заметки, опыт личного взаимодействия с представителями другой культуры и религиозной традиции, которые нашли свое воплощение в архитектуре и интерьерах дворцов и особняков города. Но, по всей видимости, задумка авторов состояла в том, чтобы собрать в путеводителе истории и судьбы именно мусульман, и даже древняя и богатая родословная князей Юсуповых, восходящая к бию Ногайской Орды Юсуфу, не возымела действия, поскольку его потомки не сохранили мусульманскую веру, перейдя в православие.

Путеводитель можно читать и вдоль, и поперек, что невольно напоминает книгу Хулио Кортасара «Игра в классики», но с большим простором для воображения, поскольку каждый читатель может придумать свою схему. Можно углубляться в биографии выдающихся российских мусульманских деятелей. Можно акцентировать внимание на цитатах из газет и журналов, бытовых и исторических очерков, партийных программ, писем и заметок, выделенных зеленым цветом. Можно собирать по разным маршрутам информацию по конкретной теме, например, отправление мусульманского культа: история строительства Соборной мечети, учреждение магометанских приходов, аренда самых разных помещений для совершения праздничных и пятничных молитв: в частности, Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, Михайловского замка или Таврического дворца; научная и просветительская деятельность мусульман: печать книг на русском языке и языке мусульманских народов, преподавательская деятельность в Санкт-Петербургском государственном университете, издание газет «Миллят», «Известия Всероссийского мусульманского совета», «Нур», учреждение специального заведения, которое готовило бы специалистов для горной промышленности России — Горного училища; материальная культура мусульман: коллекция мусульманского искусства Эрмитажа, восточные рукописи ИВР РАН, ценные списки Корана Российской национальной библиотеки, многочисленные предметы исламской культуры Кунсткамеры, предметы из фонда «Ислам» Государственного музея истории религий; история изучения ислама и культуры мусульман: Отдел литературы на языках стран Азии и Африки (ОЛСАА) в структуре РНБ, преобразование отделения восточных языков СПбГУ в факультет восточных языков, учреждение кафедры исламоведения.

Данный путеводитель является прекрасным источником сведений о жизни мусульман в городе на Неве, в первую очередь татар, но также и выходцев с Северного Кавказа, Средней Азии, Персии, Турции, об их общественной, образовательной и политической деятельности в Санкт-Петербурге. Заканчивается путеводитель статьей А. Н. Тагирджановой «Потомки первопроходцев: татарская община в современном Петербурге», отражающая активную общественную жизнь современных татар. Действительно, активность петербургских мусульман постепенно становится все более заметной, причем речь идет не только о татарах, но и о других национальных общинах, например, Дагестана и Ингушетии. Хочется верить, что и эта активная деятельность в будущем найдет свое выражение на страницах какого-либо интересного и содержательного сочинения, подобного книге «Мусульманский Петербург. Исторический путеводитель. Жизнь мусульман в городе на Неве и в его окрестностях».

Анна МАТОЧКИНА

ЗВУК И ОТЗВУК

Роман Богословский. Трубач у врат зари: Роман. М.: Дикси-пресс, 2016.

Музыканное образование, полученное в школьные годы, закладывает в человеке важнейшие представления об искусстве, о соотношении таланта и трудолюбия, о свободе творческого самовыражения. В то же время юный музыкант, не слишком блиставший знаниями на уроках естествознания и обществоведения, рискует в будущем, как ныне говорят, попутать рамы. Выходя во взрослую жизнь и став отчасти социопатом, он обречен существовать, так сказать, в «непроявленном мире», пугающем своей непостижимой логикой и далеко от гармонических созвучий. Прелестная инфантильность юности и поиск своей бытийной аутентичности общими усилиями направляют такого человека в область необузданного протеста, творческого бунтарства, перебора экзотических жизненных практик.

История отечественной словесности знает уже немало образов музыкантов-бардов и музыкантов-рокеров. Подобной традиции в нашей литературе уже минимум полвека. Надо отметить, что художественные произведения, главными героями которых становятся фронтмены рок-групп, до сих пор еще не смогли стать национальными бестселлерами ни разу. Популярность того или иного героя-рокера, созданного им же, дерзнувшим стать писателем, как правило, не выходит за рамки самого сообщества рок-музыкантов и их иной раз и многочисленных поклонников школьно-юношеского возраста.

Стоит ли молодому читателю погружаться в чтение книги Р. Богословского? Чем она может привлечь читающего? Вот как представляет молодого романиста издательство: «Главный герой книги Олег Кастидзе поступает на духовое отделение музыкального училища в крупном областном центре. Нонконформист, бунтарь и еретик Кастидзе не приемлет существующие в „храме искусства“ порядки и нравы. Его оппозиция — отвращение к образовательному процессу и нравовучениям педагогов; „Nirvana“ и „Гражданская оборона“ вместо Баха и Генделя; водка, тарен и галоперидол вместо кефира и кексов в училищном буфете. Решительно отвергая любые ценности, Олег Кастидзе все глубже погружается в мир панков и металлистов, встречая на этом пути множество сломавшихся людей с причудливыми, вывернутыми наизнанку представлениями о жизни. Он ищет спасения в групповом сексе, в бредовых галлюцинациях и в мнимых друзьях...»

Трудно сказать, чем эта информация может заинтересовать читателя. Вот если бы студент музыкального училища, в отвращении к образованию/учебе переще-

голявший фонвизинского Митрофанушку, выявил свою неповторимую индивидуальность чем-нибудь неожиданно уникальным или — о ужас! — неожиданно прекрасным, может быть, и следовало бы потратить время на чтение этого исповедального текста... А так... Есть сомнения. В бурных потоках газетно-журнальных текстов, в разливанном море скандальных телесюжетов и в бескрайнем море интернет-ресурсов давно и многократно прославились неисчислимые легионы бунтарей-протестантов, находящихся в оппозиции к здравому смыслу и в конформистском обожании водяры и наркоты.

Интересно, что писатель Р. Богословский не только педагог по образованию, но и журналист-публицист нескольких интернет-порталов. Роман «Трубач у врат зари» — третья книга молодого автора, в 2011 году он издал книгу повестей и рассказов, а в 2013-м — биографию группы «Агата Кристи». Музыкакой автор увлекается более двадцати лет и, видимо, хорошо изучил материал, связанный с легендарными рок-музыкантами эпохи застоя и последнего десятилетия XX века... Позиция лидеров прославленных рок-групп прошлого в их личных биографиях, осознанная и трагедийная, была обусловлена не только конкретными общественно-политическими настроениями, но и ярко сформулированной в текстах философией жизни и истории. Какова природа протеста нынешнего поколения рок-музыкантов, не вполне ясно из романа. Протест ради протеста?

Факт издания книги для молодого автора очень важен. Возможно, авторы пишут книги не для читателей, а для самих себя — чтобы выговориться, исповедаться, освободиться от груза неосознанных ошибок и мук совести. Это благая мотивация, но она же обрекает такого автора на бесконечный самоповтор, хождение по замкнутому кругу. Самоповтор, будь он даже талантлив, по определению не может вести к открытиям и торить выход к неизвестному. Это ауканье с самим собой и с уже бывшим. Недаром современный критик говорит о романе Р. Богословского, что это *эхо молодежной прозы и вообще контркультуры 60-х*.

Иначе говоря, возможно, читатель имеет дело не со звуком, но с отзвуком. Это, как говорится, две большие разницы.

Конечно, в романе читатель найдет и какие-то интересные детали из жизни тех, кто пытается вдохнуть новый воздух в медные трубы современности, и печальные очерки изломанных ветряных мельниц и реальных судеб. То ли звук, то ли отзвук мысли о потерянном поколении, о лишних людях.

Ассоциации, воспоминания о былых временах и былых кумирах музыкального андеграунда и контркультуры оставляют после чтения книги горькое послевкусие. Фиксируются сознанием и блики разноречивых сожалений и вопрошаний. Например, таких. Эхо каких сверхценных слов и каких идей рассеяно в художественном пространстве текста, названного романом? Сможет ли автор когда-нибудь в будущем, в одной из новых книг, хотя бы попытаться выйти из стен, очерченных эхом музыкального прошлого?

Целостность каждого художественного мира может быть воссоздана читательским сердцем и обрести долгую жизнь благодаря подлинности каждого слова, положенного писателем в основание литературного высказывания. Умение отличать подлинное от неподлинного неискушенная рука иногда путает с откровенностью, балансирующей на грани эксгибиционизма.

Играть на трубе дано не каждому. Главное, чтобы труба и трубач не были глиняными.

Явление автора в литературе всегда происходит «у врат зари». И только от самого автора зависит понимание того, открываются ли эти врата навстречу идущему.

Евгений КУЗЬМИН

СЛИШКОМ БЫСТРО, ЦАРЕВНА

Эльвира Фарниева. Не так быстро, царевна!

М.: Союз писателей Москвы, 2015.

Книги бывают хорошие, плохие и фэнтези.

Первая повесть Фарниевой в сборнике «Не так быстро, царевна!» — фэнтези.

Это специфический жанр. Требуется наличие драконов. А если не драконов, то ведьм. А если не ведьм, то суккубов на худой конец. Суккубы в книге Фарниевой имеются.

Герои с мечами, конечно, тоже.

Развернуться на носовом платке фэнтези-сюжетов мудрено. Ходы, что называется, все записаны. Об этом еще Пропп писал. И Толкиен. И все-все-все. Изобретешь что-то свое и тут же попадешь в новаторы,двигающие жанр вперед.

Фарниева — не новатор.

Впрочем, нужны ли они вообще поклонникам этого жанра?

Пожалуй, нет.

Им хочется снова пережить каноническую сказку. Прочитать что-нибудь про Путь Героя. Про любовь. Чувство долга. Победу добра над злом.

В книге Фарниевой все это есть.

Только, как писал Тарковский, этого мало.

Если говорить по гамбургскому счету.

Фарниева — начинающий писатель. И фэнтези ее даже не женское (в худшем понимании), а подростковое. Видно, что Фарниева хорошо изучила этот мир, что она относится к нему с теплотой. Но фэнтези сложно писать без фантазии. Фантазию у Фарниевой заменяет пафос, и это не к добру. Все эти громкие возгласы, эти кальки с английских ругательств, эти ходульные диалоги...

Дело не спасает даже прием с двумя героями, которые идут друг к другу на протяжении всей повести. Потому что герои эти пусть и разного пола, но друг от друга практически не отличаются. Откроешь в любом месте, прочитаешь страницу и не сразу догадаешься, о каком герое идет речь.

Вторая повесть в книге начинается куда более оптимистично. Молодая девушка попадает из нашего времени во времена Древней Греции. Причем не просто так, а становится Аталантой, известной быстротой бега и желанием убивать мужчин, имеющих глупость ее обогнать.

Здесь, казалось бы, можно развернуться и устроить аттракцион неслыханной щедрости. Но, к сожалению, текст напоминает скорее облегченный пересказ сюжета, чем действительно большое литературное произведение. Действие проносится перед глазами на такой скорости, что так и хочется крикнуть автору: «Не так быстро, царевна!» Да ведь не услышит...

Зато гораздо лучше Фарниевой удаются рассказы. И пусть в первых двух еще слишком много патетики (названия говорят о многом: «Золотые струны печали», например). То рассказ «Бруно и Максимилиан» доказывает, что Фарниева может сочинять живенько, интересно и со вкусом.

Так что, вполне возможно, мы видим становление новой Урсулы Ле Гуин. Она тоже начинала с неловкого подражания тому же Толкиену. И ничего. Смогла преодолеть символизм. Стала лауреатом многих литературных премий.

Фарниева свои премии, наверное, тоже получит.

Антон РАТНИКОВ

НЕВА 7'2016

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ГРАД ИУДОВ В ГОРНЕЙ

Часть 2

Становление традиций

В апреле 1883 года о. Антонин исходатайствовал в Священном Синоде установление особого праздника «Целования» в память посещения Божией Матерью своей родственницы праведной Елисаветы¹. Указом Синода от 5 августа 1883 года этот праздник определялось праздновать 30 марта (12 апреля н. ст.), если Благовещение не попадает на Страстные дни (в противном случае праздник переносится на четверг Светлой седмицы или в день памяти иконы Божией Матери «Живоносный источник»)². Отцом Антонином была написана и служба этого «Целования», переплетающаяся с дивной и полной таинственного смысла службой по-празднства Благовещения³. Архимандрит Антонин сам написал к этому празднику особые песнопения.

Согласно традиции, из Троицкого собора миссии в Иерусалиме крестный ход с иконой Благовещения шел в Горнюю. Навстречу из Горней выходил свой крестный ход с иконой Целования Божией Матери с праведной Елисаветой. Изначально с иконой Благовещения из миссии шли монахини Елеонского Вознесенского монастыря. Встретившись у источника Девы Марии в Эйн-Кареме, монахини обеих обителей лобызались. Однако с отходом после 1948 года Горненского монастыря к Русской православной церкви Московской патриархии (Елеонский оставался в РПЦЗ), эта традиция была прервана.

Раньше крестный ход с иконой шел через весь город. Теперь же икону привозят на машине к источнику Божией Матери, что близ входа в монастырь. Там служится первый молебен, а затем, под звон колоколов, по дороге, украшенной цветами, крестный ход с иконой направляется в Казанский храм. У входа в храм лежит цветочный ковер, собранный руками сестер. Здесь совершается торжественная встреча иконы в монастыре. И вот все три месяца что Мать Божия провела у св. праведной Елисаветы, Благовещенская икона, в голубом облачении наподобие монашеской мантии, с укрепленным у основания игуменским жезлом, стоит в Горненском храме

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Письмо от 6 апреля 1883 год за № 82.

² Указ Синода № 2416, от 5 августа 1883 года.

³ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817–1894). М., 1997. С. 178.

Казанской иконы Божией Матери на игуменском месте. Матушка же игумения на это время перемещается в сторону, на простой стул. И все 3 месяца пребывания Пресвятой Богородицы в Горнем сестры обители берут благословение сначала у Божией Матери, потом — у матушки игумении⁴.

Икона Благовещения остается в Горней до 24 июня по старому стилю — дня Рождества Иоанна Крестителя. На Рождество св. Иоанна икону Благовещения провозжают из Горней в Троицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме. Как писал в свое время архимандрит Киприан (Керн), «„Целование“ празднуется с нарочитым умилением из года в год, привлекая огромное количество народа, как из среды русских паломников, так и особенно абиссинцев»⁵.

К середине 1880-х годов сложилось целое «чинопоследование» пребывания русских паломников в Горненской обители. Вот как описывал это А. В. Елисеев, врач, в 1884 году сопровождавший группу русских богомольцев по Святой Земле. «Едва на русских постройках Горней заметят толпу земляков, как начинается звон во все колокола. Иеромонах, посылаемый от миссии вперед, чтобы заготовить все к приему партии, встречает ее в полном облачении и проводит в недавно выстроенную, первую русскую церковь в Палестине вне Иерусалима. Тут служит молебен Казанской Богоматери (во имя которой выстроен храм), святым Захарии и Елизавете, Иоанну Предтече и т. д. Многие богомольцы тут усердно ставят свечи, радуясь, что видят в чужой земле свою русскую церковь с небольшим русским женским монастырем, возникшим в самое последнее время, в 80-тых годах под заботливым наблюдением о. Антонина. После молебна богомольцы проходят в гостиницу — одну из лучших построек русских на Святой Земле, где ждет их чай с хлебом; во время угощения иеромонах предлагает пожертвовать что-нибудь на постройку, на что обыкновенно и не скупятся паломники, распарившись вволю чайком»⁶.

После посещения пещеры св. Иоанна Предтечи «возвращаются тем же путем паломники в Горнюю ко всеобщей, которую правит миссийский иеромонах. После всеобщего бдения хозяева угощают гостей незатейливым ужином — кашей и маслинами; у кого имеется в запасе чай, тот может получать кипятку вволю, так как у смотрительницы наших построек находятся огромные самовары, обыкновенно кипящие во все время пребывания там паломников. После ужина и чаю кто хочет — ложится спать, а кто еще перед сном грядущим часа полтора, два гуляет в прекрасном саду, разведенном о. Антонином при постройках в Горней, вокруг монастыря. Несколько приветливых, поселившихся здесь инокинь беседуют с паломниками, и эти последние нигде себя так хорошо не чувствуют, как в Горней, ставшей поэтому одним из любимейших мест прогулок наших поклонников, как по красоте места, так и по удобствам остановки здесь под крылышком о. архимандрита»⁷.

В том же 1884 году в Горненской обители побывала другая группа русских паломников во главе с епископом Модестом; в числе богомольцев был и протоиерей А. Ковальницкий. В отличие от других богомольцев, следовавших в Эйн-Карем из Иерусалима, наши пешеходцы направились в Горнюю из Вифлеема: «Избранный нами путь был хотя краткий, но весьма неудобный; от Вифлеема до Горнего два часа пути»⁸, — вспоминал о. Александр.

⁴ Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 61.

⁵ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178.

⁶ Елисеев А. В. С русскими паломниками по Святой Земле. СПб., 1885. С. 147.

⁷ Там же. С. 147—148.

⁸ Ковальницкий А., прот. Из путешествия в Святую Землю. СПб., 1886. С. 98.

Вот как встречали горненские насельницы епископа Модеста и богомольцев, «состоявших при владыке»: «В самом селении, приближаясь к источнику Божией Матери, мы услышали радостный приветственный звон нашего русского колокола. Этот звон в честь епископа производили наши русские старицы, приютившиеся здесь. Владыка вошел в недавно выстроенную церковь и освященную не без некоторых, как нам передавали, препятствий со стороны тех лиц, на обязанности которых лежит прямой долг содействовать славе русского имени. Эта церковь, хотя небольших размеров, устроена с величайшим вкусом и содержится в неукоризненной чистоте.

Старицы встретили нашего владыку пением „Достойно есть“, затем архимандритом была произнесена обычная лития с провозглашением многолетия царствующему дому, патриарху и преосвященному Модесту. Владыка осматривал поклоннический приют или, так называемый, малый дом. Подходя к большому дому, он помолился на месте, где был загородный дом священника Захарии — отца Иоанна Предтечи и где Божия Матерь была встречена Елисаветой. Затем последовал отдых в так называемом Большом благоустроенном доме с открывающимся с террасы обширным видом на все окрестности с Яффской дороги и на отдаленную могилу пророка Самуила»⁹.

В записках прот. А. Ковальницкого уделено место и тогдашнему состоянию монастырских келий; при этом автор основывается на личных впечатлениях: «Эта местность представляет собою весьма большие удобства к заселению русскими людьми, заселению, начало которого мы, к своему величайшему удовольствию, имели случай видеть. Около храма Божией Матери уже группируются каменные домики в числе семи или восьми, выстроенные русскими боголюбивыми старицами на их собственные средства; в этих своих домиках наши русские старицы доживают свой век и содержатся пока на свои средства. Помещения этих стариц были посещены прибывшими богомольцами, в числе которых находился и я; впечатления от этих посещений остались у всех самые благоприятные»¹⁰.

Однако эта картина была не совсем радужной, и прот. А. Ковальницкий в своем дальнейшем повествовании старается быть объективным: «Отдохнув и перекусив, мы в церкви отправили всенощное богослужение, во время которого читали и пели убогие старицы; говорим убогие, потому что при посещении мы видели это убожество в их кельях, мы слышали такое их мечтанье: ах если бы мне Господь послал хоть по 50 рублей в год на содержание! Вот эти то русские старицы пели и читали на всенощном разумно и, — над отдать им справедливость — с замечательным знанием церковного устава. Вообще, впечатление, вынесенное нами из этой обители было у всех самое благоприятное. Дай Бог, чтобы лица, положившие здесь святое начало такому доброму делу, встречали себе в русском обществе поддержку, подобно тому, как встречают здесь иноверные такие же учреждения от своих национальностей»¹¹.

Устав 1886 года

В эти годы полумонашеская Горненская община выражала желание стать женским монастырем во главе с игуменией. О том, какие препятствия возникали на этом пути, читаем в записках прот. А. Ковальницкого: «Сколько нам известно,

⁹ Там же. С. 98.

¹⁰ Там же. С. 98—99.

¹¹ Там же. С. 99—100.

об учреждении здесь женского монастыря со всеми его формальностями нет и речи, но есть основание думать, что скоро образуется что-нибудь в роде женского скита по образцам Св. Афонской Горы. Нам передавали, что когда старицы заводили речь о том, чтобы иметь из своей среды выбранное лицо для управления общиной в качестве игуменьи, то распоряжающееся делами духовное лицо в ответ на это заявление указало на поставленную в патриаршем месте древнюю икону Божией Матери со скипетром в руке, сказав: вот ваша игуменья»¹².

Но все же требовалось упорядочить жизнь общины, и все шло к тому, что Горняя получит монастырский устав. Эту мысль хорошо выразил священник А. Коровицкий, перу которого принадлежит подробное описание Горненской обители. «Как было бы хорошо образовать здесь настоящий женский монастырь, тем более что все уже подготовлено для этого; разумеется, при монастыре обязательно открыть женскую школу для обучения некоторым предметам и в особенности рукоделию, — пишет о. А. Коровицкий. — Можно бы нечто подходящее устроить и при наличных средствах, но беда в том, что большинство из здешних случайных поселенцев малограмотны и во всяком случае неспособны к учительству»¹³.

В «подвешенном» состоянии обитель неопределенно долго быть не могла. И вот 19 января 1886 года о. Антонином были даны особые правила Горненской общины, которые должны были регулировать жизнь этого полумонашеского скита. В 1886 году Святейший Синод утвердил правила для Горненской женской общины и саму общину. В административном отношении она была подчинена начальнику Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Первой настоятельницей была монахиня Валентина. При ней община достигла большого расцвета¹⁴.

Отечественный паломник Г. В. Белов, побывавший в Святой Земле в 1887 году, упомянул о странноприимных домах, предназначенных для размещения паломников, притекавших в Горнюю: «Вправо от водоема дорога идет на русскую постройку, воздвигнутую заботами о. архимандрита Антонина, подобно иерихонской постройке. Она состоит из двух зданий, окруженных садами и цветниками. Ближайшее здание — для простого народа, другое же, находящееся за католическим монастырем, содержит в себе дворянские номера и устроено о. Антонином на пожертвования, собранные бывшим русским министром Внутренних Дел, М. Т. Лорис-Меликовым, в количестве 20 тысяч рублей. Над входом в это здание вделана в стену мраморная доска, на которой вырезаны фамилии главнейших жертвователей. За первым зданием находится построенный о. Антонином русский храм во имя Казанской Божией Матери. Священником в этом храме состоит местный уроженец араб, совершающий богослужение на нашем родном языке.

Отечественный паломник, скрывший свое имя под инициалами М. J., побывал в Горней в 1888 году, но его заметки об этой обители весьма кратки: «Мы остановились на отдых в русском приюте, где, напившись чаю, ходили смотреть на новостроющуюся русскую церковь во имя свидания Богоматери с Праведной Елисаветой. Полюбовавшись местом ее, высоким и весьма красивым, пошли в другой русский дом, во временно устроенную там церковь нашу, и выслушали всенощное бдение»¹⁵.

Одно из наиболее полных описаний Горненской обители принадлежит перу протоиерея Василия Михайловского, побывавшему в Святой Земле в 1888 году.

¹² Там же. С. 99.

¹³ Коровицкий А., свящ. Дневник паломника. Житомир, 1891. С. 183–184.

¹⁴ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива. М., 2000. С. 14–15.

¹⁵ М. J. От Гроба Господня из Иерусалима. Одесса, 1888. С. 14.

Горненская обитель в записках протоиерея Василия Михайловского (1888 год)

Не доезжая до Иерусалима верст десяти, при спуске с горы, направо, вдалеке видишь разбросанные там и сям в беспорядке беленькие каменные домики; маленькая церковь, построенная в русском духе и плане, возвышается среди них. Чувствуется, что там есть что-то родное нам. И действительно, эта группа домиков есть Горний град Иудов, известный по встрече Пресвятой Девы Марии с праведной Елизаветой, там жившей и приветствовавшей Марию как Богородицу: «Откуда мне сие, да прииде Мати Господа Моего ко мне?» (Лук. I).

В недавнее время гора, на которой раскинута Горняя, приобретена на частные пожертвования архимандритом Антонином. И ныне она, по его позволению и избранию достойных подвижниц, застраивается отдельными кельями. Каждая келья-домик окружается маслинами и виноградниками, составляющими пожизненную собственность устроившей домик старицы, а среди их зелени устраивается цистерна, в которую на весь год собирается дождевая вода в дождливые месяцы (от ноября до февраля) <...>¹⁶ Июня 23-го (1888 года) в 2 часа 20 минут, мы с о. иеродиаконем Виссарионом на двух мулах, — заплатили мы за них по 50 коп. с каждого в один конец, — отправились в Горнюю, чтобы отслужить в тот же день всенощную, а на следующий день — обедню. 24-го июня Горняя празднует великий праздник в честь рождества св. Пророка и Крестителя Господня Иоанна, в ней родившегося.

Мы прибыли к цели своего путешествия после почти 1½-часового пути по отвратительной дороге: в Горнюю ведут три дороги, и одна другой хуже. Камень на камне, горы и уступы, кривизны и каменные ступени попадают на каждом шагу. Только привычный осел или мул может спокойно идти и везти ездока по такой дороге. Говорят, впрочем, что скоро, очень скоро устроят сюда колесную дорогу, вплоть до самого русского храма в Горней. Устройство это обойдется тысячи две рублей, а между тем средств-то у о. архимандрита Антонина маловато...

Селение Горняя славно по своим священным воспоминаниям: это место, где жили праведные Захария и Елизавета, родители Предтечи. Сюда приходила к ним из Назарета Божия Мать, как к родным своим, разделить с ними время и особенно поведать единственной ближайшей своей родственнице Елизавете, дивную тайну о благовестии Архангела Гавриила. Родина Предтечи называется Горней потому, что относительно Назарета она действительно лежит выше.

Русское место в Горней занимает всю северную сторону обширной высокой горы и, говорят, представляет площадь в три квадратных версты. Приобретена эта местность не сразу, а постепенно, исподволь, чтобы не привлекать жадного взора католиков и других недружелюбных глаз. В первый раз часть этой местности, с двумя большими домами и 650 масличными деревьями, приобретена в 1871 году, после посещения ее бывшим нашим министром путей сообщения П. П. Мельниковым. Сознав, насколько желательно было бы иметь священное место рождества Предтечи в русских руках, П. П. через три месяца по возвращении своем в Петербург составил необходимый капитал для покупки.

В то время земля эта и дома принадлежали католику, драгоману французского консульства Карно, который, однако, по некоторым обстоятельствам не захотел продать ее своим францисканам, жившим уже в селении Горней, а согласился тайком продать нам, русскими, даже за меньшую сумму. Однако потворство «схизматиками» не прошло даром доброму владельцу: вскоре после того, как покупка состоялась, г. Карно был найден в постели мертвым, с явными признаками насилия. Да будет усопшему от нас, русских, вечная и благодарная память!

¹⁶ Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 41—42.

Вся эта покупка совершилась по мысли о. архимандрита Антонина, при остром и мудром его участии. После того о. архимандритом приобретено уже много других участков в Горней, и все рядом друг с другом, отчего и образовалась наконец в русском владении обширная нагорная площадь.

В настоящее время русская Горняя уже издали привлекает к себе путника своими многочисленными беленькими домиками, которые, словно гнезда ласточек, лепятся на горных уступах, окруженные зеленью винограда, маслин и кипарисов. Среди этих домиков скромно стоит, под зеленой крышей, русский храм, собирающий под свою сень зашедших сюда из России подвижниц, с большим терпением своими руками воздвигавших для своих потребностей маленькие садики, разбитые вокруг их жилищ. Плоды этих садиков и составляют единственное почти пропитание тружениц; хлеб покупают.

На самой вершине горы, по склонам которой раскинулось русское место, красуется каменная, недостроенная еще русская башня, как бы маяк, указывающий путнику место покоя и отдохновения. Вместе с тем она служит как бы памятником русской силы и господства в Палестине. Она господствует над всеми высотами, и с нее видно даже Средиземное море. Как было бы отрадно слышать именно на этой башне звон большого колокола, который разносился бы по всем окрестным высотам гор и был бы слышен далеко за Иерусалимом и Вифлеемом.

Интересно возникновение разных келий в Горней. Первой, поселившейся здесь подвижницей была Павла, которая одиноко приютилась в одной готовой пещере, величиной в $2\frac{1}{2}$ аршина квадратных и в 2 аршина высоты. В этой пещере сначала жили пчелы. Жила она здесь и лето, и зиму, терпела и холод, и голод, и все переносила ради излюбленного ею уединения. Но стала часто посещать ее по ночам и пугать эту отшельницу гиена. Тогда отец архимандрит Антонин благословил ее устроить себе особый каменный домик. Павла устроила его и под ним цистерну, то есть каменную яму для дождевой воды, которой обыкновенно круглый год и довольствуются здесь, за неимением источников с постоянно струящейся водой. Вслед за Павлой поселились и другие отшельницы, и в настоящее время в Горней уже 12 каменных домиков и келий.

Проехав селение Горнюю (по-арабски *Эин-Карим*) и миновав храм, устроенный на месте рождения Иоанна Предтечи (этот храм был когда-то православным и потом почему-то уступлен католикам), мы спустились налево и потом начали подниматься по горе, на которой расположена русская странноприимница. С десять минут поднимались мы на эту гору вдоль стены, огораживающей от оврага и нашу, и католическую землю. Первая дверь в этой стене ведет в наш странноприимный дом, в церковь и в разные домики-келии, разбросанные по крутизнам гор; далее по дороге следует вторая дверь в стене, вводящая прямо на небольшую каменную площадку перед католическим храмом, устроенным, по преданию католиков, на месте встречи Пресвятой Девы с праведной Елизаветой. Из-под основания этого храма струится светлый источник. Самый храм содержится в чистоте, имеет, по обычаю католиков, много алтарей, но особенно замечательного ничего не представляет.

Взобравшись далее по крутизне, мы подъехали на своих мулах к каменному двухэтажному дому. Над входной дверью этого дома вделана каменная доска с высеченными на ней следующими русскими именами (каждое из них на отдельной строчке): «Павел Петрович Мельников, В. А. Фон-Мекк, Н. Г. Губонин, Н. И. Варшавский, Н. М. Журавлев, Н. И. Путилов, А. В. Казаков, С. П. Елисеев, Д. М. Полежаев, А. Г. Гладин... Марк, С. С. Поляков, М. Г. Горбов, И. Д. Бусурин, Б. и С. Перовские». Это имена русских благотворителей, своими средствами способствовавших покупке того участка земли, который, как сказано, прежде принадлежал г-ну Карно. Дом назначен для приюта русских паломников и имеет два этажа. В каждом этаже по три светлых, чистых комнаты с ситцевыми диванами по стенам. Здесь посетителями предлагается самовар.

В пять часов вечера, немного отдохнув, мы начали всенощное бдение накануне дня рождения Св. Иоанна Предтечи. Служил всенощную я, а на литии и полиелей выходили еще два священника: о. Иоанн Добротворский и местный приходской пастырь четырех православных арабских семейств Горней. Священник этот — человек образованный и достойный всякого уважения. По-русски он говорит довольно чисто, а греческий язык знает в совершенстве. Его имя Георгий. Будучи многосемейным и не имея почти прихода, он только и поддерживается богослужением в русском храме.

Всенощное бдение продолжалось два с половиной часа. Пели 8 человек тамошних келейниц весьма приятно. Среди них выдавалась особенно одна старица с замечательно высоким и приятным голосом — сопрано. За этот, между прочим, голос ей, по ходатайству о. архимандрита Антонина, продолжен срок пребывания в Горней (она — монахиня одного из московских монастырей).

Июня 24, в день рождения святого славного Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, совершать литургию в русском храме Горней приехал из Иерусалима сам о. архимандрит Антонин. Под председательством его торжественно и чинно совершено было соборное богослужение, при благозвучном, чисто русском пении отшельниц. За обедней многие из богомольцев удостоились причаститься Святых Таин. По заамвонной молитве я вышел с проповедью и, по своему обыкновению, экспромтом произнес следующее слово на текст: «*Что убо будет отроча сие?*» (Лук. II, 16).

Слова эти повторяли не раз многие родные и знакомые, приходившие к Захарии и Елизавете разделить радость их на восьмой день по рождении Иоанна Предтечи. «Что-то будет из этого ребенка?» — говорили они, — потому что все, что ради его до его рождения и по рождении совершилось, — все было чудесно, поразительно. И явление Ангела Захарии в храме, и немота его, и рождение Иоанна от заматерелой, и радость его еще в утробе матери, и небывалое в родстве имя Иоанна, единодушно обоими родителями назначенное, и отверствие уст Захариинных, и его пророческая вдохновенная речь о высоком назначении сына, как Пророка и Предтечи Господня, — все это родных и знакомых привело в изумление. И вот они и в доме у Захарии, и по разным селениям рассказами своими вызывали недоумение и вопрос: «Что-то будет из сего ребенка?» Долго переходил он из уст в уста и долго оставался без ответа. А на Иоанне между тем измлада, во все время детства и отрочества, «была рука Господня» (66 ст.). Он возрастал и укреплялся духом (Лук. 2, 80) от нежного ухода родителей благочестивых, богомольных и от благодати Божией, на нем пребывавшей.

По смерти своих родителей он 12 лет, как «сын закона», уже могший определять себя к известным подвигам, как круглый сирота, решил удалиться в пустыню. И там, вдали от шума людского, от молвы и разговоров, он вознамерился с Божией помощью воспитать и укрепить себя в борьбе и с врагом невидимым, и с влечениями своей плоти. Господь через такое самоотвержение приготавливал в Иоанне великого Пророка и вестника покаяния, которому и подчинялись немногие неиспорченные души. Он всем правду говорил, не обинуясь. За то большинство людей простых его очень любило; а не любили только жившие кривдой. Но своему убеждению и вере он не изменил и свое исповедание запечатлел кровию своею.

Святая Церковь, благоговей пред подвигами Предтечи, назначила ему праздновать в году пять и даже семь дней, посвятила ему дней больше, чем кому-либо из святых. И Сам Христос при жизни сказал об нем: еще не было в Ветхом Завете такого великого человека, как Иоанн Предтеча и Креститель. Св. Церковь в своих песнопениях не находит достойных слов для выражения его добродетели, его подвигов. Они величают его и Пророком, и Апостолом, и Ангелом во плоти, и Мучеником, и Ходатаем, т. е. посредником Ветхого и Нового Завета, и Светильником, и Предтечей и Крестителем. И он все эти звания и названия приобрел своими деяниями.

Вот и мы, повинуюсь зову матери нашей Церкви, собрались, как бы слетелись сюда из разных концов России, чтобы почтить память о рождении Св. Иоанна.

И Господь нас сподобил молиться и священнодействовать на месте пребывания Захарии и Елизаветы, на месте обымания Св. Девы и Елизаветы и на одной из тех пустынных ныне гор, которая была свидетельницей и детских звуков Иоанна, и материнской любви Елизаветы, и благодарных песнопений Захарии, и слезной подвижнической молитвы великого, дивного Пустынника, исходившего много пустынь в жизни своей до 30-летнего возраста, до дня явления своего народу сначала на берегах Иордана, а потом в городах и селениях Палестины.

Пустынно, каменисто, дико, страшно ныне место сие! Ныне уже не то Горнее, родное Богоматери, куда Она спешила сообщить новость радостную о Себе Самой; нет и города здесь. Только недавно возникли, появились здесь беленькие домики с немногими жилищами. Среди них Божий храм.

И в виду этого чисто русского молодого учреждения, благоустроенного молитвами и мудростью издалека пришедшего русского деятеля, невольно приходит сам собою вопрос: *Что будет отроча сие?* Что-то будет со временем с этим детищем о. Антонина, с этим только что возникающим рассадником русских молитвенниц и подвижниц? Пребудет ли на нем Божие благословение? Или отвертит от него Господь Лице Свое? Что будет с этим молодым, неожиданным для нас, но радостным поселком из Святой Руси? — Если жилицы сей пустыни, занявшие и имеющие занять гору сию, ознаменованную священными стопами Крестителя Господня, пойдут в жизни своей по стезям Иоанна Предтечи, если они будут подвизаться в посте и молитве, в постоянном труде и взаимном уважении и послушании, то их жизнь будет Богу угодна. На сих высотах расширится обитель; воссияет благодать Божия и на горе сей.

Благочестивые старицы-пустынницы обители сей, к вам мое краткое слово! Вы здесь со своими белыми домиками по крутизнам скал разместились точно ласточки со своими гнездами. Иные из вас подобно канарейкам, возносят хвалу Господу в храме сем, возбуждая молитву и в других. Все же вы подобны Аврааму и Сарре, — оставили свою родную сторонку, своих родных и знакомых, распростились со своими приятными впечатлениями и, пожертвовав духовными дорогами узами, пришли сюда в землю неведомую; иные из вас даже и не думали здесь оставаться навсегда, но так возлюбили место сие, что уже и не жалеют о своих прежних излюбленных обителях, где они провели десятки лет.

Так дивно место сие! Ужели же вы собрались сюда не по высокому чувству религиозности? Думать хочется, что вы, подобно Предтече, желаете здесь последние дни свои посвятить Богу, направить стопы свои на путь мира и правды, жить молитвой, проводить время в пощении и труде. Вы слышали сегодня увещание Апостола (Рим. 13, 11—14): «да не будет в вас ни рвения, ни зависти, ни других студодеяний», то есть нехороших дел. Отложите дела темные; облекитесь во оружие света. Да пребудет среди вас постоянно мир, и тишина, и смирение, и тогда пребудет и над вами всегда Божия благодать. Особенно здесь, в Горнем, «горняя мудрствуйте, а не земная» (Кол. 3, 2). Аминь».

После обедни была трапеза в доме о. архимандрита, в присутствии его. Стол был постный, очень полный и очень вкусный. После стола мы с регентшей-старушкой в общее назидание пропели св. песнопения: «Хвалите Имя Господне», «Коль славен», «Боже Царя храни» и «Многая лета о. Антонину, великому деятелю земли Русской, в далекой, восточной, Азиатской, хитрой, мудреной стране».

После чая мы пошли на самую вершину горы, где красуется высокая башня, как бы предвозвещающая величие русского делания и русских людей в Палестине. Очень желательно, чтобы эта башня была соборной колокольной будущего более обширного храма; звуки с этой колокольни расходились бы далеко и за Иерусалим, и за Вифлеем и приветствовали бы с приездом за 10 верст до Св. Града у Колонии пугников русских (Горняя от последней станции, если ехать от Яффы, лежит направо в 2—3-х верстах пути). Это удобно тем более, что для Горней уже приобретен колокол, но хотят его повесить на теперешней маленькой церкви. Жаль!

Колокол занял бы один этаж башни, что касается других этажей, то в них уже желают поместиться для подвигов русские женщины, и во главе их давняя палестинская подвижница, пустынноница Марина, уже 18 лет трудящаяся во Св. Земле и особенно в хевронцах привлекающая к себе уважение и добрую память, но по злобе врага удаленная от границ дуба Мамврийского.

Дай Бог, чтобы и вокруг этой одиноко стоящей на высоте башни поскорее собрались из России насельницы благочестия. Да будет русская женщина, верующая, благотворительная, смиренная и образованная, сеятельницей добра и истины среди арабов, и турок, и греков в Св. Земле. Женщина есть великая сила. Да привлекут и русские женщины Горней, подобно самарянке, многих ко Христу навсегда. Да познается через них Христос, да крепнет православие и да прославляется и в горах, и в долинах иудейских русское имя.

С отрадным чувством от испытанного и со скорбью о разлуке с сей священной местностью мы оставили Горнюю в 3¹/₂ часа пополудни 24-го июня. На обратном пути мы заехали в деревню Горнюю, лежащую на горе, противоположной нашей обители. Здесь мы сначала посетили семью сослужившего нам в храме арабского священника о. Георгия, живущего в наемном, темном и тесном помещении с 6-ю детьми, женой и слепым отцом, 85-летним старцем, также священником. Затем в самой деревне мы посетили католический храм, где был дом рождения Св. Иоанна Предтечи <...>¹⁷

8-го июля (1888 год), в пятницу, я, в компании из 14 человек, во второй раз ездил в Горнюю, где служил обедню. За обедней говорили проповедь на текст: «Во дни оны восставше Мариам иде в Горняя со тщанием»¹⁸.

Горненская обитель в записках свящ. А. Коровицкого (1889 год)

Священник А. Коровицкий, побывавший в Святой Земле в 1889 году, сообщает интересные подробности о пути следования его паломнической группы из Иерусалима в Эйн-Карем: «Нам хотелось полюбоваться прекрасной живописной местностью, по которой проложен путь в Горнюю, но всю окрестность окутал туман; около часу мы ничего не могли различать на самом близком расстоянии; видны были только понурые головы наших осликов — картина не особенно привлекательная для созерцания. Шли мы очень тихо и употребили полтора часа на путешествие в Горнюю. К нашему удовольствию, перед самым селением туман рассеялся и солнышко ярким блеском весело осветило дома и богатую растительность Горней. Горняя, куда со тщанием шла Богоматерь к праведной Елисавете, расположена не на самой горе, но у склона ее, хотя на порядочном возвышении»¹⁹.

В своем описании Горненской обители священник А. Коровицкий подмечает новые подробности, дополняя таким образом рассказы своих предшественников: «По левую сторону почти на всем склоне очень высокой горы расположены русские постройки. Это поселение представляет из себя нечто единственное в Палестине. Стараниями и заботами о. Антонина устроен здесь, как и в других местах Св. Земли, прекрасный странноприимный дом в два этажа. Он весь в зелени, только фасад его открыт и еще издали манит путника своим изяществом. О. Антонин большой любитель зелени; особенно нравятся ему кедр и кипарис; у каждого русского дома,

¹⁷ Там же. С. 95–104.

¹⁸ Там же. С. 114.

¹⁹ Коровицкий А., свящ. Дневник паломника. Житомир, 1891. С. 182.

построенного его заботливостью, вы непременно встретите целый ряд или хоть несколько экземпляров этих стройных деревьев, ласкающих ваш взор своей мягкой прелестной зеленью. Вблизи дома церковь.

К сожалению, мы опоздали к обедне, но имели великое утешение выслушать пение и чтение акафиста Божией Матери. Акафист совершали русские монахини. Раздельное чтение, стройное, оригинальное пение, исполняемое чистыми приятными голосами, до слез трогают молящихся. Хотелось, чтобы божественная служба длилась как можно продолжительнее»²⁰.

Богомольцам, во главе со свящ. А. Коровицким, посчастливилось встретиться в этой обители с самим архимандритом Антонином (Капустиным). «Любезный гостеприимный хозяин, пригласив нас в дом, познакомил нас с историей этого русского места, и мы с удовольствием почти до вечера пробыли у него, — пишет о. А. Коровицкий. — Это место заслуживает особенного внимания нас, русских; оно стоит того, чтобы поддерживать его, дав средства, кому следует, для осуществления благих начинаний и планов строителя и основателя»²¹.

Священник А. Коровицкий пишет и о самих горненских насельниках; он приводит такие сведения, которые не встречаются в записках его собратьев по перу.

Их теперь наберется до 50 человек; это нечто вроде русского женского скита; все живущие здесь и одеваются по-монашески; очень заботятся о благолепии храма, эти, скажем, монахини читают и поют на клиросе, посещая неопустительно церковные службы <...> Живущие здесь не то, что поселяющиеся в самом Иерусалиме русские богомолки; они живут здесь в полном уединении для молитвы и для дел благотворения, насколько оно им доступно, а не для развлечений и мирской рассеянности, чего в большинстве ищут остающиеся на жительство в иерусалимских греческих монастырях. Мы зашли в келью одной монахини; она самарская; застали ее за починкой священных одежд, келья ее содержитя очень опрятно, в ней так уютно, так хорошо, в углу охранно и чисто содержитя киот со многими иконами; словом, все тут по-русски, а не по-гречески. Рядом с монахиней сидит девочка, лет 13—14, она читает по Октоиху стихиры, которые придется ей читать на следующей день в храме. Девочка эта тоже из глубокой России; многосемейные родители ее, по бедности, не могли всех членов семьи содержать у себя и, придя сюда на поклонение, оставили одну из дочерей здесь, прося позаботиться о девочке. Она, видимо, очень довольна своим положением, она уже читает и поет на клиросе. Имей это поселение больше средств, сколько можно было бы приютить здесь таких же бедных местных девочек сирот из арабов²².

«... Поблагодарив о. Антонина за радушный прием, от души пожелав ему полного успеха на его трудном и полезном поприще, мы уехали из Горней»²³, — так завершает священник А. Коровицкий свой рассказ о Горненской обители.

Горненская обитель в записках архимандрита Мефодия (1892 год)

В 1892 году Святую Землю посетил архимандрит Мефодий, настоятель Никандровой пустыни Порховского уезда Псковской губернии. Вот его воспоминания о пребывании в Горненской обители.

²⁰ Там же. С. 182—183.

²¹ Там же. С. 183.

²² Там же. С. 183—184.

²³ Там же. С. 184.

Сразу же, по приезде в Иерусалим, я поспешил к о. архимандриту Антону с просьбой о дозволении мне в праздник Благовещения совершить литургию в так называемой «Горней». О. архимандрит сделал, согласно моей просьбе, распоряжение, и мы, нимало не отдыхая, отправились в новый путь «в Горнее». Горний град Иудов, близкий сердцу христианина по евангельским воспоминаниям, отстоит от Иерусалима на полтора часа езды, но мы отправились туда, ввиду большого удобства, пешими.

В настоящее время, по благочестивому примеру поселившейся здесь в одной из пещер русской подвижницы Павлы, вся северная сторона горы усеяна белокаменными домиками — кельями, словно гнездами ласточек. Окруженные виноградниками, оливками, кипарисами и садиками, возделываемыми трудолюбивыми и терпеливыми подвижницами, эти домики, составляющие пожизненную собственность их устроительниц, русских отшельниц, имеют дождевые цистерны для воды; плоды этих садиков — единственное пропитание честных тружениц. У домиков стоит недавно воздвигнутая о. Антонином русская церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, а на самой вершине горы — высокая каменная башня, предназначенная для колокольной.

Прибыв сюда часу в третьем пополудни и подкрепив силы свои чайком, мы отправились в означенную церковь ко всеобщему бдению. Пели местные русские певички-отшельницы очень стройно и благозвучно. Я невольно переносился мыслью в свою обитель и г. Торопец, где так торжественно совершается в этот праздник богослужение. Прочитав молитвы ко святому причащению, часов в шесть утра, я начал литургию соборне, в сослужении одного русского иеромонаха и другого арабского священника о. Григория. Литургия совершалась по-славянски и по-арабски, и кончилась часов в десять; после нее совершили соборне акафист Божией Матери. Таким образом, праздник Благовещения отпразднован торжественно. Подкрепившись после службы чайком, мы поспешили возвратиться в Иерусалим, зайдя на пути к арабскому священнику о. Григорию, многосемейному и довольно бедному, но весьма усердному и по службе исправному <...>

Таким образом, в самый день Благовещения, я утешен был священнодействием на том месте, где праведная Елисавета пророчески приветствовала Матерь Господа Своего: *«Благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего!»* На что Преподобная Дева ответствовала: *«Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе Спасе Моем»*²⁴.

Горненская обитель в записках Петра А-истова (1893 год)

В следующем, 1893 году Горненскую обитель посетила группа паломников, в составе которой был Василий Иванович Аристов — «Петр А-истов» — так он приводит свою фамилию в книге «Путешествие в Палестину» (СПб., 1894). В его записках большее внимание уделено нелегкому путешествию из Иерусалима в Эйн-Карем и возвращению в Святой Град.

В четыре часа дня наша компания тронулась в путь, направляясь в местечко Горнее, находящееся в 10 верстах от Иерусалима и расположенное на северо-западе от этого последнего. День выдался чудный, жаркий. Солнце палящими своими лучами немилосердно жгло. Небо было безоблачное. Наша кавалькада длинной лентой тянулась по дороге, (мы ехали цугом) и состояла она из нас шестерых верхом на ослятах, еще двух на конях, и восьми человек крестьян, шедших пешком. Быстро веселая наша компания подвигалась вперед, так что к 5 часам

²⁴ Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 26—28.

и 15 минутам мы уже были на месте и с большим трудом поднимались на ослятах по большой крутизне горы. До этой горы путь наш был, в общем, довольно хорош: тут попадалось и чудесное шоссе местами зеленеющее, а также и прекрасная грунтовая дорога и только у самого монастыря под горой встретилось некоторое затруднение, т. к. проезжать приходилось по камням.

Поднявшись на гору, мы сошли с ослят и уже пешком дошли до женского Горнего монастыря, где нас очень приветливо приняли монахини и повели в небольшую каменную церковь — целования Божией Матери. Храм очень чистенький, т. к. он недавно еще отстроен; тут же вблизи него построена колокольня и несколько келий. Между прочим, нам показывали здесь келью основательницы монастыря, очень уютно уставленную образами и цветами; сама же основательница, не дождавшись освящения трудов своих, умерла.

После осмотра православной церкви и келий мы прошли в католическую церковь, устроенную на месте дома Захарии и Елизаветы. В этой церкви мы прикладывались и целовали то место, где, как говорит предание, произошла встреча Божией Матери с Елизаветой. Здесь же нам показывали то место, где был скрыт младенец Иоанн Предтеча от сожжения царем Иродом, а также и древние арки дома Захарии.

Отсюда мы прошли в дом русского женского монастыря, где осмотрели комнаты, приготовленные для паломников, желающих остаться ночевать. Все здесь было в таком образцовом порядке и чистоте, что, положительно, мы не могли не выразить нашего по этому поводу удивления и похвалы. Наконец нас провели на крышу дома, с высоты которого мы осматривали окрестности.

Оставив монастырь, мы горою добрались до четырехугольной башни, откуда открылся чудный вид на Мертвое море и окружающие горы. Но нелегко нам было попасть на эту башню, ввиду того, что лестница, ведущая наверх, очень узка; а в особенности неудобно было пройти по ней некоторым довольно солидными, нашим компаньонам. С высоты этой же башни нам удалось наблюдать закат солнца, который вместе с открывшимся нам великолепным видом представлял чудную картину. Приятное настроение наше несколько нарушалось тем, что наверху башни ветер дул сильнее и порывистее, так что нам пришлось укутаться в платки, взяв их от наших спутниц, которых мы за эту предупредительную услугу и поблагодарили.

Сошедши вниз, мы опять посетили женский монастырь, где, напившись чаю и закусив, немного подкрепили свои силы. Недолго, однако, оставались мы здесь; с отъездом в обратный путь нас торопили наши старички. Надвигались сумерки; в это время еще можно хорошо и безопасно передвигаться по трудным каменистым местами в горах, но затем делается так темно, что только по ровной дороге и можно будет переезжать, — вот почему так и торопили отъездом старички. С доводами последних мы вполне согласились и, распрощавшись с монастырем, живо собрались в путь. Крестьяне, пришедшие сюда пешком немного позже нас, остались ночевать в монастыре.

На обратном пути нам неоднократно приходилось убеждаться в том, что предчувствие наших старичков было далеко небезосновательно, и наше возвращение обошлось не совсем то благополучно. Начнем, например, хотя с меня. При спуске с горы, мне пришла фантазия обогнать некоторых; и вот я прищиприл своего осленка, который как на грех, поскользнулся на широком камне и полетел кувырком. Тут же повалился и осленок Григория, который был задет при падении моим осленком. К счастью, однако, как я, так и Григорий, ушиблись довольно легко. После этого случая попадали со своих ослят также и некоторые другие и, между прочим, еще раз наш Григорий. Все вышеизложенные случаи с нами надо вполне приписать той причине, что мы поздно вое выехали из Иерусалима и нам пришлось возвращаться в сумерках²⁵.

²⁵ А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 107—109.

...При архимандрите Антонине Горненская община получала иногда пособия и от Императорского православного палестинского общества. Так, в 1891 году к празднику Рождества Христова архимандриту Антонину было передано 2000 франков для общины в Горней, «лишенной обычных доходов, ввиду запрещения выдачи заграничных в Иерусалим паспортов для русских паломников», в силу чрезмерной засухи и недостатка воды на русских постройках. В 1892 году, по примеру предшествующего года, было назначено ей пособие в том же размере, «ввиду еще не установившегося правильного движения в Св. Землю православных паломников», но с той разницей, чтобы распределение этих денег было предоставлено «ближайшему усмотрению» управляющего подворьями общества в Иерусалиме Н. ГОД Михайлова²⁶.

Из Отчета уполномоченного Православного Палестинского Общества в Иерусалиме Н. Г. Михайлова за время от 1 марта 1891 г. по 1 марта 1892 г.

«<...> два участка: на Малой Галилее и в **Айн-Кареме**, совсем не имели стен, которые, вследствие отсутствия надлежащего надзора, постепенно были до основания разобраны соседями, привыкшими считать эти земли совершенно покинутыми, что создало немало затруднений и споров, когда пришлось определять их границы. Порой доходило до того, что мусульманское население деревни ближайшей к участку на Малой Галилее в присутствии Императорского консула, сдававшего этот участок Уполномоченному Обществу, пыталось прогнать указывавших границы старшин и лишь при помощи кавасов можно было осмотреть и нанести их на план. С помощью Божией, в истекшем отчетном году Общество огородило стеной как этот участок, так и участок в **Айн-Кареме** и, таким образом, сделало первый шаг к восстановлению старых на них прав России»²⁷.

В 1889 году Горненский участок, как и другие крупнейшие земельные владения архимандритом Антонина, был включен в состав учрежденного им вакуфа (собственности, переданной в вечное пользование храму, монастырю или религиозной общине). Территория современного Горненского монастыря состоит из нескольких участков, приобретенных архимандритом Антонином в разное время по мере материальных возможностей и оформленных на разных лиц (в том числе на М. Г. Капустину, мать архимандрита Антонина, и на его племянников). В завещании, составленном перед кончиной владельца, 19 марта 1894 года, говорилось: «Все приобретенные на мое имя земельные участки в Палестине, без исключения, как помещенные в акте вакуфа, так и не помещенные в этом акте, завещаю в собственность Святейшего Всероссийского Синода»²⁸.

...Непритворна была безутешная скорбь инокинь Горненской общины, когда незабвенный маститый старец о. Антонин почил от трудов своих 25 марта 1894 года...²⁹

²⁶ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 19.

²⁷ Сообщения Православного Палестинского Общества, август 1892. С. 592.

²⁸ Духовное завещание архим. Антонина // Россия в Св. Земле. Документы и материалы. М., 2000. Т. 2. С. 226. Русская женская община в Горнем: Описание зданий и список насельниц // Россия в Святой Земле. Документы и материалы. М., 2000. Т. 2. С. 240–242.

²⁹ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 19.

Русская Горняя

Будущий монастырь обстраивался постепенно. В акте об учреждении вакуфа от 12 сентября 1889 года отмечено 14 домиков-келлий, в документах 1894 года названо, кроме домов для ризницы и для трапезной, два дома для приема паломников, а также шесть казенных (то есть уже перешедших в собственность общины) и 30 частных домиков (по несколько комнат в каждом), в которых проживало более 80 человек.

Ко времени кончины архимандрита Антонина Горненская обитель духовно окормляла не только местных насельниц, но и часть арабского населения местечка Эйн-Карем. Это вызывало определенную ревность со стороны иерархии Иерусалимской патриархии, и, как сообщалось в западной церковной печати, «в эпоху водворения русских в Горней там православных не было: русские обратили нисколько человек в свою веру. В нынешнем (1894) году у греков открылись глаза и, усмотрев грозящую опасность, греки приступили к устройству там церкви и монастыря»³⁰.

Вот какие комментарии последовали на это со стороны русской православной общественности: «Можно подумать, что русские исповедуют иную веру, нежели греки. Почти тридцать лет русские монахи поселились в Горней, где были православные, но не имели церкви. В качества православных мы не можем не радоваться умножению приходских православных храмов в Святой Земле и можем только пожалеть, что усердие (Иерусалимской) Патриархии в этом деле не направилось в более глухие места Святой Земли, где воистину ужасное состояние православных церквей более нуждается в попечении Патриархии, нежели подгородное местечко, уже украшенное прекрасной церковью во имя Казанской Божией Матери»³¹.

В октябре 1895 года председатель Императорского православного палестинского общества представил обер-прокурору Св. Синода соображения о необходимости изменения и усиления штата Иерусалимской духовной миссии 1890 года соответственно новым обязанностям, возложенным на миссию, и предъявляемым к ней требованиям, причем был доставлен и проект нового штата миссии. По этому проекту прибавлены должности одного иеромонаха и одного иеродиакона ввиду возложения на миссию обязанностей совершать ежедневное богослужение в **Горнемском женском приюте** и еженедельное — в яффской церкви Святого апостола Петра и в церкви Русского дома в Иерусалиме, а также еженедельно встречать и провожать паломнические караваны³².

Противодействие греков русскому влиянию в Святой Земле не приносило пользы общеправославному делу. Эту мысль убедительно обосновал епископ Смоленский и Дорогобужский Никандр в своем «Слове о содействии православным в Святой Земле» (1896 год).

«Пора же и нам взяться за то, что искони принадлежало Православному Востоку, для которого не было такого всемирного града, как для Запада — Рим, кроме Иерусалима града, который, как говорили у нас в старину, всем городам матери. *Мати Сион и человек родися в нем*, говорится в священной песне, в приложении к рождению людей чрез Христа, учившего и пострадавшего в Иерусалиме. Вот почему народ наш и стремится туда тысячами и производит мало-помалу духовное завоевание земли той через свое единение с ней и через единение с со-

³⁰ Цит. по: Науськивание Франции на Россию в Святой Земле // Сообщения Православного Палестинского Общества, июнь 1895. СПб. С. 407.

³¹ Там же. С. 407.

³² Саблер В. К. Доклад в Государственную Думу о хозяйственном состоянии Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 4 января 1914 год // Богословские труды, № 36, М., 2001. С. 257.

бой всех ведающих его благочестие и святость, невольно покоряющих сердца многих. А когда, при посредстве Палестинского Общества, эти паломничества удесятерятся, тогда это духовное завоевание страны совершится неотвратно. Прежде всего, сдадутся, конечно, греки, а потом и другие. А что касается до сирийцев, то их расположение уже давно на стороне русского благочестия. Мне не забыть, с какой любовью, например, принял меня сириец-священник, служивший в церкви **Горненского поселения**, а также и того, какой любовью пользуется он от русских насельниц этого святого места»³³.

Паломники, посещавшие Горненскую обитель, увозили с собой в Россию реликвии, связанные с селением Эйн-Карем. В их числе — резные изображения на камнях, взятых из реки Иордан. Один из таких сюжетов — Целование Богородицы и праведной Елисаветы³⁴.

Такая каменная «иконка» побуждала богомольца вспомнить об особом празднике «Прихождения Божией Матери в Горний град Иудов» (или «Целования»), установленном архимандритом Антонином (Капустиным) в Горненском монастыре в шестой день после Благовещения³⁵.

Этот же сюжет изображался и на спилах Мамврийского дуба. Так, игумен Вениамин, основатель Вениаминовского подворья в Иерусалиме, вместе с донесением великому князю Сергию Александровичу от 15 декабря 1894 года послал великой княгине Елисавете Феодоровне икону «Посещение Пресвятой Девой святой праведной Елисаветы», вырезанную на спиле дуба Мамврийского³⁶.

В свою очередь, Россия одаривала Горненскую обитель материальными пожертвованиями. Эта помощь направлялась в Святую Землю через Православное палестинское общество, а из Иерусалима распределялась согласно пожеланиям благодетелей.

Из Отчета уполномоченного Императорского Православного Палестинского Общества в Одессе за 1896 год.

«В числе частных пожертвований, обыкновенно состоящих из небольших, малочисленных посылок, в настоящем отчетном году впервые пришлось отправить пожертвования продуктами Обществу для нужд его подворья, по продовольствию паломников. Жертвователи сами паломники Святых мест, испытавшие на себе заботы Общества, а потому нельзя не обратить внимания на этот отрадный факт, свидетельствующий о симпатиях, которые завоевывает подворье Общества у паломников. К числу этих пожертвований относятся: картофель в количестве 550 пудов (целый вагон) от крестьянина села Аджамки, Херсонской губернии, Афанасия Маленко и его односельчан. Отправляя на мое имя картофель, А. Маленко просил распределить его следующим образом: Духовной миссии — 100 пудов, **женской обители в Горней** — 100 пудов, Бейт-Джальскому пансиону Общества — 50 пудов, а остальные 300 пудов — приюту Общества в Иерусалиме, для продовольствия паломников»³⁷.

³³ Сообщения Православного Палестинского Общества, август 1896. С. 387—388.

³⁴ Один из образцов: резная икона на камне из Иордана. Последняя треть XIX в. Иерусалим. Новокузнецкий музей. На обороте резная надпись: «Иорданский камень».

³⁵ Гнутова С. В. Святые места Иерусалима в паломнических реликвиях // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 251.

³⁶ Россия в Святой Земле. Т. 1. С. 593.

³⁷ Сообщения Православного Палестинского Общества, февраль 1897. С. 192.

Монастырский устав 1898 года

В 1897 году начальником миссии в Иерусалиме был назначен о. Рафаил (Трухин), игумен Саровской обители, питомец и духовник русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне. О. Рафаил задумал ввести некоторые улучшения в порядке внутренней жизни Горненской общины, к чему его побуждали и В. Н. Хитрово, и генеральный консул А. Г. Яковлев. Чтобы поставить сестер общины в большую зависимость от начальника миссии, о. Рафаил ввел в обители общую трапезу, на что от Палестинского общества обещано было ему по 10 000 франков ежегодно. А. Г. Яковлев со своей стороны рекомендовал установить более точные правила для передачи домиков обительниц Горней после своей смерти миссии или их наследникам³⁸.

О причинах, побудивших духовные и светские власти к упорядочиванию внутренней жизни Горненской обители, пишет архимандрит Киприан (Керн). Быть может, его позиция по этому вопросу носит несколько субъективный характер, но тем не менее заслуживает того, чтобы быть приведенной полностью.

«Мечта о. Антонина (Капустина) — устроить в этом уделе Божией Матери обширный приют именитых русских отшельниц, желающих в полной и невозмутимой тишине духа окончить дни своей более или менее тревожной жизни, которому образцом послужит устав древнего скитского жительствова, без игумений, без казначеи, без благочинных и тому подобных формальностей, в основу которого будут положены тайноводственные слова вдохновенной иконы Богородицы³⁹».

Отец архимандрит видел на опыте и с грустью сознавал тот разлад между монашеством и нашим интеллигентным обществом, то непонимание и даже неуместное некоторое надмение первого над вторым. Он понимал, что многим мятущимся среди интеллигенции душам нет доступа в монастырь. Монастырь их не приемлет таких, какие они суть; монашество же такое, какое оно стало у нас в силу различных исторических пертурбаций, слишком для интеллигенции трудно и ею неприемлемо. Вот потому-то тут, вдали от стеснительных и застенчивых форм нашего русского монашества, о. Антонин и хотел создать такую небольшую общину (даже не монастырь в настоящем смысле этого слова), а приют, убежище для интеллигентных отшельниц, ищущих покоя и жизни в Боге, но по тем или иным причинам не могущих себе найти места в обширных русских обителях. Он хотел, главным образом, как мы видим, избежать унылости, казарменного облика иерархической официальности в монастыре. Немало помогла ему в этом деле и морально, и материально одна из прекраснейших русских женщин XIX века, „христианнейшая графиня“ Ольга Евфимиевна Путятина.

При создании и оборудовании Горней о. Антонин, желая избежать скученности, вполне использовал обширность своего нового владения в Айн-Кареме. Основным принципом было расселить будущих насельниц по всей горе, нарезав каждой ее участок для постройки на нем келии и необходимого при ней садика. Эти участки отдавались насельницам в пожизненное пользование, с правом даже строительницам передать их в пожизненное же пользование еще одному лицу, после чего домик и вся усадьба переходили в полную собственность миссии. Вкус и желание отшельниц касательно постройки и украшения своей келии не ограничивались и не стеснялись никакими предписаниями, могущими придать трафаретный облик всей общине. Индивидуальность не убивалась, и это-то и дало Горней тот исключительно привлекательный, дышущий простотой и жизнерадостностью колорит.

³⁸ Письмо К. П. Победоносцеву от 4 мая 1898 год Цит. по: Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 20.

³⁹ Церковный Вестник», 1880, № 41, С. 21.

По всему холму разбросаны эти чистые, маленькие домики, как ульи на пасеке, тонущие в зелени кипарисов, смоковниц и миндальных деревьев, цветах и миниатюрных огородах. До самой смерти о. Антонина его дух и заветы, данные Горней, не угасали и были живы. Община была непосредственно подчинена Начальнику миссии, не было ни игумений, ни каких бы то ни было официальных начальствующих лиц, насельницы доживали свой век в своих домиках, объединяясь лишь в церкви и общей трапезной.

Потом условия существенно изменились: стали стремиться к расширению обители, домики и еще пустые участки стали продаваться с меньшим разбором, открылся благодаря этому доступ случайным элементам, из самой продажи или пожизненной аренды образовалась для миссии доходная статья, захотели во что бы то ни стало обратить Горнюю в „настоящий“ монастырь, перед войной особенно стремились к этому. Синод утвердил тогда и Елеонский монастырь, ввели и там, и в Горней „старших сестер“, пожаловали им наперсные кресты, в 1924 году у патриарха Дамиана выпросили право назвать их „игумениями“, что все вместе было, впрочем, весьма в духе общего нашего поведения в Палестине в последние годы перед войной. Нам непременно хотелось, вопреки всем канонам, иметь свою там параллельную с греческой иерархию, свое маленькое епархиальное управление»⁴⁰.

О том, какие проблемы возникли в ходе «реформ», внедрявшихся о. Рафаилом в размеренную жизнь обители, пишет профессор А. А. Дмитриевский.

«Что же влечет нашу русскую женщину в Палестину? Объяснять это влечение одной мягкостью души, глубиной женского чувства здесь едва ли возможно, так как и женщина-полька, и женщина-француженка, и женщина-итальянка не менее набожны и религиозны, чем наша русская женщина, и, однако, процент паломниц этих последних в Палестине весьма ничтожен. Причину этого явления нужно искать, по нашему мнению, в укладе русской жизни, в социальных и экономических условиях нашего быта вообще и русской женщины в частности. Время и место не позволяют нам остановиться здесь на выяснении мотивов и побуждений, какими руководится русская паломница, предпринимая свои далекие трудные путешествия, хотя эти мотивы и побуждения нам и не безызвестны, но во всяком случае в громадном большинстве они мало имеют общего с чисто религиозными и заслуживающими сочувствия и уважения.

Образ поведения этих паломниц в Палестине достаточно красноречиво говорит сам за себя. Вырвавшись на свободу из под надзора родных или старших, никем не контролируемые и ничем не сдерживаемые в своих желаниях и поступках, а руководясь исключительно инстинктом и пробудившимся, долго дремавшим в них, чувством страсти, они и своим поведением не только на улице, но и в храмах Божиих, и кокетливым нарядом неволью обращают на себя внимание наблюдателя... Чтобы иллюстрировать нашу мысль, достаточно упомянуть здесь о нашей соотечественнице Марии Гладкой, именуемой в Палестине „матушкой Марией“, стяжавшей себе весьма громкую, хотя и печальную известность»⁴¹.

Мария Гладкая (Гладкова) — женщина интеллигентная, уроженка нашего юга, мать большой семьи и жена и доселе здравствующего супруга, которых она покинула сначала лишь на время, чтобы помолиться у Гроба Господня. Но Иерусалим так пленил нашу соотечественницу, что она решила более не возвращаться на родину к семейному очагу, задавшись несбыточной для нее мечтой в своей жизни осуществить и воспроизвести неподражаемый образец в лице

⁴⁰ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817–1894). М., 1997. С. 176–178.

⁴¹ Дмитриевский А. А. Современное русское паломничество в Св. Землю. Киев, 1903. С. 26–27.

знатной римской матроны Павлы, спутницы блаженного Иеронима, ради подвижнической жизни в Палестине также покинувшей мужа и детей. (На пример для себя Павлы, подвижницы IV века, нередко ссылалась Мария Гладкая и в объяснениях с консульством и в беседах с частными лицами).

Здесь в Иерусалиме наша соотечественница объектом своего внимания и нужной заботливости избрала старца Никифора, митрополита Петры Аравийской, у которого она и поселилась в келии, в монастыре св. царей Константина и Елены, в соседстве с патриаршими покоями. Проживая, к соблазну русских многих поклонников, под одной кровлей в монастыре с митрополитом Никифором, она через него, как влиятельного члена Иерусалимского Патриаршего Синода, стала оказывать давление на течение дел церковных в Патриархии настолько значительное, что ее дальнейшее пребывание в Иерусалиме сделалось неудобным. По просьбе патриарха Иерусалимского, при содействии русского консула, под конвоем кавасов нашего консульства, она неоднократно высылалась из Иерусалима, но, добравшись до Константинополя, она всякий раз умела здесь так уладить свои дела, что снова беспрепятственно и даже с торжеством возвращалась в Иерусалим.

Правда, ныне она уже выселена из Патриархии и проживает в собственном доме **в Горней** близ Иерусалима, но с прежним своим сильным положением и значением в Иерусалиме она не желает расстаться. Орудие ее силы и значения — слабovolный и преклонный старец, митрополит Никифор живет постоянно уже в ее доме **в Горней**, не является в заседания Синода и подает свой голос по указаниям своего опытного и хорошо сведущего в политике и церковных делах ментора...

В настоящее время неугомонная Мария Гладкая, вознамерившись до конца последовать своему прототипу, подвижнице Павле IV века, бывшей, как известно, настоятельницей женских общин в Вифлееме, все усилия своего ума и воли напрягает к тому, чтобы встать во главе тамошней русской общины, созданной старанием покойного начальника миссии, о. архимандрита Антонина и находящейся в ведении и духовной зависимости от настоятеля русской Иерусалимской миссии. В достижении своих честолюбивых поползновений Мария Гладкая не пренебрегает никакими средствами, чем и производит глубокое смущение и даже раздоры между мирными обитательницами нашей единственной заграничной женской общины или пустыни с храмом во имя Казанской Божией Матери»⁴².

Далее профессор А. А. Дмитриевский сообщает о расколе, возникшем в Горненской обители при выборе старшей сестры и о том, как был преодолен этот конфликт.

В видах урегулирования жизни обитательниц Горней и бдительного надзора за их поведением архимандрит Рафаил произвел выбор «старшей сестры», каковой оказалась матушка Рахиль. Выбор этот не пришелся по душе многим сестрам, и они выставили свою кандидату в лице имевшей громкую репутацию в Иерусалиме Марии (Гладковой), именуемой «матушкой Марией». В Горней произошло разделение на две партии. Волнения среди старцев общины приняли такой угрожающий характер, что потребовалось вмешательство генерального консула А. Г. Яковлева, который для успокоения умов с помощью кавасов вынужден был удалить из Палестины Марию (Гладкову). В целях же водворения правильного порядка и мира в Горненской общине, в письме к обер-прокурору Св. Синода К. П. Победоносцеву от 4 мая 1898 года, А. Г. Яковлев ходатайствовал об утверждении составленных им для Горненской общины «писанных правил». Правда, о. Рафаил находил «эти правила недостаточно строгими», но, по мнению консула Яковлева, «вначале надо дать нестрогие правила, чтобы приучить старушек хотя к какому-нибудь порядку. Через год можно сделать эти правила строже под видом усовершенствования их».

⁴² Там же. С. 27—28, примеч.

Консул Яковлев выражал даже пожелания: 1) чтобы из России была прислана монахиня высокой иноческой жизни для замещения должности старшей сестры общины и 2) чтобы урегулированы были наследственные права насельниц Горненской общины. «О. Антонин, — по словам А. Г. Яковлева, — приглашая старушку строиться, разрешал до перехода домика к миссии передавать его еще одному лицу. Это я слышал и сам от о. Антонина, и здесь всем известно. Если Вы прикажете, — писал год Яковлев, — чтобы домик после смерти строительницы прямо переходил к миссии, то я постараюсь заставить их составить такое заявление. Но это произведет некоторый шум и вызовет против меня много жалоб. Старушки, продавая друг другу домики или части их, совсем перессорились между собою, а также боязнь моя, чтобы они не обратились при продаже к турецкой власти (на что они имеют право), заставляет меня просить Ваше Высокопревосходительство почтить меня уведомлением шифром через 1-й Департамент о Вашем утверждении этого заявления полностью или с такими-то изменениями»⁴³.

Желание архимандрита Рафаила исполнилось. Проект правил для Горненской общины, предложенный К. П. Победоносцеву генеральным консулом А. Г. Яковлевым, был одобрен, и правила, за немногими исключениями, получили утверждение в Св. Синоде 24 июля 1898 года за № 2699.

«1) Горненская женская община состоит в подчинении и послушании начальника Русской Духовной миссии в Иерусалиме, который есть ее непосредственный начальник и покровитель.

2) Сестрами Горненской общины признаются русские подданные, владеющие домом или частью дома в ограде общины на основании законно составленного заявления (по форме, приложенной в конце сих правил).

3) Все наличные сестры в заранее определенном, по благословению начальника Духовной миссии, собрании избирают 5 кандидаток, из которых начальник Духовной миссии назначает одну старшей сестрою, другую — ее помощницей и третью — заведующей ризницей, о чем и доносит Св. Синоду.

4) Старшая сестра заведует внутренним порядком, хозяйственной частью и общей столовой общины. Она одна по делам общины сносится непосредственно с начальником Духовной миссии.

5) Помощница заступает место старшей сестры в случае ее отсутствия, болезни или смерти, и исполняет все те поручения, которые будут возложены на нее старшей сестрой.

6) Заведующая ризницей имеет наблюдение за ризницей общины, которую принимает и сдает не иначе, как по описи, а также печется о благолепии церкви.

7) Желаящая провести одну ночь в общине, или у одной из сестер, испрашивает на то разрешения старшей сестры, без которого она не может оставаться на ночь в общине.

8) Желаящая провести в общине, или у одной из сестер, более одной ночи, должна иметь на то письменное разрешение начальника Русской Духовной миссии, с точным в оном обозначением времени пребывания в общине, а также имеет ли она пользоваться общей столовой. Разрешение это обязательно должно быть предъявлено старшей сестре.

9) Мужьям и родственникам сестер и вообще лицам мужского пола пребывания ночью в общине ни в каком случае не дозволяется.

10) Сестры, предполагающие провести ночь вне общины, должны иметь на то письменное разрешение старшей сестры.

⁴³ Письмо К. П. Победоносцеву от 4 мая 1898 год Цит. по: Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 20—21.

11) Желающая строить новый дом в ограде общины должна предварительно получить на то письменное разрешение начальника Духовной миссии с точным обозначением места и условий постройки. Это предварительное разрешение должно быть желающей строиться представлено в Императорское Генеральное консульство, которое составляет по оному законное заявление (по форме, приложенной в конце сих правил).

12) Желающие перестроить дом, вырывать камни и вырубать деревья должны получить на то письменное разрешение начальника Духовной миссии с точным обозначением условий разрешенного и места. Разрешение это должно быть перед началом работ предьявлено старшей сестре.

13) Во избежание недоразумений желающие при постройке или перестройке дома заключить контракт с подрядчиком, для составления контракта могут обращаться в Императорское Генеральное консульство.

14) Все овощи и плоды, находящиеся в ограде общины, за исключением растущих у домов и насажденных самими владелицами оных, составляют общее владение общины, возделываются и собираются по распоряжению старшей сестры.

15) Сестра, не имеющая по болезни возможности выходить из своей комнаты, имеет право получать у себя из общей столовой одну порцию обеда и одну порцию ужина.

16) Продажа вина и крепких напитков в общине строго воспрещается, и виновная в такой продаже немедленно исключается из общины.

17) Во избежание недоразумений, свои распоряжения относительно имущества на случай смерти сестры должны делать через посредство Императорского Генерального консульства.

18) В случае смерти сестры старшая сестра или заступающая ее место немедленно уведомляют о сем начальника Духовной миссии, который от себя дает о сем знать Императорскому Генеральному консульству.

19) По выносе покойной старшая сестра или заступающая ее место в присутствии ризничей и двух сестер общины запирает дверь квартиры покойной, — а остальные прикладывают свои печати, ключ от двери берет к себе и принимает все зависящие от нее меры к ограждению имущества покойной впредь до законного распоряжения.

20) За нарушение вышеизложенных утвержденных правил виновные подвергаются взысканию, налагаемому начальником Духовной миссии, который в случае необходимости обращается за содействием Императорского Генерального консульства.

21) По прошествии года с введения сих правил, начальник Духовной миссии обязан представить обер-прокурору Св. Синода свои соображения относительно изменения и дополнения оных»⁴⁴.

С 1898-го по 1918 год община управлялась старшей сестрой, монахиней Валентиной, награжденной наперсным крестом 4 декабря 1912 год⁴⁵.

Преемник о. Рафаила — о. Александр (Головин) (с 1899-го по 1903 год), скончавшийся в 1915 году на покое в сане епископа и настоятеля ставропигиального Воскресенского монастыря, именуемого «Новый Иерусалим», чужд был всяких реформаторских поползновений. Летом 1900 года Горненскую обитель посетила группа студентов Московской духовной академии во главе с ее ректором — епископом Волоколамским Арсением (Стадницким). К этому времени нестроения в среде насельниц почти угасли. Это отметил в своих записках один из участников паломничества: «В Горней женщины, не давая никаких монашеских обетов, по инициативе

⁴⁴ Цит. по: Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 21—24.

⁴⁵ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123.

архимандрита Антонина организовали полумонашескую общину, принявшую некоторые правила иноческой жизни и поставившую себя в подчинение Русской Духовной миссии в Иерусалиме. Последнее обстоятельство, по смерти архимандрита Антонина, едва не послужило поводом к уничтожению новой монашеской общины, ввиду возникшего между миссией, консульством и общиной конфликта, ко вреду русского дела в Палестине... Теперь, кажется, при нынешнем миролюбивом и тактичном Начальнике миссии конфликт устранен»⁴⁶.

А вот как оценил последствия реформы, внедренной в Горненской обители, архимандрит Киприан (Керн): «Несмотря на внесенную в Горную организацию форму и желание постоянно увеличивать число монахинь, она сохранила дух своего основателя. Вложенное им с самого первого дня жизни этого русского уголка настроение простоты и искреннего религиозного чувства живо и, хочется верить, не умрет, а может быть, Бог даст, когда-нибудь поможет воссоздать заново и развить то, что хотел видеть в ней о. Антонин. О нем помнит Горная и вещает потомству его память»⁴⁷.

На рубеже столетий

К концу XIX века условия пребывания русских паломников на Святой Земле значительно улучшились. Об этом свидетельствовал в 1899 году священник Петр Архангельский: «В настоящее время русский богомолец встречает здесь всюду хороший прием; о тех стеснениях и обидах, которые он терпел назад тому 40—30 лет, не может быть и помину. Я уже не говорю о материальных попечениях, которыми Императорское Православное Палестинское общество окружает паломника, находящего себе в Св. Земле и спокойный приют, и хорошее содержание. Со времени учреждения этого общества, а также Русской миссии и консульства в Иерусалиме, русское влияние здесь с каждым годом все более усиливается. Ныне наш богомолец может свободно ходить по ближайшим окрестностям Иерусалима (напр., в Вифлеем, **Горнее** и др.) один, без проводника, не опасаясь подвергнуться оскорблениям, а тем более грабежу, что прежде было не редкость. Турки и туземцы-арабы стали вообще относиться к русским с большим уважением»⁴⁸.

Архимандрит Александр (Головин) заботился о том, чтобы обеспечить общину неприкосновенным капиталом, дабы не ставить ее в зависимость от случайных пожертвований и того или иного притока русских богомольцев в Иерусалим. С этой целью он с 1899-го по 1903 год передал на хранение в Хозяйственное управление при Св. Синоде (Санкт-Петербург) капитал в процентных бумагах разных наименований, принадлежащий Горненской общине и Духовной миссии, в сумме 60 402 рублей 78 коп. Таким образом он рассчитывал содержать общину на проценты с капитала, дополняемые притоком возможных пожертвований богомольцев из числа паломников⁴⁹.

Новый начальник Духовной миссии с 1903 года о. архимандрит Леонид (Сенцов), питомец школ светской и богословской, архитектор по специальности, много

⁴⁶ Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев Посад, 1902. С. 310.

⁴⁷ Киприан (Керн), архим. О. Антонин Капустин, архимандрит и начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (1817—1894). М., 1997. С. 178—179.

⁴⁸ Архангельский Петр, священник. О паломничестве духовенства к святым местам Востока // Сообщения Православного Палестинского Общества, январь—февраль 1899. СПб., С. 115.

⁴⁹ Дмитриевский А. А. Горненская русская женская община во граде Иудове (близ Иерусалима). Пг., 1916. С. 25.

поработал над улучшением и приведением в благоустройство миссийских владений. В частности, по отношению к Горней о. Леонид, затратив свыше 66 тысяч рублей, сделал там весьма многое. Так, в 1913 году он приобрел новый участок земли в 5100 кв. метров, известный в Горней под именем «камня сидения», где, по преданию, отдыхала Богоматерь во время Своего пребывания во «граде Иудовом»⁵⁰.

На территории самой обители о. Леонид выстроил еще 24 домика для сестер общины; устроил девять цистерн для воды; расширил и благоустроил гостиницу — приют для 200 «интеллигентных паломников»; выстроил вновь трапезную, рукодельную с книжной и иконной лавкой и библиотекой для чтения; баню с баком на ее плоской крыше для воды, нагреваемой лучами солнца, снабжающей и прачечную, что при дороговизне топлива в Палестине в его экономии имело большое значение; коровник с домом над ним; маслобойни с прессами и кладовыми и с маленьким домом вблизи; образцовый птичник, наполненный множеством домашних пернатых разнообразных пород; пчельник; дом около восточных ворот; дом около нового строившегося собора; каменную лестницу и ограду.

Но венцом всех построек в Горней, по мысли архимандрита Леонида, должен был служить новый обширный собор, доведенный к началу Первой мировой войны до сводов и стоивший к тому времени около 12 тысяч рублей. «Нельзя отказать о. архим. Леониду в удачном выборе места для него, — пишет А. А. Дмитриевский. — С этого места открывается дивный вид на окружающую местность, и храм, расположенный по склонам Горненского кряжа, будет своим величественным видом производить на туземцев и паломников импонирующее впечатление»⁵¹.

Из записок архимандрита Леонида (Сенцова) от 20 марта 1914 года.

«В Горненской русской женской общине выстроено много зданий для сестер, для хозяйственных надобностей, втрое больше, чем прежде; заложен большой храм и доведен до половины высоты; но за неимением средств работа по постройке храма пока остановлена. Кроме того здесь выстроены гостиницы для 300 паломников. Кроме того рядом с этой общиной недавно приобретен участок земли, где, по местному преданию, молился Креститель Иоанн, но пока не приведен в порядок»⁵².

Один из участников паломничества студентов Московской духовной академии (лето 1900 года) в дневнике под 30 июля записал такие строки: «В Горнюю мы спешили, чтобы в русском храме во имя Казанской Божией Матери выслушать божественную литургию и молебен, который намерен был служить Преосвященный Арсений. Горняя недалеко от Иерусалима, на расстоянии менее часу езды по хорошей шоссейной дороге. Последняя лежит среди зеленеющей долины, среди садов с апельсиновыми, лимонными, гранатовыми и абрикосовыми деревьями и среди огородов, наполненных арбузами, помидорами, огурцами, чесноком, луком, баклажанами и тому подобными созревающими плодами. К самой дороге жмутся неприхотливые кактусы и поседевшие от пыли маслины, обильно увешанные плодами,

⁵⁰ Там же. С. 26—27.

⁵¹ Там же. С. 27.

⁵² Записка архимандрита Леонида (Сенцова). 20 марта 1914 год // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 309.

составляющими любимое кушанье местного населения. Долина перерезывается горами, поднимающимися террасами. На одной из таких террас и раскинулось небольшое селенье, опоясанное зеленым кольцом садов и виноградников, Айн-Карим, по преданию, евангельская Горняя, место родины Иоанна Крестителя и свидания Пресвятой Девы Марии с Елизаветой»⁵³.

И вот группа студентов МДА во главе с епископом Арсением прибывает в Эйн-Карем. Из дневника одного из участников паломничества: «Издали донесся гармонический трезвон колоколов. Это привет Преосвященному, раздающийся с колокольни женской общины, находящейся на склоне противоположной горы. Поднимаемся по ней, и глазам нашим представляется умирительное зрелище: множество сестер-инокинь вышло из монастыря во сретение Преосвященному с пением тропаря Казанской Божией Матери: „Заступнице усердная...“ При пении этого тропаря Преосвященный вошел в храм, где, после обычной встречи, сказана была им речь „О заступничестве Божией Матери“.

Затем началась литургия, которую совершал иеромонах миссии при пении хора сестер. За литургией, кроме нас, присутствовали сестры, многие из местных жителей, и даже пришедшие из Иерусалима, совершенно наполнившие небольшой, но уютный храм. По окончании литургии Преосвященный, в сослужении сопутствовавшего ему духовенства, торжественно совершил молебен Божией Матери, во время которого читалось Евангелие, напоминающее о событии, совершившемся в данной местности. После молебна о. Начальник миссии пригласил нас в странноприимный дом, где старицы угостили нас чаем с постной трапезой»⁵⁴.

В конце XIX — начале XX века все большее число русских паломников посещало Святую Землю. Так, за 1899—1900 годы в Палестине побывало более 10 тысяч богомольцев из России. И многих из них гостеприимно принимали насельницы Горненской обители. Одним из таких «пешеходцев» был отечественный палестиновед В. Д. Юшманов. Как и его предшественники, он описывает путь из Иерусалима до селения Эйн-Карем.

«Еще сравнительно недавно нелегко было добраться до Горней по узким и извилистым горным тропам, усеянным мелкими и острыми камнями, портившими обувь и сильно затруднявшими путь; в настоящее же время, на протяжении 6 верст, отделяющих Горнюю от Иерусалима, проложена шоссейная дорога. Этот короткий и удобный путь паломники проходят незаметно. Приближаясь к селению, паломники увидят, налево от дороги, под тенью деревьев, источник, у которого, по преданию, Пресвятая Богородица черпала воду во время своего пребывания у праведной Елизаветы, а недалеко отсюда виден и противоположный селению склон горы, покрытый свежей зеленью кипарисов, масличных деревьев и цветников, с разбросанными по косогору белыми каменными домиками и возвышающейся среди них церковью. Для паломников, которые еще ранее слышали рассказы о Горней, не остается сомнения, что этот уютный уголок и есть Русское место»⁵⁵.

Вот как выглядела Горненская обитель в начале 1900-х годов: «В настоящее время построено до 40 домиков, вокруг них разрослись деревья, виноградники и цветники, возделываемые трудолюбивыми руками стариц, сооружена церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, с высокой колокольней при ней, и построен приют для посещающих Горнюю русских паломников. С построением церкви и введением общей трапезы, обитательницы домиков сплотились еще теснее и таким

⁵³ Арсений (Стадницкий), епископ Волоколамский. В стране священных воспоминаний. Сергиев Посад, 1902. С. 306—307.

⁵⁴ Там же. С. 309.

⁵⁵ Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 13.

образом, с благословения Божия, далеко от родины, в евангельском горнем граде Иудином образовалась русская женская община»⁵⁶.

В. Д. Юшманову довелось воспользоваться гостеприимством горненских насельниц, о чем он и вспоминал на страницах своей книги: «Русские паломники, посещающие Горнюю, преисполняются искренней радостью при виде своей родной церкви, посвященной имени Богородицы, здесь пребывавшей. С глубокой верой и умилением слушают они в церкви богослужение, сопровождающееся мелодичным пением русских монахинь, и потом на всю жизнь сохраняют отрадное воспоминание о первой русской обители на Св. Земле»⁵⁷.

Предвоенные годы

К концу XIX — началу XX века число насельниц обители возросло до 200 сестер. В 1903 году в обители открылись иконописная и золотоплетная мастерские, за счет которых монастырь сам себя кормил. Горненские иконы, облачения и другие вещи отличались высоким качеством исполнения и охотно раскупались приезжавшими паломниками. Много заказов шло из России. Все это давало возможность обители процветать и материально⁵⁸. (В Казанском храме сохранились иконы, написанные сестрами или шитые ими жемчугом и бисером.)

Русское присутствие в Эйн-Кареме усиливалось, о чем в 1908 году сообщалось в «Путеводителе по святым местам града Иерусалима» (Одесса, 1908): «Деревня „Горняя“ населена магометанами и отчасти римо-католиками, но посещается обильно и православными. В последнее время здесь стали селиться православно-русские переселенцы и само местечко или село теперь делится — на прежний туземный или католический поселок и новый „русскую Горнюю“. <...> В Горней обыкновенно паломников встречает русский иеромонах, служит им молебны на родном славянском языке, затем он их устраивает в гостиницы, где они свободно могут отдохнуть, чувствуя себя как дома»⁵⁹.

Как упоминалось выше, в 1910 году при начальнике Русской духовной миссии о. Леониде (Сенцове) в монастыре был заложен вместительный храм во имя Троицы Живоначальной. Однако храм не был тогда достроен из-за начавшейся в 1914 году Первой мировой войны, когда сотрудники РДМ были вынуждены покинуть Иерусалим и уехать в Египет. В недостроенном виде собор простоял почти 90 лет...

В записках А. А. Дмитриевского содержится описание хозяйственной деятельности Горненской обители; он побывал там 19 января 1910 года вместе с о. Леонидом.

«После завтрака вместе с отцом архимандритом отправился в Горнюю, которая преобразилась до неузнаваемости. Ныне здесь образовался уже целый русский поселок каменных домов, утопающих в зелени масличных деревьев и виноградников. Так называемый Антониновский приют значительно расширен и благоустроен. Приют для богатых и простых паломников на 200—300 человек обставлен всем необходимым для приема: вместительная столовая, куб для кипятку, котел для варки пищи, самовары, посуда и тому подобное — все имеется здесь

⁵⁶ Там же. С. 14.

⁵⁷ Там же. С. 15.

⁵⁸ Град Иудов в Горней (Горненская женская обитель в Иерусалиме). // Духовная нива, М., 2000. С. 15.

⁵⁹ Путеводитель по святым местам града Иерусалима. Одесса, 1908. С. 157—158.

в достаточном количестве. В общине мы посетили прачечную, баню, солнечную водогрейную (вместо дровами отапливаемой и дорого стоящей водогрейной), коровник, богатый обилием пород кур птичник, маслобойную, иконную, книжную лавку, золотошвейную и, наконец, фундамент обширного соборного храма. Все свидетельствует о заботливой и рачительной руке неусыпного отца архимандрита, который бесспорно желает затмить славу отца Антонина»⁶⁰.

О гостеприимстве горненских насельниц тепло отзывались многие паломники. «Настоятельница этого монастыря родом из Самарской губернии, — пишет саратовский паломник Николай Русанов (1911 год). — В монастырь нас очень радушно приняли, угостили чаем, и рыбными закусками и хорошим обедом; после обеда был подан весьма хороший виноград; нас не только угощали виноградом, принесенным в столовую, но предлагали рвать виноград и есть, сколько кто хочет»⁶¹.

Интересные сведения о Горненской обители содержатся в записках иеромонаха Маркиана (Попова), посетившего святую Землю в 1911 году: «11 марта. Ходили пешком в Горнее; были в гостях у старичка диакона Тимофея Петровича Тимофеевского⁶², 60 лет уже носящего сан диакона; в Горнем живет тоже уже давненько; любезный радушный старец; выстроил себе домик и живет в мире и тишине. Заходили к иеромонахам отцам Паисию и Тихону и посмотрели их кельи. Вернувшись обратно в Горнее, получили неожиданное известие: завтра приедет архимандрит Леонид, будет служить литургию и постригать в мантию двух насельниц Горней обители. Приехали для завтрашнего служения с архимандритом два приезжие иеромонаха: отец Николай из Задонского монастыря и отец Дамиан из Свирского, также протоиерей отец Авксентий⁶³, он же и регент, и учитель хора монахинь»⁶⁴.

«12 марта, — записывает о. Маркиан. — Долго звонили на монастырской колокольне, наконец приехал отец архимандрит и началась торжественная литургия, в служении которой и мы принимали участие. По малом входе пострижены были 2 монахини: одну назвали Агния, а другую Людмила⁶⁵, после обедни происходил интересный чин вручения их от Евангелия старице настоятельнице⁶⁶. Пообедав с отцом архимандритом, вернулись на мулах в Иерусалим»⁶⁷.

Иеромонах Маркиан вторично побывал в Горненской обители 30 марта того же 1911 года. «Сегодня в Горнем праздник, здесь местно установленный и празднуемый, —

⁶⁰ «В его лице воскрес отец архимандрит Антонин». Из писем А. А. Дмитриевского князю А. А. Ширинскому-Шихматову // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 275–276.

⁶¹ Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 277–278.

⁶² Тимофеевский Тимофей Петрович (?–1917?), заштатный диакон с. Ваганова Владимирской губернии; жил при РДМ в качестве паломника по паспорту, выданному в Одессе в 1905 году (Архив РДМ).

⁶³ Авксентий (1868–?), иеродиакон Калужской Тихоновой пустыни, член РДМ (1908–916). В 1916 году уволен указом Св. Синода от 27 июня 1916 года в свой монастырь (Архив РДМ).

⁶⁴ Маркиан (Попов), иером. Путешествие в Палестину, на Афон и по России в 1911 году // Святая Земля. Историко-культурный иллюстрированный альманах. Издание Русской Духовной миссии в Иерусалиме. № 1, часть 1. 2012. С. 226–227.

⁶⁵ В мантию были пострижены с именем Агния рясофорная монахиня Рахиль (Елеонора Петровна Кадышева, 1845 год р.) и с именем Людмила — Анна Андреевна Степанова (1844 год р.). Подвизались в Горнем более 16 лет на послушании регента и заведующей рукодельной мастерской (Архив РДМ).

⁶⁶ Настоятельницей Горненской общины в это время была монахиня Валентина (Параскева Андреевна Маханова; 5 нояб. 1849–?); в обители с 1884 года, старшая сестра (с 1904), награждена золотым наперсным крестом 4 декабря 1912 года (Архив РДМ).

⁶⁷ Там же. С. 227.

встреча Богоматери с праведной Елизаветой, — пишет о. Маркиан. — Бывает торжественный крестный ход во главе с архимандритом, начальником миссии»⁶⁸.

Здесь речь идет о давней традиции, которая бытовала в Горненском монастыре с «антониновской эпохи». С благословения Св. Синода архимандрит Антонин (Капустин) установил особый праздник «Прихождения Божией Матери в Горный град Иудов», во время которого чудотворная икона «Благовещения» переносится торжественным крестным ходом из Троицкого собора в Иерусалиме в храм Казанской иконы Божией Матери в Горненской обители, где поставляется на игуменском месте и пребывает до Рождества Иоанна Предтечи (24 июня /7 июля).

В эти годы одна группа паломников сменяла другую; в том же 1911 году в Горненском монастыре побывали студенты Киевской духовной академии во главе с прот. Александром Глаголевым. «Приют мы имели в русской женской обители, — пишет о. Александр. — Мы прибыли сюда накануне здешнего храмового праздника в честь Иконы Казанской Божией Матери (8 июля), а потому присутствовали на торжественном всенощном бдении, которое было совершено нашим экскурсантским духовенством с участием студентов в церковном чтении. Особенно глубокое впечатление оставила у нас лития, совершенная под открытым небом, на обширной площадке перед храмом, под сенью кипарисов и платанов»⁶⁹.

В 1913 году был приобретен участок, именуемый «Камень сидения», связанный, по преданию, с пребыванием Пресвятой Богородицы в Эйн-Кареме. В отчете 1914 года указана только стоимость участка — 5100 р., с примечанием: «Уплачено из сумм Горненского монастыря 3232 руб. 72 коп.»⁷⁰.

Накануне Первой мировой войны паломничество в Палестину из России было прекрасно организовано Палестинским обществом. Отправным пунктом была Одесса. Там паломникам, собиравшимся со всей России, оказывали приют и помощь три наших Афонских подворья: Пантелеимоновское, Андреевское и Ильинское. Монахи встречали паломников на вокзале, выхлопывали им специальный паломнический заграничный паспорт, устраивали место на пароходе. Там же, в Одессе, паломники могли приобрести брошюру, посвященную истории Горненской обители: «Палестинское селение „Горняя“ или „Град Иудов в Горних“» (Одесса, 1913).

Русские богомольцы могли заранее познакомиться с бытом тамошних насельниц: «Окруженные виноградом, оливками, кипарисными деревьями и фруктовыми небольшими садами, тщательно обрабатываемыми и возделываемыми терпеливыми и настойчиво трудолюбивыми инокинями-подвижницами, домики составляют пожизненную собственность их устроительниц, — русских отшельниц, нашедших здесь себе новую родину и в трудах, молитве и терпении доживающих в этих святых местах свой век. Почти у каждого домика имеется прекрасно устроенная цистерна для пресной воды, необходимой для употребления и особенно для поливки садов и огородов. При безводье Палестины, цистерны эти составляя истинное благодеяние для обитательниц этой местности»⁷¹.

Перед мысленным взором богомольцев возникала благостная картина «русской Палестины»: «Среди домиков, скромно осеняя их своей зеленой кровлей, стоит прекрасная церковь во имя Казанской иконы Божией Матери, воздвигнутая о. архимандритом Антонином на собранные им частные пожертвования. Церковь эта устроена в византийском стиле с куполом и отдельно от нее, на вершине горы, высокая каменная башня, годная для колокольни, с вершины коей открывается восхитительный

⁶⁸ Там же. С. 230.

⁶⁹ Глаголев Александр, прот. По святым местам: от Киева до Иерусалима. Киев, 2005. С. 60.

⁷⁰ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М., 2006. С. 123—124.

⁷¹ Палестинское селение «Горняя» или «Град Иудов в Горних». Одесса, 1913. С. 60.

вид на прилегающую область Палестины, вплоть до самого берега Средиземного моря»⁷².

Сойдя на берег в Яффе, направляясь в Иерусалим и далее — в Эйн-Карем, русские паломники были уверены, что их ждет радушная встреча и они будут чувствовать себя как на родине: «Башня эта, видная паломнику издалека, как гостеприимный маяк, указывает благочестивому путнику, что здесь именно, под сенью ее, при добром и гостеприимно-радушном служении благочестивых подвижниц, он встретит и найдет самый радушный прием. Здесь русских паломников обыкновенно встречает русский инок-иеромонах, который служит для них молебны и другие церковные богослужения на церковно-славянском языке; он же их устраивает в гостиницах, где они свободно могут отдохнуть, чувствуя себя как дома. Русский поселок отделяется от прилегающего оврага высокой каменной стеной, дверь которой ведет в гору к русскому приюту. Это двухэтажный дом с тремя светлыми, весьма чистыми комнатами в каждом этаже, с простенькими диванами по стенам. Над входной дверью каменная доска с вырезанными на ней именами русских жертвователей и благотворителей, на добровольные пожертвования коих приобретены земельные участки и дом для русских паломников. Между ними значатся: П. П. Мельников, В. А. фон Мек, Н. Г. Губонин, Н. И. Варшавский, Н. М. Журавлев, Н. И. Путилов, А. В. Казаков, С. П. Елисеев, Д. М. Полежаев, С. С. Поляков, М. Г. Горбов, И. Д. Бусурин, Б. и С. Перовские»⁷³.

Стоимость паломнического путешествия была баснословно дешева. Располагая хотя бы 50 рублями, русский человек уже мог посетить Святую Землю. И число паломников увеличивалось с каждым годом. В 1914 году их было 12 000 человек...⁷⁴

Накануне Первой мировой войны

Из Доклада В. К. Саблера в Государственную Думу о хозяйственном состоянии Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 4 января 1914 г.

<...> На горе Елеон устроена новая Елеонская община, где содержатся до 180 сестер, и расширена Русская **Горненская женская община**, где содержится до 200 сестер и развивается довольно обширное хозяйство <...> Прибавлены помещения для паломников на старых участках, а именно: в Яффе, на Елеоне, в Горнем граде Иудовом, у Дуба Мамврийского, в Иерихоне и в Тивериаде <...>⁷⁵

Нештатные общие суммы миссии получают из добровольных пожертвований поклонников на разные нужды миссии — на церкви, подворья и приюты — и из кружечного дохода, кошелькового сбора, от продажи свечей, просфор, книг, картин, икон и плодов с земельных участков. Поступление сих доходов зависит от числа паломников, приезжающих в Иерусалим, а также от энергии начальника миссии, который сам вынужден изыскивать средства на общие нужды миссии, и посему этот источник не имеет определенного постоянного размера. Эти общие нештатные суммы миссии расходуются на содержание, постройку и ремонт помещений для паломников в Иерусалиме и других святых местах, на постройку храмов

⁷² Там же. С. 61—62.

⁷³ Там же. С. 62.

⁷⁴ Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 69—70.

⁷⁵ Саблер В. К. Доклад в Государственную Думу о хозяйственном состоянии Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 4 января 1914 год // Богословские труды, № 36, М., 2001. С. 260.

и молитвенных домов, на содержание богадельни и приюта, на приведение в порядок и ограждение старых и новых земельных участков и на приобретение новых участков, на бесплатное пропитание паломников в миссийских подворьях и денежную милостыню бедным паломникам.

Кроме помянутых общих нештатных сумм миссии, имеются специальные нештатные суммы двух женских общин: **Горненской** и Елеонской. Эти последние суммы получают из таких же случайных источников, как и указанные выше общие нештатные суммы миссии, с добавлением к ним выручки за рукодельные изделия сестер общин. Средства названных общин расходуются на содержание и продовольствие 380 сестер общин, на ремонт и содержание храмов и других помещений общин, на обработку земельных участков и другие хозяйственные расходы по этим общинам, а также на бесплатное пропитание паломников, посещающих эти общины⁷⁶.

Будучи архитектором по образованию, архимандрит Леонид, как и архимандрит Антонин, сам проектировал постройки, что вызывало нарекания петербургских властей. С другой стороны, активное строительство и бесконтрольный рост числа насельниц привели к оскудению обители и постоянному финансовому кризису. Резервный капитал общины, составлявший к 1911 году 71 510 руб., был в последующие три года полностью израсходован, при том, что общий долг РДМ составлял 124 тыс. руб.

Сестры голодали и были вынуждены добывать средства к существованию тяжелой физической работой, обеспечивавшей монастырю минимальный доход: в 1911 году — 9763 руб., в 1912 году — 15 859 руб., в 1913 году — 6175 руб. Если разделить эти суммы на 200 человек (именно столько насельниц проживало к 1914 году в Горненском монастыре), в среднем сестры при растущей дороговизне должны были жить на 4 руб. 40 коп. в месяц⁷⁷.

Из Отчета по ревизии денежного и материального хозяйства и по обзору недвижимых имуществ, счетоводства и отчетности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 4 ноября 1914 г.

При Иерусалимской миссии состоят следующие отдельные учреждения: **Горненская женская община**, основанная в 1871 год покойным начальником миссии архимандритом Антонином, и Елеонская женская община, образованная в 1906 году. Обе они управляются на основании утвержденных Св. Синодом по определению 24 июля — 5 августа 1898 год за № 2699 особых правил. Означенные общины содержатся на счет своих собственных средств, получаемых из таких же источников, как и указанные выше нештатные суммы миссии, а также на счет выручаемых денег за рукодельные изделия сестер — воздухов и проч., за изготовление для паломников похоронных сорочек или саванов, за иконы и картины из собственных иконописных мастерских, а также за счет вкладов сестер за приобретаемые ими в общинах в пожизненное пользование домики, келли и комнаты. Надо прибавить, что сестры общины нередко нанимаются в услужение в русские и иностранные семейства Иерусалима и других городов; кроме того, во всех подворьях Иерусалимской миссии везде находятся в качестве слу-

⁷⁶ Там же. С. 262—263.

⁷⁷ Лисовой Н. Н. Горненский монастырь // Православная Энциклопедия. Т. XII. М. 2006. С. 124.

жащих сестры этих общин, получающие вознаграждения за свои труды от паломников <...>⁷⁸.

Число сестер в **Горненской обители** простирается до 200, в Елеонской — до 180 человек. Средства, поступающие в кассу общины, сравнительно незначительны. Так, доходы **Горненской общины** за 1911 год составили до 9.763 руб., за 1912 год — до 15.859 руб. и за 1913 год — до 6.175 руб. По Елеонской общине за 1911 год — 19.112 руб., за 1912 год — 13.114 руб. и за 1913 год — 12.334 руб.⁷⁹

<...> Особенно тяжелое положение денежного хозяйства Иерусалимской Духовной миссии, а также **Горненской женской общины** заключается в том, что они в настоящее время вовсе не имеют запасного капитала, наличность которого помогла бы выдержать кризис, так как процентные бумаги, принадлежавшие миссии и **Горненской обители** и хранившиеся до 1914 год в Хозяйственном Управлении, кроме билетов на вечные вклады, — проданы или заложены. Еще сравнительно не так давно, а именно, к 1 января 1911 год названный запасный капитал, принадлежавший Духовной миссии и **Горненской обители**, составлял в билетах разных наименований 71.510 руб. Между тем, к 7 августа с. г., как видно из акта о наличности денежных сумм Иерусалимской Духовной миссии, предъявлено было таковых билетов к ревизии всего лишь на сумму 2.410 руб. Из остальных 69.100 руб. проценты бумаги на 39.400 руб. были проданы для уплаты долгов, на 21.700 руб. заложены в разные банки в качестве обеспечения по выданному оттуда ссудам и даже именные билеты миссии на вечный вклад на сумму 5.500 руб. находятся на хранении у банкира Валеро, без сомнения, как гарантия по уплате начальником миссии долга по выданным ему ссудам.

Названные запасные капиталы образовались из остатков от доходных поступлений миссии и общины за прежние годы, а также из сумм, назначенных и завещанных на вечное поминовение. До 1899 года эти капиталы хранились в самой миссии, но в 1899 году бывший в то время начальник Духовной миссии, архимандрит (ныне епископ) Александр, способ хранения этих капиталов изменил, а именно: в период с 1899 до 1903 ггод им было выслано в Хозяйственное Управление на хранение и управление 60.402 руб. 78 коп. билетами с тем, что Хозяйственное Управление будет высылать в Духовную Миссию следующие по процентным бумагам проценты; если же Миссия будет иметь основательную надобность употребить на расход какую-либо часть из хранящегося капитала, то для возвращения капитала ей вменялось в обязанность своевременно заявить об этом в Хозяйственное Управление. Засим эти капиталы возросли путем присылки новых остатков, а также чрез присоединение неотосланных в Иерусалим части процентов и пожертвований в пользу миссии и Горней общины. Капитал этот стал требоваться Духовной Миссией с 1911 года; в этом году по просьбе начальника миссии было продано Хозяйственным Управлением на 10.000 руб. процентных бумаг, в следующем 1912 год — на 14.000 руб., в 1913 год — на 16.900 руб. и в феврале текущего года, на основании определения Св. Синода 18/26 ноября 1913 год № 10839, после неоднократных ходатайств архимандрита Леонида, было выслано всего 28.710 руб., и в Хозяйственном Управлении в настоящее время числится принадлежащих Духовной миссии 1.015 руб. 59 коп. и **Горненской обители** — 357 руб. 47 коп., всего 1.373 руб. 06 коп. Свои ходатайства о возврате в Миссию всего миссийского капитала, а также и капитала **Горненской общины**, начальник миссии мотивировал как тем соображением, что миссии необходимо иметь в своей кассе запасные деньги для экстренных выдач, так и тем, что в настоящее время в Иерусалиме много солидных банков, в которых капиталы миссии могут быть хранимы с полной безопасностью. Таким

⁷⁸ Отчет по ревизии денежного и материального хозяйства и по обозрению недвижимых имуществ, счетоводства и отчетности Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. 4 ноября 1914 год // Богословские труды, № 36. М., 2001. С. 267–268.

⁷⁹ Там же. С. 268.

образом, сумма долгов Духовной миссии, слагающаяся из перечисленных долговых обязательств, составит в общем итоге свыше 124.034 руб⁸⁰.

<...> Надо прибавить, что при правильном хозяйстве и надлежащей предусмотрительности эти задержки в высылке казенного ассигнования не могли бы иметь решающего значения в расстройстве денежных дел миссии. При этом то обстоятельство, что не были своевременно возвращены миссии и **Горненской общине** их запасные капиталы, вследствие чего миссии приходилось кредитоваться на тяжелых условиях в Иерусалимских банках и у частных лиц, не имело значения: самый факт кредитования говорит, что запасный капитал предназначался к расходованию Начальником миссии уже заранее и запасным ресурсом не считался. Из дел миссии видно, что этот капитал, немедленно по его возвращении в Миссию, по частям расходовался именно на уплату долгов и, между прочим, на уплату поставщикам и подрядчикам за произведенные постройки. Окончательно же возвращенный в 1914 год остаток запасного капитала частью был разменен для таковых же уплат, а частью был внесен в банки и банкирам в качестве гарантии по выданным ими ссудам.

Равным образом и приведение в порядок ранее приобретенных земельных участков, что, по объяснению архимандрита Леонида, требовало новых и значительных расходов из нештатных сумм, не могло вызвать значительных перерасходов. Ст. 9 Инструкции вменяет начальнику миссии в обязанность иметь попечение о земельных участках, приобретенных покойным архимандритом Антонином. Поэтому неуклонное исполнение этой, 9-й статьи Инструкции ставило начальника миссии в необходимость изыскать на поддержание этих участков соответствующие средства. Только одно из оставленных о. Антонином учреждение требовало значительных, сравнительно, средств — это **Горненская женская община**. Но она имела свой запасный капитал, и материальное положение ее за все последние годы не было особенно тревожным до тех пор, пока архимандрит Леонид не расширил этой Общины в отношении числа насельниц до 200 человек, причем, естественно, явились расходы на обстройку Общины, и на едва ли необходимые постройки нового храма, а также хозяйственных строений: маслобойного завода с прессами и кладовыми и пр.⁸¹

<...> Из дел миссии видно, что только один участок «Камень Сидения» в 1912 год был куплен с уплатой за него из сумм **Горненской общины** 3.233 руб., остальные же участки были приобретены отчасти на счет частных пожертвований на эту цель, частью — на счет личных средств архимандрита Леонида⁸² При производстве построек архимандрит Леонид не считался с наличностью в миссии денежных средств, необходимых для исполнения строительных работ. Производились очень значительные постройки в нескольких местах одновременно. Так, в настоящее время производятся крупные работы по постройке трех больших храмов в Горненской и Елеонской общинах и у Дуба Мамврийского и большого дома для подворья в Византии, не говоря уже о сооружении на многих участках других мелких зданий, как то: цистерн, оград и прочих. Лишь недавно закончена постройка большого Кайфского подворья и храма на горе Кармил. Некоторые сооружения, возводимые ныне, не вызываются существенной необходимостью. Так, два новых храма в Елеонской и **Горненской общинах** могли бы быть отложены постройкою до более благоприятного времени в виду того, что, с одной стороны, существующие старые храмы еще в достаточной степени удовлетворяют своему назначению по своим размерам. а с другой стороны, названные Общины не только не имеют достаточных средств для постройки новых храмов, но даже нуждаются в необходимых для их существования жизненных припасах. О том, что **Горненская женская община** страдает от безденежья, не имеет даже средств для продовольствия, так что

⁸⁰ Там же. С. 272.

⁸¹ Там же. С. 274.

⁸² Там же. С. 276.

сестрам приходится голодать, начальник миссии доносил Хозяйственному Управлению еще в отношении от 20 апреля 1913 год А между тем постройка нового храма в то же время продолжалась⁸³.

<...> В объяснение сего можно с некоторой вероятностью полагать, что все упомянутые постройки были предприняты и начаты архимандритом Леонидом в сравнительно благоприятное время и в надежде на поступление больших сборов на эти постройки от русских паломников, и особенно в соображении о привлечении крупных пожертвований от усердных и благочестивых жертвователей из России <...> Однако таковых пожертвований для окончания начатых построек оказалось недостаточно, и храмы на Елеонской горе и в **Горненской общине** доселе стоят неоконченными. В заключение надо присовокупить, что место постройки храма в Горненской общине на верху большой горы с длинным подъемом, представляя хороший вид издали, является неудобным по трудности восхождения, особенно для престарелых сестер общины⁸⁴.

Но тем не менее в этом же отчете упоминалось и о Казанской церкви: «Церковь во имя Божией Матери, Казанской Ее иконы, в **Горненской общине** — небольшая одноэтажная, с одной главою и с остроконечной небольшой колокольней. Иконостас двухъярусный с иконами хорошего письма. Церковь построена покойным архимандритом Антонином. Утварь и ризница церкви не богаты и не обильны. Церковь содержится в порядке, но признана в настоящее время **малопоместительной** в период паломнического движения»⁸⁵.

⁸³ Там же. С. 288—289.

⁸⁴ Там же. С. 289.

⁸⁵ Там же. С. 297.

Contents

Prose and Poetry

- Seraphim Vvedensky.** Poems • 3
Anton Zankovsky. Ragpicker. Novel • 7
Anastasia Lukomskaya. Poems • 69
Konstantin Komarov. Poems • 73
Alexander Rybin. In Search of the Island Dilmun. Story • 77
Marina Nemarskaya. Poems • 100
Ovanes Aznauryan. SITUS INVERSUS. Story • 104
Alexey Shmelev. Poems • 127
Artyom Ershov. Flame. Story • 130
Tatiana Skrundz. The Bird's Kiss. Valentina's Last Day. Cargazun. Stories • 140

Publicistic Writings

- Konstantin Frumkin.** Lenin as a Manager. Reflections on Business Correspondence of Sovnarcom Chairman • 150

Criticism and Essays

- Ivan Lukin.** Two Writers and Nightingales • 165
Naum Sindalovsky. Petersburg Poles in Urban Mythology • 176

Petersburg Bookman

- Road to the Reader.** *Marina Klementevskaya.* Boris V. Shergin. (Non-)Jubilee. **Pro et Contra.** *Vladislav Bachinin.* The European Reformation as a Piece of Art (Theological Aesthetics of the Historical). **Reviews.** *Anna Matochkina.* Muslims in the Northern Capital. *Yevgeny Kuzmin.* Sound and Resound. *Anton Ratnikov.* Too Fast, Princess • 197

Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** Gornji Grad Judas. Part 2 • 224

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефон: (812) 314-50-52
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>
Ресурс в сети Интернет: www.nevajournal.ru

*Проект «Слово, одухотворенное временем»
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

Свежие номера журнала, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

в Санкт-Петербурге — в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

За рубежом подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

Оптовая и мелкооптовая продажа: Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства www.nevajournal.ru

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 08.06.2016. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 ¹/₁₆. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 2500 экз. Заказ № 1444
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии StP
в Первой Академической типографии «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28